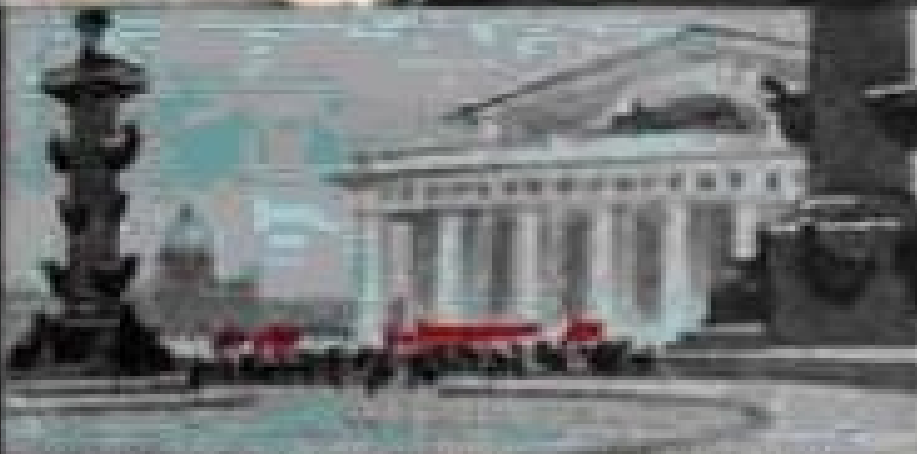


КРАСИН



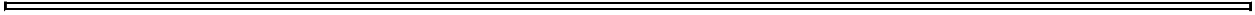
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

О жизни Л.Б.Красина.

- [Б. Кремнев](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Л. Б. КРАСИНА](#)
 - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)



Б. Кремнев

Красин

Серия: Жизнь замечательных людей



Красин

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

Б.Кремнев

КРАСИН

Город был невиданным и виденным много раз.

Хотя прежде он никогда в нем не бывал.

Все казалось невероятно знакомым: и стремительные, будто прочерченные рейсфедером по листу слоновой бумаги, линии проспектов, и мудрая в своем неторопливом движении река, и дома, столь непохожие на жилье, надменно поблескивающие зеркальными стеклами окон, с кариатидами и атлантами, согбенными под могучей тяжестью карнизов.

Он и пятеро спутников его жадными глазами провинциалов разглядывали все, что открывалось вокруг.

Город вставал смутным видением детских лет. Он годами возникал из рассказов родных, из картинок иллюстрированных журналов, из литографий и гравюр дедовых комнат.

Это был все тот же город, к которому ты издавна привык и так давно тянулся. И это был город совсем иной. Куда лучше прежнего. Тот, что из мечтаний шагнул в явь и обрел запахи, звуки, цвет. Строгие и притушенные краски хмурого летнего дня: мягкая золотистость купола собора, матовая изумрудь дворца, приглушенная кружевной вязью решеток расточительная зелень садов.

Казалось, уму не постичь волшебства, что свершилось. Лишь несколько дней назад перед ним проплывали некрутые, опущенные ельником молчаливые отроги Уральских гор, а сейчас — вот она, столица, во всем ее шумном великолепии.

Лишь несколько дней назад был провинциальный Екатеринбург, а сейчас — порфиноносный Питер.

Век пара, машин и электричества. Победный марш техники. Он ощутил ее размашистый шаг, несясь со скоростью свыше тридцати верст в час под суетливый перестук колес и лихой посвист паровоза.

А ведь огромная часть пути — от затерянной в глубинах Сибири Тюмени до Урала — была проделана по старинке, на перекладных. В тряском возке, от станции к станции, с перепряжками, сонными зрителями и пропахшими конским потом и сивухой ямщиками.

Железная дорога брала свое начало лишь в Екатеринбурге.

Пред ним вырос «век минувший» — в пустынных трактах Сибири и печальном звякании колокольчика. И «век нынешний» — в извергающих к небу пламень и дым заводах Урала, в серебристых нитях железнодорожных

рельсов, в льющих яркий свет фонарях екатеринбургского перрона.

Быстрый бег времени захватил его давно. Еще в детстве, в тихой, живущей вразвалку Тюмени. Здесь, в реальном училище, он сперва смутно, а потом все явственнее и ясней почувствовал обжигающее дыхание нового столетия, что надвигалось, с его машинами, которые играючи сглатывают металл, часы и версты и не только подменяют, но и во сто крат умножают мускульную силу, что чудодейственно обращают ночь в день и далекое делают близким.

Оттого мальчиком, поступив в Александровское тюменское реальное училище ради среднего образования, он юношей уже знал, что учится, чтобы стать инженером.

Инженер — по-русски — тот, кто все умеет. В семнадцать лет, к окончанию училища, он знал, как «Отче наш», что по нынешним временам все уметь — значит постичь тайны управления техникой. Ибо будущее, — а оно, что ни год, все больше становилось настоящим, — только за ней.

И Леонид Борисович Красин, года рождения 1870-го, сын Бориса Ивановича Красина и Антонины Григорьевны Красиной, урожденной Кропаниной, решил сойти с проторенной стези, по которой отмеряли свой путь по земле все его предки и родичи.

Были они людьми служилыми: прадед — городничим Тюмени, дед — судьей в Тобольском суде, отец — мелким чиновником в ранге земского заседателя.

Юный Красин не был мечтателем, в том смысле, в каком предаются возвышенным, но беспочвенным мечтаниям люди сырые, рыхлые, те, кто предпочитает розовые сны серой яви. Он знал, что задуманное обретает цену только тогда, когда становится исполненным. Однажды решив, он неукротимо стремился к решенному. И находил успокоение, только достигнув цели. С тем, чтобы тут же вновь потерять покой и снова устремиться вперед. На этот раз к цели новой.

Ему помогали свойства, которыми природа и предки не поскупились одарить его. Был он умен тем быстрым и острым умом, каким богаты русские люди, по-сибирски крепок и широк в кости и, что немаловажно, настойчив. Неутомимую мужицкую настойчивость он унаследовал от матери, женщины сильной, волевой и лучисто-спокойной, чьи деды и прадеды корчевали могучие кедрачи и пихты, вздымали неподатливую, но щедрую землю, покоряли свирепые стремнины грозного многоводья сибирских рек.

Когда тюменские щеголи-гимназисты начали выделять на льду невообразимо замысловатые фигуры и тем самым посрамили серяков-

реалистов, он стал допоздна пропадать на катке. Ни падения, на ушибы, ни стыд, ни боль не могли отвлечь его от поставленной цели. Он упрямо добивался и в конце концов добился своего — стал лучшим фигуристом города.

Упрямое упорство помогало ему и учиться. От природы способный, цепко и на лету хватающий знания, он не довольствовался тем, что давалось с ходу, а вгрызался в науки. Стремился постичь их на всю глубину.

Оттого знал он больше того, чему его учили.

Стало быть, знал очень много, ибо обучение тюменских реалистов велось отличнейшим образом.

Захолустная Тюмень обладала превосходным реальным училищем, по существу, небольшим политехникумом. Основанное и многие годы направляемое И. Я. Словцовым, человеком просвещенным, прекрасным знатоком и патриотом Сибири, Александровское училище было отменно оснащено. Светлые классы, просторные, богато оборудованные лаборатории, многотомная библиотека.

Читай, работай, учись!

Под стать училищу были и педагоги. Особенно химик Ф. Г. Бачаев, пылко влюбленный в родной край и предмет.

Это он вселил в учеников любовь к машине, и преображающей жизнь и скрашивающей ее.

Это он долгими вечерами, после того как давным-давно отзвенел звонок, под протяжный вой пурги за окном рассказывал притихшему классу о великом грядущем Сибири — страны неразбуженных сил, неистраченных богатств, неоткрытых кладов и неизведанных тайн.

Это он впервые назвал тюменским реалистам имя своей alma mater — Петербургского технологического института и заразил стремлением учиться в нем. Именно благодаря Бачаеву многие тюменские юноши, в том числе Красин, только и мечтали, что попасть в Петербургский технологический. Институт представлялся им, как писал Красин впоследствии, «идеалом человеческого счастья и благополучия», а студенты-технологи «сверхъестественными существами, перед которыми открыта любая дорога».

И вот, наконец, он у истоков ее. Позади — училище, впереди — институт, и как пропуск в него — аттестат со сплошными пятерками, бережно хранимый в холщовом бумажнике.

Однако аттестат, гордость семейства, казавшийся в заштатной Тюмени волшебной палочкой, которая распахнет любые двери и собьет любые

замки, в столичном Петербурге оказался всего-навсего бумажкой, пусть нужной, но далеко не всесильной.

«С большим душевным трепетом вступил я в конце августа 1887 года впервые в стены института, чтобы справиться в канцелярии, в порядке ли мои бумаги и буду ли я допущен к конкурсному экзамену».

Бумаги оказались в порядке, но на 116 вакансий претендовало больше 800 молодых людей.

Значит, борьба, жестокая, беспощадная, за место в институте, а стало быть, и в жизни.

Предстояли трудные экзамены по математике и физике.

Подготовка к ним отняла все время — три недели кряду, с короткими передышками на еду и сон.

Книги и записи откладывались в сторону только для того, чтобы разведать коварные уловки экзаменаторов, которые, подобно экзаменаторам всех времен и народов, мастерски владели искусством проваливать робеющих абитуриентов.

Но, как известно, все хорошо, что хорошо кончается. Пришел конец и экзаменам, а вместе с ними и смятению, и страхам, и робости, и отчаянной решимости.

Для него экзамены кончились хорошо. Он был принят на химико-технологическое отделение. «В Технологический институт я попал с твердым намерением пойти по стопам моего знаменитого земляка Д. И. Менделеева, — вспоминает Красин и прибавляет: — Все мы из средней школы вышли политически совершенно нейтральными юношами, с устремлениями больше в сторону химии, технологии и других прикладных наук... В Питер я явился без каких бы то ни было определенных политических запросов и в первый год с головой ушел в науку».

Он окунулся не только в науку, но и в борьбу с жизнью. Жизнь в столице оказалась неподатливой, скупой на милости. После занятий приходилось бегать с урока на урок, а когда их не было, рыскать по городу в поисках других случайных заработков. Старики родители к тому времени перебрались из Тюмени в Иркутск. Жилось семье трудно. Отцовского жалованья едва хватало на прокорм.

Красин испытывал жгучее чувство стыда и неловкости всякий раз, как из Сибири приходил почтовый перевод. Несмотря на протесты сына, отец, пока Леониду не дали стипендию, время от времени урывал скудные крохи и слал в Петербург. Если уж бедовать, так сообща — таков был неписанный закон, по которому жили Красины.

Невзгоды не так тяжелы, если их нести не в одиночку. Год спустя ему

полегчало. В Петербург приехал и тоже поступил в Технологический младший брат Герман, длинный, худой, нескладный.

Братья зажили вместе, одним домом, одним немудреным студенческим хозяйством, поровну деля и деньги, и расходы, и одежду, и обувь, и труды, и заботы.

Зажили дружно и ладно, как жили все Красиные и Кропанины.

Но жизнь не только подставляла молодому студенту свои острые бока. Она являла и свой лик, ужасный, отвратительный. Был он исполосован виселицами, изъязвлен тюремными казематами, испещрен верстовыми столбами, отмерявшими печальный, от этапа к этапу, путь на каторгу и ссылку.

То была пора свирепой реакции. Невероятно тусклое и мрачное время.

— Страна скована льдом, — говаривал брат Герман. А поэт описывал:

В те годы, дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только — тень огромных крыл...

Всего лишь несколько лет назад, после того как от бомб революционеров-террористов пал Александр II, была разгромлена героическая «Народная воля». Взошли на эшафот Софья Перовская, Андрей Желябов, Тимофей Михайлов, Николай Кибальчич и Николай Рысаков, а те из их товарищей, кого миновала петля палача, были заживо погребены в Шлиесель-бургской крепости.

За каких-нибудь несколько месяцев до приезда Красина в столицу, 8 мая 1887 года, погибли на виселице Александр Ульянов, Василий Осипанов, Пахомий Андреюшкин, Василий

Генералов, Петр Щевырев — последние из когорты революционеров-террористов пытавшиеся, подобно прежним сынам «Народной воли», прикончить царизм бомбами.

Правительство нового государя императора, грузного, квадратного, с тяжелым взглядом и неподвижным лицом, Александра III, задушив «Народную волю», все крепче стискивало горло страны. Одно лишь участие в безобидном кружке самообразования оборачивалось полицейским делом и кончалось высылкой в провинцию. Бели же занятия содержали хотя бы намек на социализм, участники кружка отправлялись в тюрьму, а оттуда в места не столь отдаленные — самые северные уезды Вологодской и Архангельской губерний или хуже того — в дальнюю

кандальную Сибирь.

Просвещение получил под всевластное начало министр Делянов, тупой и злобный мракобес, прославившийся афоризмом о «кухаркиных детях». Он неколебимо верил в фельдфебельскую премудрость, что «враг внутренний есть жида и скубенты», и вершил над просвещением Шемякин суд и крутую расправу,

Главные удары обрушивались на молодежь. Это не мудрено. Если революции — это локомотивы истории, их машинисты и кочегары — молодежь. Это они, молодые, без страха и трепета шли на муки и смерть, Это они, молодые, своими звонкими голосами силились разбудить Россию. Это они, молодежь, пусть оступаясь и блукая средь неверных блуждающих огней, искали пути из мрака к свету, от рабства к свободе.

Приход Красина в институт совпал с трагическим переломом в жизни высших учебных заведений. Буквально на глазах молодого студента уничтожались последние вольности. Студентов вырядили в форму. Когда все на один манер, нет каждого. Безликая масса — как стадо, ею легче управлять, за ней легче присматривать. Для слежки была учреждена система педелей. Педели — ищейки-надзиратели — повсюду шпионили за студентами, чуть что донося по начальству о каждом неосторожном слове, о каждом необдуманном поступке.

Чтобы студент поменьше размышлял, его побольше занимали — лекциями, репетициями, чертежами, работами в мастерской. Чем меньше у человека досуга, тем меньше он думает, а значит, меньше склоняется к бунту.

Как ни зелен был Красин, он очень быстро разобрался в пестрой сутолоке институтских будней и уразумел, что истинная цель начальства — «доводить студентов до максимального одурения, не оставляющего в мозгах места ни для каких „вредных“ мыслей».

Еще со школьной скамьи ему был известен элементарный закон природы — действие равно противодействию. Теперь, в Петербурге, он убедился, что закон этот впрямую относится и к обществу. Чем сильнее давил правительственный пресс, тем больше возрастало сопротивление.

Из всех вредоносных заблуждений, пожалуй, самое нелепое и вместе с тем опасное — убежденность сановников в том, что человеческую мысль можно задушить. А человеческая мысль подобна сказочному богатырю. Сколько ни убивай его, он оживает вновь. Стоит лишь окропить его живой водой. Животворный же источник человеческого разума неисчерпаем.

Как ни старались правители, убить мысль они не могли. Она оживала — в спорах, разговорах, перешептываниях, нелегальных кружках,

легальных и полулегальных студенческих учреждениях.

Не прошло и двух лет, как Красин понял, что институт — или Техноложка, как он, теперь уже бывалый студент-второкурсник, называл ее, — живет двойной жизнью: официальной, с ее видимым напряжением и казенной деловитостью, и неофициальной — бурной, опасной, захватывающей.

Очаги этой жизни были различны. И знала о них только посвященные.

Во дворе, подле ворот, ведущих в институт с Забалканско-го проспекта, стояло небольшое здание. Было оно унылым с виду, но полным кипучей жизни изнутри.

Здесь помещалась студенческая столовая. В ней можно было не только по дешевке поесть, но и переброситься на ходу рискованное слово, тайком обменяться мнением о том, о чем в аудитории благоразумнее умолчать, собраться вдвоем-втроем и накоротке поспорить о политике либо пофилософствовать на тему: куда идет Русь и кому вести ее? Наконец, здесь можно было, не опасаясь надзирателей, договориться о месте и часе сбора нелегального кружка.

Педелям вход в столовую был заказан. Ее хозяевами были студенты. Меж ними и институтским начальством установилось негласное соглашение, которое соблюдалось как первой, так и второй стороной. Одни пообещали не проводить в столовой ни сходок, ни больших собраний и строго следили, чтобы это обещание выполнялось. Другие, однажды отдав студентам управление столовой, в дальнейшем не посягали на него.

Правда, в истории бывали исключительные случаи, когда в столовую силой проникали околоточные, приставы, городовые. Но чтобы хоть один педель переступил порог ее, такого не было.

Управляя столовой, студенты проходили довольно солидную школу демократии, сплочения, организации. Во главе всех дел стояли выборные распорядители. Их кандидатуры выдвигались покурено, подачей записок. Затем составлялся общий список и вывешивался на стене для «всенародного голосования». Каждый студент ставил против фамилии кандидата плюс или минус. Кто набирал больше плюсов, проходил в распорядители.

Собрание распорядителей делилось на комиссии — административную, мясную, овощную — и направляло всю жизнь столовой: подряжало эконома, поваров, заключало соглашения с поставщиками провианта, устанавливало таксу на блюда, следило за порядком.

Благодаря студентам порядок в столовой был образцовым, хотя

временами здесь кормилось до тысячи человек.

Независимая столовая — одна из вольностей, которую удалось отстоять технологам. Другим студентам Петербурга жилось куда хуже. В университете, например, после убийства Александра II все студенческие организации были разгромлены вчистую.

Красину работать в столовой не довелось. Тут требовались деловая сметка и практический опыт. Малоискушенных юнцов распорядителями не выбирали. А он был тогда «очень хорошенький мальчик, немного выше среднего роста, стройный, с прелестным, по-детски круглым лицом, безусый и безбородый», — вспоминает его однокашник А. Балдин.

Красин стал участником другой студенческой организации — нелегальной — библиотеки.

Институтская библиотека своим официальным лицом радовала начальство. Лицо было анемичным, а сама библиотека — хилой. На полках стояли лишь книги по технике. Литература социально-экономическая давно пылилась за замками и печатями. Многие книги, легально вышедшие в свет лет десять назад, — о хождении в народ, о борьбе с самодержавием, о теории и истории социализма — теперь были запрещены и изъяты. Те, кто пытался их читать, предавались не только академической анафеме, но и полицейским властям. Если жандармы натыкались на «Что делать?» Чернышевского, владельца книги ожидало не только исключение из института, но и отбывание «натуральной тюремной повинности».

Запрещенными книгами были и первый том «Капитала»

Маркса, я первый и второй тома сочинений Лассаля, и «Исторические письма» Лаврова, и «Политическая экономия» Милля с примечаниями Чернышевского.

Вот эти-то книги, запретные и опасные, и составляли другое, неофициальное, наиболее манящее студентов лицо институтской библиотеки. «Всякий уважающий себя студент, — вспоминает Красин, — считал для себя обязательным прочесть всю запретную литературу».

Она не хранилась в библиотечных стенах. Она ходила по рукам, тайно и конспиративно. Книжки передавали из-под полы, быстро, с оглядкой студенты-библиотекари. Каждый держал на дому по две-три книги, не больше, чтобы при провале жертвовать немногим. Он выдавал нелегалыцину товарищам по записям в особых каталогах, которые прятались в тайниках.

Довольно трудным и опасным занятием было не только распространение книг, но и добывание их.

Красин стал подпольным библиотекарем и «предавался этому делу с

рвением спортсмена. Элемент спорта был тут не только в связи с некоторым риском, но в особенности также поскольку дело шло о пополнении библиотеки редкими книгами. В Петербурге не было ни одной лавчонки букинистов, которую я не посетил бы, и если где-либо появлялся первый том „Капитала“, или Лассаль, или Чернышевский, знакомые букинисты давали мне знать, и я отправлялся добывать книгу, не останавливаясь даже перед такими сверхъестественно большими, по тогдашним временам, затратами, как десять или пятнадцать рублей за одну книгу».

Чем больше приобщался он к подспудной институтской жизни, тем глубже вникал в нее.

Вблизи все выглядело много сложнее, чем издали.

Со стороны казалось, что студенческие организации монолитны, что всякий, кто рискует, связываясь с нелегальщиной, — частица единой, собранной в кулан и нераздельной силы.

На поверку же выяснилось — единства нет.

Все, кто хотел бороться или по крайней мере считал себя борцом, сходились только в одном:

— России нужны перемены.

Но как добиться их?

На этот вопрос разные люди отвечали по-разному.

Ответы зрели в спорах, яростных, жестоких, непримиримых. В них отражались проблемы, волновавшие умы всей мыслящей России.

Одни говорили:

— У Руси особенная статья. Ей, не в пример Европе, чужд капитализм с его фабриками, заводами, пролетариями. Минуя капитализм Русь движется к социализму через сельскую общину, этот «зародыш социализма». Не «язва пролетариата», а крестьянство — вот кто главная революционная сила. Но крестьянству одному не сдвинуть колеса истории. На это способны лишь герои, „критически мыслящие личности“. Только за ними послушно идет толпа, обычно пассивная и безвольная. Историю вершит не классовая борьба народных масс, а бомба и воля выдающихся личностей. Другие говорили:

— Россия вступила на путь капитализма и всю движется по нему. Нет нужды, угодно ли сие отдельным персонам или нет. „Если Иисусу Навину удалось, по библейскому рассказу, остановить солнце „на десять степеней“, то время чудес прошло, и нет ни одной партии, которая могла бы крикнуть: „стойте, производительные силы, не шевелись, капитализм!“ .Сельская община никакой не „зародыш социализма“. Капитализм,

развиваясь, разлагает ее. В общине все большую силу забирают богатеи. Они грабят бедняков, отнимают землю. Крестьянство раскалывается, распадаясь на кулаков и батраков. Одни пополняют ряды сельской буржуазии, другие — сельского пролетариата. Капитализм, независимо от своей воли, рождает своего могильщика — промышленный пролетариат, самый революционный класс общества. Он-то и призван возглавить борьбу народных масс за социализм. Третьи говорили:

— Мы еще совершенные невежды и, прежде чем браться за дело, хотим учиться. В частности, хотим основательно проштудировать политическую экономию. Хоть и смутно, но мы уже понимаем, что в экономике — разгадка всех других общественных наук.

Четвертые считали:

— Незачем зарываться в книги. Достаточно прочесть несколько статей Герцена, Лаврова, Чернышевского, Михайловского, и теоретическая подготовка революционера закончена. Он может смело догружаться в практическую работу, выходить на борьбу.

Пятые борьбу вообще отрицали:

— Раз не удалось поднять крестьян, надо искать соглашения с царизмом. То, что не удалось взять с бою, надо ста^[1] — раться добыть миром, в рамках легальности. Следует не бороться, а приспособляться.

Трудно сказать, кто хуже — реакционер или либерал. Скорее всего оба хуже. Во всяком случае, первый открыт, от него добра не жди. Второй закамуфлирован. Он скользок и труслив. Возвышенными словами либерал пытается прикрыть ничтожность дел, а в решающий и, конечно, опасный момент норовит улизнуть в кусты. Это его, русского либерала, высмеял поэт Д. Минаев, обращаясь со стихотворением-экспромтом к одному из высших государственных сановников России:

Перед лицом всей нации
И всей администрации,
В виду начальства строгого.
Мы просим, граф, немного:
Уж вы нам — хоть бы куцую, —
Но дайте конституцию.

В запутанном лабиринте враждующих мнений и взглядов нетрудно было заблудиться. Требовалось найти выход. И Красин искал его. Наблюдая, сопоставляя, взвешивая, размышляя.

Действительность гнусна. Отвратен царизм. Чудовищна реакция. Невыносима рабья покорность, насаждаемая кнутом и кандалами. Мириться и тем более уживаться со всей этой мерзостью бессовестно.

Что же делать?

Бороться.

Но как? С кем сообща?

С теми, кто владеет оружием. Без него любая борьба бессмысленна.

Но где оно, это оружие? Каково оно?

Прежнее — бомба — негодно. После убийства одного царя к имени другого прибавили палочку. Только и всего.

Исход борьбы решают не отдельные, пусть и выдающиеся, личности, а народные массы. Так как "базис истории лежит в глубине народной жизни, технической организации труда, — размышлял Красин, — то отдельные личности могли выделять какие угодно кунштюки, ходить на голове и т. д., но влияние их оставалось заметно лишь постольку, поскольку они воздействовали на эту именно сторону. Но она-то как раз наименее всего подлежала их воздействию. Наполеоны завоевывали миры, Александры, в свою очередь, упрятывали Наполеонов на уютные острова, а тем временем в стороне от этого блеска и шума шел серенький процесс применения паровых, ткацких и других машин, сделавших весьма неузнаваемой физиономию Западной Европы. И уж наверное роль и значение всех этих господ, начиная с Александра Македонского и кончая тем же Наполеоном, оказались бы менее заметными, если бы вместо своих грандиозных завоеваний удалось им выловить и уничтожить всех этих Уаттов, Аркрайтов, Стефенсонов, Фультонов и пр. и пр. ... Однако бодливой корове в этом случае бог рог не дает... Разве не могу я обратиться к ним с теми же словами, с которыми Архимед отнесся к воину при взятии Сиракуз: "Не тронь, варвар, моих теорем!!" Правда, этот варвар ударом своего меча размозжил величайшую в мире голову, но моя голова пока еще дела и на плечах, да если бы и бить по ней стали, то лучше быть биту наподобие Архимеда, чем пресмыкаться в качестве раба с завязанными глазами, не сознавая ничтожества и бессилия своих господ-угнетателей".

Где же выход? Где же оно, это могучее оружие борьбы? Оружие, которое он искал, находилось рядом, в нелегальной библиотеке.

Если верно, что книги, подобно людям, имеют свою судьбу, не менее верно и то, что судьба людская зависит от книг. Подчас встреча с иной книгой круто меняет всю человеческую жизнь.

Кем стал бы Красин, не прочти он «Капитала»? Талантливым инженером, выдающимся техником, одним из тех, кто ставил стропила, а затем возводил здание русского капитализма. С приходом зрелости остыл бы пыл молодости, поыветрился бунтарский дух, столь свойственный мятежной юности, и он, подобно многим сверстникам и однокашникам

своим, строил бы, управлял, двигал вперед технику, а по вечерам поругивал бы в Деловом клубе за картами правительство и расейскую отсталость с азиатчиной.

Книга Маркса заново раскрыла перед ним мир. И помогла найти в нем свое настоящее и стоящее место.

Это пришло не сразу. Поначалу, после первого знакомства, он, подобно многим, увидел в Марксовом «Капитале» только подспорье своей будущей деятельности. Так сказать, руководство к действию в рамках сложного, полного противоречий и пороков капиталистического общества. "Для нас, — пишет он в 1889 году, — подобная штука имеет особый интерес: нам придется возвращаться как раз в той области, где идет "производство и распределение богатств и товаров", а потому было бы очень странно не знать законов, управляющих этими процессами".

Но чем глубже вникал он в книгу, тем яснее постигал ее великий смысл. "Еще лет 30–40 назад не могли предвидеть ближайшую судьбу европейского общественного строя, если же возьмем сотню лет назад, то максимум, что мы увидим, — ничтожную кучку мыслителей, не столько предугадывающих, сколько предающихся полету своей пылкой фантазии о будущем человечества. Но вот время идет, естественные науки окончательно встают на ноги и открывают, таким образом, возможность научного развития взглядов на историю человечества. Разработка начинается с лихорадочной поспешностью, и уже в конце 60-х годов Карл Маркс уверенной походкой опытного врача приближается к современному европейскому обществу, изучает пульс общественного организма и предсказывает участь этого самого ранее не разгаданного сфинкса с точностью, какой может позавидовать самый заправский медик".

Он штудировал Маркса и в одиночку и в кружке сибирского землячества. Читает, перечитывает, отдает летние каникулы книге, страницу за страницей, главу за главой конспектирует ее, причем конспекты куда подробнее и объемистее многих глав оригинала.

И сокрушается, что "у нас на русском языке нет популярного изложения идей этого экономиста. Многие получили бы от него просвещение".

Он все настойчивее думает о том, как бы просвещение это понести людям. И постепенно все яснее сознает, что Маркс не только великий экономист, но и великий революционер, что он не только вскрыл неизлечимые недуги капитализма, но и объявил ему непримиримую войну, что созданная Марксом теория призвана не только объяснить, но и преобразить мир.

Постичь эту истину ему помогли старшие товарищи по институту. К тому времени — к началу 90-х годов — сложилась своеобразная география студенческого Петербурга: студенты Лесного института — «лесники» — в большинстве своем были народниками, универсанты — тяготели к марксизму, но с сильным привкусом «легального», и лишь Техноложка являлась оплотом марксизма. Именно здесь хотели всерьез изучать теорию и сочетать ее с практикой.

Технологи пытались вплотную подойти к организации рабочего движения.

Дело это было неизведанным, трудным. Но нелегальные кружки исподволь набирали силу. Слабые, разрозненные и разобщенные вначале — ни общегородской, ни даже обще-^[2]институтской связи не существовало, — они постепенно крепили и шли к объединению.

Путь этот был ухабистым. Он был изрыт рытвинами борьбы. Ну что ж, тем лучше, ведь борцы рождаются только борьбою.

Борьба разгорелась на одном из первых же собраний участников студенческих кружков. Был на нем и Красин. Докладчика поначалу слушали уважительно, даже с восхищением. Был он знаменит. И хотя председательствующий представил его под конспиративной кличкой «Лоэнгрин», многие знали и настоящее имя и историю его. Это был С. Карелин, земский статистик и экономист, старый революционер-народоволец, только что вернувшийся из северной ссылки.

Говорил он о старой "Народной воле", о ее героических традициях в борьбе с царизмом, о дисциплине, стальным обручем объединявшей народовольцев.

Все это вызывало одобрение, ибо относилось и к прошлому и к настоящему. То, что годилось прежде, необходимо было и сейчас.

Но когда Лоэнгрин перешел к дню сегодняшнему, аудитория насторожилась. Оратор звал молодежь объединиться на борьбу с общим врагом. Но вести ее предлагал с помощью террора.

Революционный террор, возведенный в систему, — вот что проповедовал Лоэнгрин.

День вчерашний сбивал с толку день нынешний. Прошлые тянуло вспять настоящее.

И Красин и друзья его выступили против старика, хотя был он и чтим и популярен.

Старшие прокладывают дорогу младшим. За это им поясной поклон. Но если они устаревают и становятся поперек дороги новому, они должны освободить путь. Танов закон поступательного движения, такова

неумолимая логика его.

Аудитория раскололась. Технологи держались дружно. Они потребовали голосования и проголосовали за марксистов. На другом, еще более многочисленном собрании, когда речь зашла о новейших течениях в социологии, Красину тоже пришлось принять бой. На этот раз он выступил оппонентом докладчика А. Венцовского, развивая и отстаивая марксистскую точку зрения на историю.

Бороться приходилось не только с народниками. Бороться приходилось и с марксистами. С теми из них, кто называл себя таковыми, по существу ими не являясь.

Когда море вздымает могучий вал, вместе с волной несутся и ил, и песок, и камни. Спадет волна, и они осядут на дно. Но пока волна вскипает, они держатся на ее гребне. К 90-м годам марксизм стал в России модой. Некоторые умеренные либералы, приветствуя зарю русского капитализма и с восторгом поглядывая на Запад, использовали новое учение для борьбы с отсталыми взглядами народников. В последнем была их известная заслуга. Но главное в марксизме — его революционную суть — они опускали. Ни о преходящем характере капитализма, ни о социалистической революции, которая свергнет власть капитала и установит диктатуру пролетариата, "легальные марксисты" даже не заикались.

В студенческих кружках и салонах преуспевающих присяжных поверенных стал частым гостем студент-универсальник Павел Струве. Неуклюже размахивая длинными, поросшими рыжими волосами руками, он сыпал цитатами из Маркса, которого, как заверял он, знал назубок, поносил российскую некультурность и призывал идти на выучку к капитализму.

— Главное, — говорил он, — социальные реформы. Они и есть те звенья, которые свяжут капитализм со строем, сменяющим его.

Эту же мысль, но в образной форме притчи развивал другой "легальный".

Собака, которую заели блохи, спросила лису, как от них избавиться.

"Залезь в воду, а спину оставь снаружи", — посоветовала лиса.

Собака послушалась. Все блохи собрались на спине.

Теперь собака погрузилась глубже, выставив лишь голову.

Блохи перебрались на макушку. Тогда собака высунула язык и окунулась с головой. Блохи собрались на языке, и собака всех их сглотнула. — Так вот, — пояснял оратор, — вода — это денежно-товарное хозяйство, а сборище блох к одному месту — концентрация капитала. Следовательно, рецепт для перехода России от капитализма к социализму — развитие

товарно-денежного хозяйства и капиталистического производства.

Буржуазный реформизм вместо революционного марксизма. Этому нельзя было не дать боя. И Красин сражался. Темпераментно, страстно, с молодым азартом.

Острый и быстрый ум, широкая начитанность, точное знание предмета, безжалостная логика, разящий наповал сарказм помогли ему.

Теперь старшие товарищи знали: во всех идейных схватках можно смело рассчитывать на него.

У этого тоненького, элегантного, даже несколько склонного к щегольству молодого студента были крепкие кулаки.

II

И Петербург всколыхнуло, В стране и столице шли студенческие беспорядки.

Хмурые мартовские улицы засверкали медными бляхами дворников, расцвелись гороховыми пальто шпиков.

Извозчичьи биржи опустели. Толстозадые ваньки предпочитали отсиживаться в теплых трактирах, чем в промозглую предвесеннюю склизь возить городских и приставов, препровождавших в участки мятежных студентов.

Техноложка гудела. По коридорам слонялись растерянные, как-то разом полинявшие педели. В аудитории их не пускали. Стулья, воткнутые ножками в ручки дверей, ограждали вход.

А за дверьми митинговали, вразнобой до хрипоты витийствовали, во всю мощь молодых глоток пели студенческие и разбойные про Стеньку Разина и Солнце красное песни.

Главная лестница, что вела от входа на этажи, патрулировалась студентами. В институт никто не допускался, Полная обструкция. Никаких наук и занятий. Вольность. Свобода.

С чего все началось? Многие толком и не знали. А если и знали, то позабыли в пылу разгоревшихся страстей.

Кто говорил, что всему виной арест двух студентов, которые нанесли пощечины директору и были сданы в дисциплинарный батальон.

А кто считал причиной несправедливое исключение студента Гецена, славного, симпатичного малого, схлестнувшегося с инспектором-держимордой Смирновым.

Но разве в причине дело? Тут следствие важно, не причина.

И вот уже который день бушует, не смолкает Техноложка. В большой чертежной — вече. Сдвинуты столы, скамьи, чертежные доски. Но в просторном зале такая давка, что и ластику негде упасть. Даже высокие подоконники облеплены людьми.

На нескончаемой сходке оратор сменяет оратора.

На трибуну, наспех составленную из столов, взлетает тоненькая фигурка. Гудит неокрепший басок. Опасно посверкивают огромные серые глаза. Горят румянцем смуглые щеки. Рука то отбрасывает с крутого лба черные как смоль волосы, то рубит воздух ребром ладони.

Слова. Звонкие, хлесткие, острые. Он, словно гвозди, вколачивает их в

притихший зал. И всякий раз, как слова попадают в цель, чертежная вскипает криками, аплодисментами.

Говорит Красин.

Первое выступление на большом митинге.

Оно не осталось неслышанным. Ни теми, к кому он обращал его, ни теми, против кого оно обращалось. Как говорится, не единым педелем живо начальство. Желаящий слышать — услышит. Благо нужные уши всегда найдутся. Те, что невооруженному глазу не видны.

Выступление Красина дошло до охранки. Это выяснилось очень скоро.

Под вечер, весело цокая копытами, к институту подскакал отряд конных жандармов.

Следом за ними, деловито посапывая, подтянулись пешие городовые, околоточные, приставы. В полном параде, при медалях и орденах.

Полицейское воинство силой проникло в институт, перекрыло входы и выходы.

К студентам, согнанным в столовой, обратился петербургский градоначальник генерал Грессер. Речь его была краткой, но внушительной.

— Милостивые государи! Вы арестованы и будете доставлены в полицейские части. А там разберутся.

Первый арест. Начало predetermined для всех, кто избрал борьбу, пути, с вехами, которые заведомо отмерены: разборка, высылка, тюрьма.

Первый арест как первый бой, его никогда не забываешь. Красин вспоминал о нем всю жизнь. В мельчайших деталях и подробностях.

И как ни странно, весело, с приятностью. И не только потому, что воспоминания, особенно юности, милы.

В тесной камере Коломенской части набилось видимо-невидимо народу — около сотни студентов. И в тесноте и в обиде. Но никто не обижался и никто не хандрил. Напротив, каждый бодрился, старался показать, что ему как заправскому революционеру все нипочем. С нар неслись анекдоты, шутки, смешные стихи.

Даже в первую ночь, когда на студентов накинута остервенелые клопы — эти непереносимые спутники российских каталажек, — никто не приуныл, не забрюзжал. Все наперебой стали разрабатывать новейшие, наинедоступнейшие способы клопоморения.

Заклучение не только разъединяет, оно и объединяет. Несмотря на все старания — а быть может, именно благодаря им — человека не удастся изолировать от человека, если, разумеется, людьми движет одна общая и благородная цель.

В зловонной, битком набитой камере Коломенской части Красин

близко узнал тех людей, которых, возможно, и не приметил бы в повседневной суете институтской жизни. А ведь как раз им суждено было сыграть немалую роль в его дальнейшей судьбе.

Он ближе познакомился со студентом-старшекурсником Михаилом Брусневым.

С первого взгляда человек этот ничем не выделялся. Простое, неприметное русское лицо. Чуть вздернутый нос. Светлые, спокойные волосы, зачесанные на пробор. Такие же светлые, спокойные глаза.

Говорил он немного, негромко, не спеша, как бы боясь попусту растратить слова, вслушиваясь в них и вдумываясь в смысл каждого. Зато все, что он говорил, было до малейшей малости отмерено.

Настоящие люди походят на каменноугольные шахты. Богатство их не в бросающихся в глаза терриконах. Оно в скрытых от взоров глубинах.

За простотой и неброскостью Бруснева скрывались горячий темперамент борца и точный ум тактика, глубокое знание марксистской теории и недюжинный талант организатора, за мягкостью и душевностью — твердая воля революционера.

"Бруснев, — вспоминает Н. К. Крупская, — был чрезвычайно умным и каким-то необыкновенно простым человеком, целиком ушедшим в рабочее движение".

Так что, когда после нескольких дней отсидки пришел приказ — студенты, выходи! — Красин даже пожалел о Коломенской части. Не хотелось расставаться с интересным и славным человеком.

А расставаться приходилось. Волею начальства их пути шли врозь. По приговору профессорско-инспекторского ареопага студент третьего курса Леонид Красине 17 марта 1890 года подлежал увольнению из института с последующей высылкой из Петербурга.

Постановление педагогического совета, разумеется, не замедлил утвердить министр Делянов, и Леонид вместе с братом Германом (тот тоже участвовал в беспорядках и также был наказан) укатил в Казань. На сей раз на казенный счет. Слабое, но все же утешение.

Казанское лето промелькнуло вместе с сухими и жаркими ветрами; приехавшими на вакации курсистками, молоденькими, застенчивыми и суровыми; и Волгой, неправдоподобно огромной, манящей, захватывающей дух. Как-то он переплыл ее в оба конца, пробыв в воде без малого два часа.

И еще одним было отмечено лето в Казани — полицейской слежкой, тайной, или, как тогда именовали ее, негласной.

Хотя сей секрет полишинеля для Красина тайны не составлял. На каждом шагу он ощущал назойливый глаз охранки.

Директор департамента полиции Дурново уведомлял начальника казанской жандармерии:

"Департаменту полиции сделалось известно, что уволенный за участие в беспорядках из СПб-го Технологического института Леонид Борисович Красин, проживающий ныне в Казани, поддерживает сношения с высланным из Москвы по такому же поводу студентом Петровской земледельческой академии Петром Михайловичем Функом, находящимся в Екатеринбурге. Сношения эти показывают, что означенные молодые люди представляют личности вредного направления.

Принимая во внимание, что Красин в месте настоящей} своего пребывания может иметь сношения с учащейся молодежью и оказывать на нее дурное влияние, департамент покорнейше просит обратить на деятельность и сношения Красина особое внимание" '.

Правда, длительных хлопот он казанским жандармам не доставил. Ближе к осени пришел ответ на прошение, которое они с братом подали сразу же после исключения. Начальство смиростивилось. Красиным было дозволено вернуться в институт: старшему — на третий курс, младшему — на второй. Студентами они были способными, старательными, что называется, подававшими надежды, острастка была им дана, да и события, отойдя назад, утеряли свою остроту.

И вот снова институт, тихий, присмиривший, как казалось начальству, склонному принимать желаемое за действительное (так спокойнее).

На самом же деле институт не присмирел, он притаился, скрытно и неодолимо готовясь к новому, еще более мощному рывку. В глубинных недрах института не только жили и раз-^[3] множились нелегальные кружки, в Техноложке возникла социал-демократическая организация, группа людей, пытавшихся объединить разрозненные марксистские кружки Питера и даже всей России..

Этой группой руководил Михаил Бруснев.

"В 1890–1891 годах, — писал он, — в рабочей организации Петербурга назрела потребность отрешиться от кружковой замкнутости и выйти на более широкую арену политической борьбы... Только через рабочих вождей мы считали возможным повести широкую агитацию и пропаганду".

К тому времени жизнь и марксизм научили Брусневу, а под его влиянием и Красина непреложным истинам:

— центр революционной борьбы не в институтах и университетах, а на заводах и фабриках;

— студенческое движение нельзя принимать в расчет, как

самостоятельную силу. Бенгальский огонь, хоть он и ярок, гаснет столь же быстро, сколь быстро воспламеняется;

— единственная реальная сила освобождения России — организованный рабочий класс. Помочь ему овладеть революционной теорией, вооружать ею и политически просветить — такова миссия социал-демократической интеллигенции.

Воспитать рабочих руководителей, выработать из рабочих кружковцев своих "русских Бебелей" — вот к чему стремились Бруснев и члены его группы: Голубев, Родзевич, Гурий Петровский, Баньковский, Бурачевский, Цивинский.

В Петербурге было создано до двух десятков рабочих кружков. Их возглавили рабочие, руководившие всей организационной стороной дела. Из них впоследствии выросли такие замечательные борцы революции, как Федор и Егор Афанасьевы, Николай Богданов, Гавриил Мефодиев, Петр Евграфов.

Кружок интеллигентов-пропагандистов входил в организацию как ее составная часть и имел своего делегата в центральном штабе группы, но самостоятельной руководящей роли не играл.

Штаб состоял из пятнадцати-двадцати человек и был строго законспирирован. Возглавляли его Бруснев и Голубев, студент-универсанта по кличке "дядя Сеня". Он также был последовательным марксистом, решительно отвергавшим террор.

Брусневцы, соблюдая строгую конспиративность, настойчиво стремились к расширению своей организации. Они с оглядкой и придирчивым отбором выискивали нужных людей. Одним из них стал Красин. Впрочем, сперва не все в группе были согласны с привлечением его. Некоторые считали Красина молодым для такого трудного и ответственного дела. Решающее слово осталось за Брусневым. Молодость — рассудил он — единственный из недостатков, который проходит с годами.

Так что однажды, подслеповатым октябрьским деньком, когда в полутемной и без того институтской столовой из всех углов напоздает сумрак, с Красиным, направлявшимся к выходу, поравнялся студент-старшекурсник Цивинский. Не останавливаясь, на ходу, но так, чтобы быть слышанным в неумолчном стуке мисок и звяканье ложек и ножей, он проговорил:

— Есть кружок на Обводном канале. Из рабочих "Резиновой мануфактуры" и ткачей. Нужен интеллигент. Для систематических занятий и пропаганды.

Красин кивнул головой.

— Работать будете под конспиративной кличкой. Какая она у вас?

Красин покраснел. Конспиративная кличка — о таком он даже не мечтал!

— Будете Василием Никитичем, — с минуту помолчав, решил Цивинский.

И уже в дверях добавил;

— Моя кличка — Осип Иванович.

Так Красин стал Никитичем, Отныне и на долгие годы. В условленный вечер он пришел к Брусневу на Бронницкую, скинул студенческую форму и переделся в платье, что было уже приготовлено для него.

Надел косоворотку, натянул стоптанные, порыжелые сапоги, надел пальто с обтрепанными полами и рукавами и низко на лоб, чуть ли не по самые брови, нахлобучил мохнатую шапку.

Взглянув в зеркало, он для пущей убедительности выпачкал лицо и руки сажей из печной трубы.

Теперь, казалось им с Брусневым, он полностью походил на мастерового. Заблуждение, увы, свойственное в те времена многим интеллигентам. Ряженные студенты рядом с настоящими рабочими нередко выглядели жалкой рванью, "золотой ротой", вконец слившимися люмпенами.

Довольный своим видом, он вышел на улицу и зашагал к Обводному каналу.

На улице было безлюдно. Лишь в пелене тумана чернел силуэт будочника.

Обводный канал. Здесь тоже все спокойно. Пахнет сыростью близкой воды. С баржи, мигающей красноватым огоньком, доносится пьяная песня, то затихая, то срываясь на крик. Впереди только редкие пятна газовых фонарей в белесом венчике тумана.

Из подворотни вынырнул человек и пошел впереди скорым шагом, не оборачиваясь. Смешно подрагивали его лопатки, выпирая из-под узкого, в обтяжку, явно не по мерке пальто.

Это Цивинский, тоже переодетый.

На углу Екатерингофского проспекта Осип Иванович вдруг остановился, оглянулся — нет ли где шпики — и юркнул во двор большого углового дома.

Красин поспешил следом.

Они поднялись по темной, пропахшей котами и плесенью лестнице на пятый этаж, крутнули звонок — вокруг ручки таких звонков обычно вьется

надпись: "Прошу повернуть" — и вошли в квартиру.

Лицо обдало сыростью и теплом. И запахами хлеба, щей, махорочного дыма.

Небольшая комната в два окна, чисто прибранная, опрятная, полутемная.

Из-за стола, на котором горела жестяная керосиновая лампа с треснутым, заклеенным полоской пожелтелой бумаги стеклом, поднялся человек. Сухопарый, сутуловатый, лет тридцати семи, с бледным, испитым лицом и горящими за стеклами очков глазами.

Он поздоровался. Рука его с тонкими, нервными пальцами ткача была горячей, но сухой. Это был Федор Афанасьев, организатор и руководитель подпольного кружка, питерский пролетарий, всю жизнь свою отдавший пробуждению сознания и организации рабочего класса.

— Вот тот самый Никитич, — сказал Цивинский и сел за стол, не снимая пальто, а лишь скинув картуз.

Договорились заниматься два раза в неделю, здесь, у Афанасьева.

Несколько дней спустя, вечером, так же как впервые, соблюдая правила конспирации, но на сей раз один, Никитич пришел к Афанасьеву.

Его уже ждали. Собрался весь кружок. Человек семь: Егор Афанасьев, браг Федора, две молоденькие девушки с "Резиновой мануфактуры" — Аня и Верочка и другие.

Поначалу новый пропагандист был встречен сдержанно, с видимым недоверием. Уж очень юн был он с виду.

Девушки, те даже едва скрывали свою иронию. Верочка — это была В. Карелина, впоследствии активная участница революционного движения, — с досадой думала про себя:

"Вот так серьезный пропагандист! Какой-то мальчик, наверное, гимназистик какой-нибудь! Нечего сказать, нашли кого послать к таким бородачам-рабочим нашего кружка!"

Но по мере того, как он говорил, отношение менялось. Никитич, вспоминает В. Карелина, "начал объяснять что-то по политэкономии. Сразу почувствовала себя неловко за свою критику".

Он не только сам превосходно знал все, что рассказывал, он умел передать свои знания другим. Говорил Никитич просто, но не упрощая, умно, но не впадая в ученую заумь, увлекательно и красноречиво, но не увлекаясь собственным красноречием и не любуясь им.

Когда два часа подходили к концу, у пропагандиста установилась прочная связь со слушателями.

Она оставалась нерасторжимой и крепла на всех последующих

занятиях. О чем бы он ни говорил — о новейших завоеваниях техники, об основах естествознания, физики, химии, геологии, политической экономии, — рабочие слушали не отрываясь.

Особенно выросал их интерес тогда, когда речь заходила о самом остром и наиболее — о положении рабочего класса. Тут уж нередко слушателем становился он, а слушатели — рассказчиками.

Рассказывать же было о чем. Все, что они говорили, было кровным, выстраданным.

Рабочий день по закону составлял 11,5 часа, но циркулярами министерства финансов разрешались сверхурочные. Так что фактически рабочий день длился 14–15 часов в сутки.

Вот что писал о жизни рабочих хорошо осведомленный современник:

"Толпы бедно одетых и истощенных мужчин и женщин, идущих с заводов. Ужасное зрелище. Серые лица кажутся мертвыми, и только глаза, в которых горит огонь отчаянного возмущения, оживляют их. Но, спрашивается, почему они соглашаются на сверхурочные часы? По необходимости, так как они работают поштучно, получая очень низкую плату (ткачи, например, из афанасьевского кружка зарабатывали 18–20 рублей в месяц. — Б. К.). Нечего удивляться, что такой рабочий возвращается домой и, видя ужасную нужду своей домашней обстановки, идет в трактир и старается заглушить вином сознание безвыходности своего положения. После 15 или 20 лет такой жизни, а иногда и раньше мужчины и женщины теряют свою работоспособность и лишаются места. Можно видеть толпы таких безработных ранним утром у заводских ворот. Там они стоят и ждут, пока не выйдет мастер и не наймет некоторых из них, если есть свободные места. Плохо одетые и голодные, стоящие на ужасном морозе, они представляют собой зрелище, от которого можно только содрогаться, — эта картина свидетельствует о несовершенстве нашей социальной системы".

К отчаянию нужды прибавлялось и отчаянное унижение. Каждое утро молодых девушек наравне с мужчинами раздевали и обыскивали перед началом работы.

— Что же делать? — спрашивал Никитич. И отвечал:

— Борьба. За каждую копейку жалованья. За каждый час рабочего дня. Но борьба только за копейку мало что даст. Надо бороться не только с хозяином, но и с городовым, приставом, околоточным — со всем аппаратом царской власти. Только полное политическое освобождение избавит от экономической кабалы. Это борьба против капитализма, за социализм, против царизма, за вечное царство труда, в котором эксплуатация человека

человеком будет возбуждать такое же изумление, как в нас — людоедство.

Никитич, подобно другим брусневцам, готовил рабочих к надвигающимся политическим схваткам с самодержавием, сеял, как он сам писал, "семена, давшие всходы впоследствии, в половине ЭО-х и начале 900-х годов".

Однако первые, пусть еще едва зеленеющие, ростки этих всходов стали уже проклевываться. В 1890 году в петербургском порту вспыхнула стачка. Повод был незначительный — административная неурядица, какие случаются почти что всякий день. Но руководили стачкой рабочие-брусневцы, и они постарались придать борьбе политический характер. Петр Евграфов собрал обильный фактический материал и передал Брусневу, а тот поручил Красину написать прокламацию.

И Красин написал ее, написал горячо, деловито, призывно и — что важнее всего — с поразительным проникновением в обстоятельства и условия рабочей жизни и борьбы. Когда прокламация пошла по рукам, читатели-стачечники говорили:

— Справедливая бумага. Сразу видать, написана своим братом — рабочим. Только, должно, очень башковитым.

Он не только сочинил прокламацию, но и переписал ее печатными буквами, а затем размножил на специальном аппарате — циклоstile. Получилось больше полусотни экземпляров.

Циклоstyle, а за ним и пишущую машинку он раздобыл для группы, заручившись помощью влиятельного земляка-сибиряка.

Ничего, усмехался он, пусть капиталист, сам не зная того, примет участие в политическом просвещении пролетариата (в те времена печатные аппараты продавались только с особого разрешения градоначальника).

Брусневская группа вскоре стала выпускать свою газету. Неважно, что ее не печатала типографская машина. Неважно, что тираж составляли всего несколько листов, переписанных от руки под копирку. Важно, что газета была по-настоящему рабочей. Каждое слово в ней было правдой, и каждая заметка написана самими рабочими. Бруснев и Красин лишь обрабатывали литературно то, что писали с заводов и фабрик рабочие-корреспонденты. Не удивительно, что газета шла нарасхват и зачитывалась до дыр.

Просторная комната Красина на Забалканском проспекте стала и редакцией, и типографией, и складом нелегальной литературы.

Группа Бруснева в обход полицейских ежей и цензурных шлагбаумов связалась с далекой Женевой, и оттуда стали прибывать брошюры плехановской группы "Освобождение труда". Потом они шли в рабочие кружки.

Все это было опасным. Опасность постоянно находилась рядом с ним, вплотную к нему. Брат Герман (они по-прежнему жили вместе) по ночам, прежде чем уснуть, долго прислушивался к шагам на лестнице и вздрагивал при каждом позднем звонке. Ему все время казалось, что вот он, пришел тот самый момент, когда произносишь "прощай и прости" и многое дорогое в близкое уходит от тебя навсегда или очень надолго.

Никитич же постепенно приучил себя к опасности. Он был готов встретиться с ней, но не боялся ее. Иначе трудно, а пожалуй, вообще невозможно было бы жить в его положении. Ведь опасность бродила поблизости и могла появиться в любой момент, внезапно и неожиданно.

В декабре 1890 года в Петербурге проходила всеобщая перепись. В ней участвовали и студенты: четвертная, которую им за это положили, какой-никакой, а заработок.

И надо же такому случиться — Красину достался именно тот самый дом на углу Екатерингофского проспекта и Обводного канала, в котором он вел кружок.

Когда он — разумеется, в студенческой форме — ходил по квартирам, переписывая людей, его сопровождал старший дворник — здоровенный одноглазый детина, как и все дворники, слуга двух господ, один из которых — охранка.

Несколько дней спустя после окончания переписи в афанасьевскую комнату, где шло очередное занятие кружка, вбежал дежурный, стоявший, как всегда, у входной двери на карауле.

— Старший дворник! — прошептал он. Все повскакали. Федор Афанасьев достал из шкафа бутылку водки, расставил рюмки, и вся компания расселась вокруг стола. Никитич, как обычно, одетый рабочим, сел так, чтобы быть спиной к дворнику.

Когда одноглазый вошел, хозяин поднес ему стакан водки и пригласил выпить вместе со всеми за здоровье именинника. — Приятель, — объяснил он, — снимает угол в этом же доме. Вот попросил пустить на часок-другой в комнату, справить именины.

Дворник рванул стакан водки, утер кулаком бороду и вышел.

Пронесло. На этот раз.

Но не зря говорят в народе — чему быть, того не миновать. Не прошло и пяти месяцев, как беда нагрянула вновь. И на этот раз не прошла стороной.

В апреле 1891 года в Петербурге умер Николай Васильевич Шелгунов, революционный демократ, писатель, близкий рабочим, горячо защищавший их интересы.

Хоронить Шелгунова вышел весь Петербург. Погожим весенним днем улицы столицы заполнила толпа. Проводить катафалк, усыпанный цветами, пришли студенты, гимназисты, адвокаты, писатели, курсистки.

В толпе, следовавшей за гробом, выделялась импозантная фигура Н. Михайловского, Рядом с ним частил мелкими шажками сухонький старичок — П. Засодимский.

На похороны вышли и рабочие. Они двигались в голове все разраставшегося шествия, неся венок, на алых лентах которого белели слова; "Указателю пути к свободе и братству от петербургских рабочих".

Рядом с венком, как бы охраняя его от полицейских приставов и агентов охранки, во множестве рассеянных вдоль тротуаров, вышагивал приземистый рабочий с рыжей бородой. В руках у него была увесистая дубина.

Рабочая колонна на улицах Петербурга — такого еще не бывало. "Впечатление от этой демонстрации, — писал М. Бруснев, — огромное во всех слоях общества. В сущности, это первое выступление русского рабочего класса на арену политической борьбы.

Колонну пролетариев вывели на улицы брусневцы.

В день похорон Красин сдавал экзамен по органической химии, Бруснев не советовал ему участвовать в демонстрации. Руководителю кружка рисковать было неразумно. Но Красин не послушался (что поделать, молодо-зелено) и, едва покончив с экзаменом, поспешил на Волково кладбище.

А наутро, когда он собирался в институт* в комнату на Забалканском проспекте пришли околоточный надзиратель и агенты охранки. К счастью, они не стали утруждать себя обыском — студент привлекался за участие в демонстрации, его принадлежность к социал-демократическому рабочему движению осталась охранке неизвестной, — а арестовав его, немедленно препроводили в градоначальство.

Расправа была быстрой, решение коротким: исключить из института без права поступления в другие учебные заведения, выслать из столицы, на этот раз в Нижний Новгород.

Прощай, Питер!

Прощай, Технологический!

Прости-прощай, мечта детства и юности — высшее образование!

Впрочем, что за вздор! Разве это главное? "Главное же то, что образование уже получено, источник света найден, составлены, хотя по основным вопросам, определенные и, могу сказать, честные убеждения. Их не отнимут... Конечно, спокойнее было бы, если бы мы были чурбанами

или людьми с полным отсутствием умственного багажа, но спокойнее — еще не значит лучше.

Прощайте, нет, не прощайте, до свидания, друзья!

Где суждено этим свиданиям состояться? В тюрьме, на этапе или на подпольной явке? Об этом ведомо одному лишь господу богу. Да разве что охранному отделению.

Проститься с ним пришли товарищи по институту; Бруснев* Классон, Кржижановский, Радченко, курсистки Люба Миловидова и Надя Крупская.

Последние объятия. Скупые братские поцелуи. Соленая от слез Любина щека.

На прощание он подарил Брусневу свою фотографию. С броской, но рискованной надписью: "Оглянемся на Запад и встретимся на Востоке". Дескать, посматривай на Запад, откуда взошла заря марксизма, и будь готовым к Сибири, которой, по всем вероятностям, не миновать.

Лениво трусит на Николаевский вокзал тощая извозчицья клячонка.

В пролетке, что визгливо поскрипывает немазаными колесами, — Красин. И приунывший брат Герман. И скудный студенческий багаж.

Ночной Петербург во тьме. Лишь на Невском светят фонари электричества. Да на Фонтанке неусыпно горят огни в окнах большого дома.

У входа в него табличка: "Департамент полиции".

Внутри — анфилада комнат, заставленных маленькими черными ящичками. В них картотека с биографиями политически неблагонадежных лиц со всей империи.

Книга судеб! В нее внесено и имя Леонида Красина.

Дорога в Нижний пролегла через Москву.

Он сделал в ней остановку. И не только потому, что хотелось еще раз взглянуть на древнюю столицу государства Российского. Ее он любил. За уютную домашность и неторопливость.

Остановился он в Москве по поручению Бруснева, чтобы повидать нужного человека, студента университета Петра Кашинского. С ним он был связан прежде и теперь намеревался связать Бруснева. Это через Кашинского брусневцы получали из-за границы брошюры группы "Освобождение труда".

III

Группа Бруснева расширяла радиус действия. Задумано было создать ответвления в Нижнем, Москве, Курске, Харькове и других городах. Когда стало известно, что Красина высылают, Афанасьев предложил использовать его ссылку для распространения брусневской организации на другие города.

Федор собирался перебраться в Москву, чтобы поступить ткачом на фабрику и начать налаживать связи в рабочей среде. На переезд и на жизнь в первое время, пока удастся определиться на место, нужны были деньги — рублей 8—10 в месяц. Их и должен был дать Кашинский, человек не без средств.

Кашинский встретил Красина радушно, с московским хлебосольством. Был он вообще-то славным малым, компанейским, товарищеским, а тут еще прибавилось то, что приехавший был не просто гостем, а ссыльным. Общение с ним небезопасно, а это куда как льстило Кашинскому. Московские студенты всегда славились склонностью к фронде и любовью к бравате. Когда одну из студенческих сходок накрыла полиция, задержанный студент назвал себя при переписи Биномом Ньютоновичем Гиперболой и очень потешался вместе с товарищами остолбенелым видом начальника охранного отделения Секиринского, пытавшегося уразуметь, откуда взялось сие мудреное имя, ни в церковных, ни в полицейских святцах не значащееся.

Договориться с Кашинским по организационным делам не составило труда. Деньги на общее и, как он выражался, святое дело он, разумеется, даст. Афанасьева на работу устроит. С Брусиевым, который вот-вот окончит институт и тоже переберется в Москву, связь наладит. Но что касается тактики действий — это еще бабушка надвое сказала, дорогой коллега.

Марксизм, вне всяких сомнений, учение неоспоримое. И он и студенты его кружка исповедуют эту веру. Но вера верой, а действия действиями. Они должны быть кардинальными и решительными, Если к нарастающей борьбе классов подсоединить взрывной механизм, царизму не миновать скорого конца. Тем более что с прогрессом техники прогрессируют и средства уничтожения,

— То есть, — лукаво щурясь, спрашивал Красин, — если бы неуклюжие и громоздкие бомбы Кибальчича удалось заменить маленькими, с грецкий орех, бомбами, то и террор сгодился бы?

— Вот именно! Именно так! — радовался Кашинский.

И уже в вокзальном буфете, под свистки паровозов и лязгание буферов, опрокидывая марочный посошок и многозначительно подмигивая, радостно кричал:

— За грецкий орешек, коллега!

Сей грецкий орех оказалось еще труднее раскусить в Нижнем. Провинция, как водится, жила неспешно, отставая от столицы на несколько лет. Марксизм здесь был еще совершенно в новинку. Умами владели народники. Тем более что в Нижнем собрались такие патриархи народничества, как Зверев, Шмидт — не терпящие возражений и непреклонные, умудренные годами и знанием пестрой цифири статистических отчетов.

Похожие на протопопов и по-протопопски нетерпимые, они при первой же встрече обрушили на Красина громы и молнии.

Разговор, как обычно в те времена, шел о крестьянстве. Пространно рассуждалось о многострадальной долюшке русского мужика, разутого и раздетого, нищего, убогого, голодного. Сейчас самый подходящий момент, чтобы поднять его на ту святую борьбу, которую лишь он один способен выиграть.

— Почему именно сейчас? — тихонько спросил Красин.

— По всей России острый неурожай, — даже не взглянув на молодого, розовощекого оппонента, продолжал оратор. — Надвигается всеобщий голод.

В этом он был прав. Россию в тот год действительно терзал страшный голод и морила холера.

— Значит, вы считаете, что склонность к социализму обратно пропорциональна степени урожая? — чуть громче спросил Красин.

В ответ раздался хохот.

Смеялись все. Не смеялся лишь оратор. Покраснев, он набросился на юнца, который еще под стол пешком ходил, когда все мы... Словом, если нет аргументов, аргументом становится брань.

На выручку разгневанному старику пришли друзья. Теперь они не смеялись, а серьезно опровергали, доказывая, что подобный взгляд присущ не им, а марксистам.

Это марксисты спят и видят в несчастьях и бедах народа средство подталкивания исторического процесса. Марксисты пассивные со спокойствием ' фаталистов созерцают разорение русского крестьянства; марксисты активные содействуют ему. Помогают строить фабрики и заводы и радуются неурожаям, ибо беды гонят голодных и разоренных

крестьян в город, под иго капитала.

Разбить эти утверждения было нетрудно. Они давно уже были не в новинку. Нижегородцы пороха не изобрели. Все, что они втолковывали изумленным слушателям, было старой попевкой на старом же ладе. Так сказать, парафразом давней травли, которую вел против марксистов Михайловский в "Русском богатстве".

— Главное же, — спокойно и рассудительно продолжал Красин, — заключается в том, что весь уклад крестьянской жизни, где каждый заботится о своей курице, о своей избе, о своей лошади, устраняет всякую возможность совместных действий, а тем более социализма.

Для большинства мысли эти были еретическими. Но мысль, если она изречена, западает в ум. И как ни шельмуй ее, завладевает им. Если, конечно, содержит в себе рациональное зерно.

Постепенно он завоевывал единомышленников. Главным образом из молодежи, как нижегородской, так и заезжей.

В Нижнем он познакомился с Николаем Козеренко. Тот держал путь с востока на запад, возвращаясь домой. В Тобольской губернии, где он отбывал сибирскую ссылку, по его словам, о марксизме и слыхом не слыхивали. Недолгая, по пути встреча с Красиным круто перевернула Козеренко. Уезжал он из Нижнего марксистом.

Обнаружились в Нижнем и союзники. Произошло это при довольно любопытных обстоятельствах.

Молодежь оправилась на прогулку. Плыли вверх по Оке на лодках. Когда пристали к лесистому берегу, наловили рыбы и разожгли костры.

А пока в ведре, закипая, булькала уха, затеяли чехарду.

И тут среди шумливой ватаги резвящихся молодых людей Красин обратил внимание на человека, которого прежде, по дороге, не заметил. Был он странно не похож на остальных. Держался особняком от всех, сидя на берегу, неотрывно глядя на воду сквозь овальные очки в железной оправе.

Щуплый, с сухощавым загорелым лицом, в картузе, надвинутом почти на самые брови, он выделялся своей задумчивой отрешенностью. Да и одет был не так, как другие. Много хуже. На нем была грязноватая красная рубаха, подпоясанная неопределенного цвета кушаком, и пальто внакидку, потертое и изрядно поношенное, явно с чужого плеча.

Хотя день стоял жаркий, он все время кутался в это пальто, придерживая рукой какой-то сверток, спрятанный под полую.

Человек этот заинтересовал Красина, как и вообще интересовали его новые люди. Он попытался разговориться. Но это оказалось делом совсем

не простым. Новый знакомый все больше помалкивал, пронзительно поглядывая на собеседника серенькими колючими глазками. Лишь время от времени он задавал короткие, отрывистые вопросы. Чего бы они ни касались — серьезного ли, ерунды, — в тоне почему-то звучала скрытая насмешка.

И только потом, после того как поспела уха и они вдвоем, отъединившись от всей компании, уселись под широкоствольной сосной и принялись хлебать из одной миски наваристую, остро поперченную юшку, разговор, наконец, склеился,

Красин очень обрадовался, узнав от своего нового знакомого — нижегородского статистика Павла Николаевича Скворцова, — что тот марксист, непоколебимый и твердо убежденный.

Скворцов уже напечатал несколько статей в московском "Юридическом вестнике" и только что закончил большую статью, в которой бил наотмашь столпа народников Воронцова, знаменитого "ВВ".

Сверток под полой и был рукописью этой самой статьи.

— Вы понимаете, — Скворцов вдруг улыбнулся, застенчивая улыбка совсем не вязалась с надменно-насмешливым выражением его лица, — живу я по-свински, на чердаке. Домишко прескверный — дерево да труха. Того и гляди загорится. Вот и погибнет рукопись. А если бог помилует, уберезет от пожара, так, чего доброго, какой-нибудь вахлак пустит ее на раскур, изведет, подлец, на сигарки. Вот и изволь садись пиши сызнова... Так что спокойнее таскать рукопись повсюду с собой...

Высказав все это, он надсадно закашлялся, сердито замахал руками и закурил, жадно и глубоко затягиваясь папиросой.

Жил Скворцов и вправду из рук вон плохо. Народные радетели — нижегородские статистики делали все возможное, чтобы отравить жизнь инакомыслящему коллеге. Обделяли работой, заработками.

Правда, и сам Скворцов был не сахар. Такой же резкий и нетерпимый, как его противники, он поносил их на каждом шагу, возводя идейные несогласия в степень непримиримой личной вражды. Всякого, кто не постиг истины, открытой ему, Скворцов презирал. И презрение свое выказывал, не стесняясь и не чинясь, всюду и всем.

Натура страстная, фанатичная, он, подобно старообрядцам-раскольникам, готов был пойти на самосожжение ради исповедуемой веры, не поступаясь ни единым постулатом ее. Ни на какие компромиссы он не соглашался, никаких, даже малейших, тактических отступлений не признавал. Разбив в пух и прах книгу Воронцова "Судьбы капитализма в России" — библию тогдашнего народничества, — он поскандалил с

редактором "Юридического вестника" Муромцевым, испугавшимся напечатать статью. Скворцов предпочел пожертвовать блестящей статьей, но не пожертвовал ни единым словом ее.

Но странное дело, этот человек, подвижник и фанатик, убежденный и толковый марксист (его статьи по крестьянскому вопросу были попытками марксистского анализа производственных и экономических отношений русской деревни}, стойкий и негибкий идейный боец, не был никаким революционером.

Сочинения Маркса были для Скворцова не программой и не руководством к действию, а чем-то вроде библии, корана или талмуда, книгами, предназначенными для чтения, поклонения, толкования и изучения. Марксизм был для него той наукой, которая все в мире объемлет и объясняет. Все без исключения. Даже мелочи личной жизни Скворцов стремился объяснить с точки зрения экономического материализма.

И все же при всем при том Павел Николаевич был неплохой идейной опорой Красина в его нижегородском житье-бытье. А в общем-то жилось Красину в Нижнем неважно. Нужда не вылезала из убогой комнатенки, которую они с братом занимали на втором этаже деревянного дома на окраине. От чертежных работ, что они с Германом выполняли и днем и по ночам, слепли глаза, но не наполнялся кошелек. Заработков только-только хватало что на прокорм. Но они были крепкими ребятами и, по выражению Германа, "держались на поверхности земли".

Раз, когда особенно сильно допекло, для поправки расшатавшихся материальных дел решено было сдать Германа в церковные певчие. Но, как назло, в день пробы доморощенный бас застудил горло и был с позором изгнан регентом из церкви. Что же еще предпринять?

Красин призадумался и решил идти в солдаты. Тем более что служить так или иначе придется. Рано или поздно. Так уж лучше рано. Ссылка не вечна. Кто знает, может, после нее удастся снова учиться?

Он поступил вольноопределяющимся в инженерную батарею.

Начальство попало хорошее. Военный инженер Г. П. Ре-венский, впоследствии известный в России специалист по отоплению и вентиляции хлебопекарен, солдафонства не любил и муштры не поощрял. Новому вольноперу жилось привольно. Единственно, что пришлось сделать, — переменить костюм. Он скинул издавшее виды форменное студенческое платье с бархатными петлицами и блестящими пуговицами (в свое время, только поступив в Технологический, он сам переделал его из старого, партикулярного, сшитого еще в Сибири). И надел серую длиннополую шинель с глухой застежкой. Да вместо фуражки с синим бархатным

околышем — бескозырку с кокардой.

Теперь он выглядел заправским солдатом, защитником веры, царя и отечества.

Его принимали не за того, кем он был, а за того, кем он представлялся стороннему взгляду. Потом, с годами носить двойное обличье станет для него постоянной привычкой, войдет в плоть и кровь. Он так же свободно будет чувствовать себя и в комфортабельном кабинете управляющего крупным предприятием, и в низкосводчатом подвале подпольной типографии, и на респектабельном рауте промышленных тузов, и на партийном съезде, и в роскошном загородном ресторане, и на потайном складе оружия.

Все это будет. Но годы спустя.

А сейчас, в Нижнем, в чужой форме его впервые, вдруг, неожиданно для него приняли не за того, кем он был.

Случилось это в зиму 1892 года, когда к нему дня на два заехал Бруснев.

Шли они под вечер по площади, на которой стоит городская тюрьма. Зима в тот год выдалась метельная, всю площадь завалило снегом. Меж громадными сугробами вилась узенькая тропа.

Они пробирались гуськом. Бруснев впереди, в широкополой шляпе и крылатке-размахайке. Красин позади, с книжкой в руке и с казенной бумагой за обшлагом шинельного рукава.

Ни дать ни взять — арестант "из энтих антиллигентов", доставляемый солдатиком в тюрьму.

И действительно, в тот же вечер один из знакомых, случайно наблюдавший издали эту невеселую картину, участливо осведомился:

— Кого это вам нынче пришлось конвоировать в наш приют спокойствия, трудов и вдохновенья?

Бруснев приезжал не только для того, чтобы повидаться с другом. Он приезжал, чтобы рассказать о новых делах, которые в общем шли в гору. Работали и росли организации в Петербурге, Москве, Туле. Афанасьев наладил крепкие связи с рабочими Москвы.

Бруснев приезжал также для того, чтобы совместно выработать план дальнейших действий. Группа стремилась расширить сеть рабочих кружков, укрепить в них марксистские взгляды.

Он переселился из Питера в Москву и работал здесь после окончания института инженером в мастерских Брестской железной дороги. С Кашинским в конце концов договориться удалось, и его люди присоединились к брусневцам.

Впрочем, о делах и днях организации Красин все время, что жил в Нижнем, был осведомлен. К нему несколько раз приезжала связанная Брускева — Люба Миловидова.

Каждый ее приезд был радостью и счастьем. То, что лишь подспудно бродило в Питере, вырвалось наружу в Нижнем. Все недобранное там пришло, наконец, здесь. Бурное, прекрасное, жадно-неукротимое.

Воистину трижды прав Шекспир:

...Нет цены

Свиданьям, дни которых сочтены....

Любовь... Первая. И бесперспективная.

"Теперь жениться кому-нибудь из нас с Германом не годится во всех смыслах, видах и случаях... Прежде чем обзавестись семьей и, так сказать, прикрепиться к земле, каждый из нас обязан чутко прислушаться к пульсу общественного организма и быть готовым во всякую минуту с другими себе подобными кинуться туда, где сделана самая крупная брешь".

Это он писал родителям. В письме, которое предназначалось почте и наверняка — перлюстрации.

В разговоре же он выражался определеннее.

Какое у него право обзаводиться семьей? Что может ожидать детей? Ссылка родителей? Тюрьма? Ради личного счастья обрекать на несчастье других? Малых, неразумных, ни в чем не повинных.

Нет, это слишком жестоко. Это невозможно. Это понимала и она. Или по крайней мере старалась понять. Во всяком случае, каждый отъезд в грустной суе перронного расставания она держалась молодцом. Улыбалась, бодрилась, даже пошучивала. И только пальцы, мелко подрагивающие, когда она ладонями сжимала его лицо, выдавали всю меру печали и смятения.

И лишь потом, после того как поезд, резко дернув, трогался, а она, путаясь в нелепо длинной шинели, бежал следом за уплывающим окном, она отрывалась от запотевшего стекла и бросалась на скамью вагона. Чтобы всю ночь просидеть, уткнув голову в руки, упертые локтями в колени.

Однако, говоря о тюрьме, он думал о ней так, как обычно люди думают о смерти: конечно, она неизбежна, но неизбежность эта наступит бог весть когда, она хоть и маячит неотвратимо, но в дальнем и туманном отдалении.

Меж тем тюрьма была для него уже предрешена. И не в туманном отдалении, а вот-вот, в самой что ни на есть близкой близи.

До тюрьмы оставались считанные недели и дни, потребные для того, чтобы оформить, подписать и отправить в Нижний нужные бумажки.

Он еще ходил по городу, радовался запоздалой весне, раздувая ноздри, вдыхал нежные, чуть уловимые запахи набухающих почек, а в прокуренных комнатах жандармского управления уже начали свой путь от стола к столу и от начальника поменьше к начальнику побольше бумажки, о которых он еще ничего не знал, но которые уже забрали над ним грозную и неотвратимую силу.

Однажды приведенный в движение механизм, наконец, сработал.

6 мая ни свет ни заря за ним пришли.

— По распоряжению градоначальника я должен произвести у вас обыск. Потрудитесь одеться.

Все чин по чину. Ордер на арест. Аккуратно заполненный каллиграфическими, четкими буквами, с лихими писарскими завитушками. Внизу подпись — жандармский генерал Познанский. И черточка на конце.

Его забрали и отвезли в одну из башен Нижегородской тюрьмы.

— За что?

Этот вопрос легче было задать, чем на него ответить.

Он сидел и терялся в догадках. На допросы не вызывали, ни в чем не обвиняли. Казалось, арестовав его, люди отвлеклись другими делами и напрочь забыли о нем.

В действительности же все шло своим испокон века заведенным чередом. Привычное дело. Раз навсегда установленный порядок. Опыт. Рутинка. Поначалу взять измором. Расслабить неизвестностью, обезволить. А там, смотришь, мягонького можно голыми руками брать.

Так прошли пять дней. В неведении, томлении, тревоге. На шестой его вызвали в контору,

Здесь уже ожидали два жандарма. Хмурые, с безучастными лицами, от всего отрешенные и ко всему привыкшие. Ни слова не говоря, они вывели его из тюремных ворот, усадили в пролетку — он посередине, они с боков — и привезли на вокзал.

Путь-дорога неведомо куда, неведомо зачем. Жандармы молчат. Даже не переговариваются меж собой. Один дремлет, другой бодрствует. Сторожат.

По вагонному проходу снуют пассажиры. Будто невзначай задержатся. Торопливо глянут — и мимо.

Взгляды, взгляды, взгляды. Пугливые, жалостливые, осуждающие, сочувственные, изничтожительные. "Такой молоденький — и уже арестант!"

Но вот и конец пути. Это видно по тому, как все заспешили к выходу, с чемоданами, сумками, мешками.

Жандармы встали. Один широкой спиной заслонил и без того зашторенное окно, другой прикрыл выход. Глупо, ведь так или иначе на платформе все выяснится.

И правда, как только вышли из вагона, он понял — прибыли в Москву.

Хотя жандармы подняли верх извозчичьей пролетки, он все же урывками ловил лик города, по-весеннему улыбчивого, ласкового, оживленного.

В лазури небес воссияла золотом труба архангела.

Красные ворота. Каланчевка осталась в стороне, позади. Значит, пересылки не будет. Стало быть, Москва.

Почему же именно она?

Чем связан арест именно с нею?

Дрожки, завернув налево, остановились.

Тихий переулок.

Жандармское управление.

Его тотчас отвели к начальству. Длинная комната, унылая и запущенная, с лепным, давно не беленым потолком, обставленная кое-как, что называется, с бору по сосенке.

Зашторенный канцелярский шкаф, несколько венских стульев у стен, оклеенных грязноватыми обоями, письменный стол с зеленым сукном, изрядно запятнанный чернилами, перед ним — два непарных кожаных кресла, одно напротив другого.

На шкафу и на стульях — груды пухлых папок.

Стол пуст.

Из-за стола поднялся низенький тучноватый человек, указал на кресло, представился: "Полковник Иванов", — и не спеша зашагал по кабинету. В отличие от большинства низеньких людей, энергичных, напористых и моторных, он был медлителен и вял.

— Смотрите, как бы не надуло, — полковник кивнул на раскрытое окно за спиной Красина. — А то прикрою.

Но окна не закрыл, а, остановившись, стал шарить в кармане брюк.

"Сейчас, конечно, по канонам жандармского политеса вынет портсигар, щелкнет крышкой и предложит классическую папиросу", — подумал Красин.

Но Иванов вытащил табакерку, повертел в руках, отправил понюшку в нос, часто заморгал слезившимися глазами и с присвистом высморкался.

— И сам не курю и других не поощряю, — как бы в ответ на мысли Красина строго проговорил он.

И сел. Не за стол, а в кресло напротив Красина. С минуту молчали,

разглядывая один другого. Красин испытующе, нервно, Иванов равнодушно и без всякого интереса.

— Ну что ж, как поется в опере, начнем, пожалуй, — полковник вздохнул, как человек, которого ждет давно прискучившее занятие. — Знаете ли вы Бруснева Михаила Ивановича?

Красин молчал.

— Кашинского Петра?

"Так вот оно что... что же с ними могло стрястись?.."

— Епифанова?.

"Неужели провалилась вся организация?.. А может, только щупает?.."

— Молчите? Понимаю, не возбранено. Но прошу заметить, можете лишь усугубить... Тем более что, — он привстал, перегнулся через стол и пошарил в ящик", — эта штука, думаю, вам знакома?

То была фотография, подаренная в свое время Брусневу. С надписью "Оглянемся на Запад и встретимся на Востоке". И все так же вяло, нехотя:

— Как прикажете сию географию понимать?

"Дольше играть в молчанку бессмысленно. Говорить, но не проговориться".

Да, он с Брусневым знаком. Вместе учились. Однокашники. И Кашинского тоже знает. Славный парень. Из хорошей семьи. Довольно состоятельный. Будучи стесненным материально, по-приятельски пользовался его помощью. Иногда. Давно не виделся ни с тем, ни с другим. Чем они занимаются в Москве, не ведает. О каком приезде в Москву говорит полковник? Шил безвыездно в Нижнем. За все последнее время посетил Москву впервые нынче. Если бы не любезное содействие властей, и этой поездки бы не было....

"Врешь, жандармская образина, ничего-то ты толком не вна- | ешь. Жульничаешь, пыжишься, делаешь вид, что всеведущ. 1 В Москве-то я взаправду все это время не бывал".

А надпись, что ж, надпись как надпись. Обычное, банальное 1 студенческое пророчество. Оглянемся на Питер, где вместе учились, и встретимся на фабриках Москвы, Орехово-Зуева, Шуи, Иваново-Вознесенска, там, где инженеру самое место. Эти-то города расположены к востоку от Петербурга. Сие даже жандармским полковникам должно быть известно.

Дерзковато, но Иванов не возмущился, не обиделся, просто никак не среагировал, а продолжал все так же, как прежде, глядеть своими невыразительными, вялыми глазами.

— Ну что ж, — наконец проговорил он, вставая. — Для 1 первого знакомства, пожалуй, достаточно. Протокольчик допроса мы оформим в следующий раз. А сейчас отдыхайте с дороги. Думайте. Досуга для размышлений у вас, полагаю, будет вполне достаточно. Он, шаркая сапогами, неторопливо прошел за стол и позвонил в колокольчик. I

— А теперь я вынужден препроводить вас в тюрьму. Вошел жандарм, на сей раз московский. В его сопровождении Красин прибыл в Московский губернский тюремный замок, в просторечье — Таганку,

Здесь все сверкало: чисто выбеленные, ни пятнышка, стены коридоров, натертые графитом до зеркального блеска полы, остервенело надраенные поручни перил. Если бы во всей империи царили такая же чистота и порядок, лучшего государства, чем Россия, не найти на всем белом свете.

Камера за номером. На самом верху, чуть ли не под крышей. Из зарешеченного окна под потолком видны маковки церквей и резные башни Кремля, такие близкие и такие недостижимо далекие.

Одиночка. Крохотное пространство, отрезанное от огромного внешнего мира стенами, решетками и тишиной. Полной, мертвой, как в могиле. Надзиратели беззвучно движутся по коридорам. Старик смотритель, невзирая на жару, обут в валенки, чтобы не слышно было шагов. Тишину лишь изредка, когда в камеру передают пищу, нарушает хлопанье дверных окошек-волчков.

Одиночка. Сколько придется пробыть в ней? Месяц, годы, десятилетие? Не слыша людского голоса, не обмолвясь ни словом с живым существом.

Одиночка. Строгий режим. Полная оторванность от всего и от всех.

Самым тяжким были ночи. Вместе с тьмой в камеру вползали тени. Из каких-то неведомых глубин памяти всплывали видения былого, давно позабытые, ни разу, с тех пор, как они канули в прошлое, не приходившие на ум.

Он метался по узкой тюремной койке, ворочался на жестком, слежавшемся тюфяке, мучительно силясь нащупать грань, что отделяет воображаемое от действительного. И никак не мог понять — сон все это или явь?

Он слышал голоса, громкие и ясные, так что можно было разобрать каждое слово, чуял запахи, видел краски. Пред ним, словно спроецированные волшебным фонарем, проходили ожившие картины жизни.

...Бескрайняя, куда ни глянь — серебристые травы, степь. Недвижная,

однообразная, терпко пахнущая полынью. Далеко позади — родной Курган, маленький, затерянный в степях городок. Впереди, мерно подрагивая, мельтешится подвязанный калачиком хвост пристяжной. Весело звенят колокольцы. И в тон им резво кидает кибитку. Она то взлетит, то низвергнется, да так, что сердчишко вот-вот разлетится вдребезги. Хорошо, что рядом отец, большой, спокойный, сильный. Прижмешься к его колену — и страха как не бывало. Хотя главные страхи не у них с Германом, а у него. Как ни малы они, а понимают — всякий раз, отправляясь в долгую служебную поездку по округу, отец берет их с собой потому, что боится быть в дороге одни. За последние годы он нажил порок сердца и страшится внезапной смерти.

...Солнце, круглое, желтое, раскаленное. Или это не солнце, а всего лишь глазок тюремной двери, приоткрытый в ночи надзирателем?

Солнце жжет немилосердно. Жара. Духота. Разомлевшие, осовелые, бродят они с Германом по пустой, будто вымершей улице и не знают, куда себя деть.

Со скуки затеяли драку. Расквасили в кровь носы. Длинный Герман крепится, сопит и молчит. А маленький Леонид ревет белугой.

На крик поспешила мать. Она стоит на крыльце, испуганная, но сдержанная и суровая. Солнечные зайчики пляшут в ее растрепанных волосах.

Подошла, утерла краем фартука кровь. От ласковых рук ее так славно пахнет душистым мылом и укропом с огуречным рассолом.

Но сама она неласкова.

— Мне такие мальчишки не нужны. Если и дальше будете драчунами, можете убираться на все четыре стороны.

Ребята приуныли, А главное, растерялись: как же двоим отправиться в четыре стороны?

Герман, Герман! Друг любезный! Какой растерянный стоял ты рядом с дворником-понятым, когда уводили твоего братца!.. Как ты там?.. Где ты?.. Кто это рядом с тобой? Тот же бородатый дворник с бляхой? Но почему на нем мундир?.. Нет, это сам жандармский генерал Познанский. Угощает папиросой. Правильно, Герман, не надо брать. Пусть его кричит. Генерал грохочет по столу кулаком. Взрыв. Лязг разбитого стекла. Дым. Смерд. Лицо Германа. Растерянное, перепуганное, в слезах. Как не стыдно плакать! Хотя что зазорного, ведь Герман еще малыш. Это он уговорил Германа стащить из кухни стеклянную банку, наполнил ее одному лишь ему, химику, ведомой смесью, чтобы добыть водород, а банка взорвалась.

Да так, что все стекла из окон полетели.

И вот уже бежит встревоженная мать. — Что это он опять там нахимостил?

...Нет, это не мама. Это брат ее — дядя Ваня, удивительное существо. И фотограф, и естествоиспытатель, и рыболов, и птицелов, и философ-толстовец. И все самоучкой.

Вот он вместе со своими «стариками» Леонидом и Германом тайком печатает на гектографе "В чем моя вера" Толстого....

Ночи без сна, в смутной полудреме, не дающие разгоряченному мозгу ни отдыха, ни забвенья.

Но и дни не несут покоя. Вместе с зарей приходят думы и предположения. Тревожные, неотвязные, невыносимые. О близких, о родных, о друзьях.

Так сутки за сутками, неделя за неделей. "Вишу ежедневно трех-четырёх сторожей да часть сюртука тюремного чиновника, когда он подходит к откидному оконцу двери, поверяя вечером арестантов".

Даже полковник Иванов и тот запропастился. Сидит, наверно, в своем унылом кабинете, среди пыльных и пухлых папок. Со дня приезда в Москву истекло уже три недели, а на допрос ни разу не вызывали. Браво, брависсимо! Оказывается, и жандармы способны приютствовать. Благослови, господи, раба твоего, жандармского полковника Иванова!

Да, по всему видать, засесть привелось всерьез. Вот и платье уже обносилось. Пришлось облачиться в казенное белье.: До чего же кожу дерет грубая, как рогожа, холстина!

Хочешь не хочешь, надо обшиваться. Не то пропадешь. В чем же главная скверность тюремного житья-бытья? В бездействии. Оно убивает.

Значит, надо жизнь наполнить делом. В нем одном спасение. Но где сыщешь его, это спасительное дело, если ты взаперти, в камере-одиночке, где всем укладом жизни Тебя обрекли на убийственно растлевающее безделье?

Однако на то и дан человеку разум, чтобы находить выход там, где его вроде и нет.

Перво-наперво гимнастика. Как говорили древние, *mens sana in corpore sano*.

Каждое утро с тяжелым табуретом в руках он проделывал комплекс гимнастических упражнений. Да так, что любой сын Альбиона мог позавидовать.

Гимнастику сменял труд. Арестанту положена медная посуда — большой таз, кувшин, миска, кружка. Час-полтора напряженной работы, и

вся эта медь, натертая мелко истолченным кирпичом и суконной, горит не хуже червонного золота. "Настроение после такой работы неизменно и прочно улучшалось". Потом уборка. Чтоб в камере не оставались ни пылинки, ни крошки, ни тополиной пушинки. А пол чтоб блестел, как во дворце генерал-губернатора.

И наконец, самое трудоемкое и самое любимое — мытье оконных стекол. Любимое потому, что, когда моешь окно, не запрещается становиться на стол, оттуда же видна воля: переулок перед тюремной стеной, с его неспорой, но все же свободной жизнью, Москва-река, Замоскворечье.

Вон на том берегу снова гоняют голубей. Двое молодцов в длинных, ниже колен, рубахах, отчаянно размахивая шестами, подняли в небо стайку чернохвостых монахов и огненно-рыжих палевых.

Эх, разве это охота! Сюда бы пару турманов. Чтобы свечой ввинтились в самую высь и оттуда вниз кубарем. Они-то уж приманили бы чужих. А так — пустое времяпрепровождение. Хотя и приятное, конечно.

Да, в голубиных делах он знал толк. В детстве что он, что Герман были заядлыми голубятниками. Когда семья переехала в Тюмень, Леонид даже написал отцу шутовское прошение с просьбой отпустить денег на покупку турманов. Это, доказывал он, чрезвычайно важно для "процесса нашего развития", ибо, гоня голубей, большую часть времени проводишь на крышах и тем самым дышишь наисвежайшим воздухом. Шутка шуткой, а деньги они получили. Из окна видна и часть тюремного двора. Если дожждаться отлучки надзирателя в другой конец коридора (это можно определить по едва слышному шарканью удаляющихся шагов), то, взобравшись на стол, увидишь прогулку заключенных. Политических даже сверху, издали можно отличить — они ходят не в тюремном, а в своем платье, только на плече, как и уголовники, носят пришитую жестяную бляху с номером камеры.

Однако сколько ни вглядывался он, а знакомых так и не обнаружил.

Отдав часть дня физическому труду, он другую часть посвящал занятиям умственным. При строгом режиме, когда нет ни бумаги, ни книг, ни карандаша, сделать это было особенно мудрено. Но, как говорится, голь на выдумки хитра. На прогулке он отыскал небольшой гвоздь, незаметно пронес в камеру; и, выцарапывая им цифры, решал теперь на стенной штукатурке математические задачи.

Он даже поставил "биологический опыт*" — поймал невесть I откуда взявшегося клопа, поместил в пустой чайник И каждый день наблюдал, как голодание влияет на сей живой организм. С месяцами клоп превратился в

прозрачную пластинку.

Вечера отдавались играм — шахматам и кеглям, смастеренным из хлебного мякиша, — и искусству.

После Отбоя он отправлялся в театр. Улегшись на койку и: закрыв глаза, представлял себе всю дорогу — квартал за кварталом, перекресток за перекрестком — от своего дома на Забалканском проспекте до Мариинского театра. И дальше — ярко освещенный вестибюль, контроль, лестницу на галерку, зрительный зал с позолотой лож и бархатом кресел, наполненный бойкой неразберихой настраивающегося оркестра.

И спектакль — со всеми декорациями и мизансценами. От природы музыкальный, наделенный отличной памятью и слухом, — недаром в реальном училище он был любимым учеником учителя пения; исполняя трио, он пел вторым дискантом, партию же первого дисканта пел Лабинский, впоследствии знаменитый тенор, солист императорских театров, — он знал наизусть несколько опер и перед сном мысленно проигрывал их. Обычно после двух-трех сцен, зримо и слышимо возникших в мозгу, приходил сон, спокойный и успокоительный.

На втором месяце заключения режим полегчал. В камеру номер 505 стали приходиться письма. Слова и строчки, процеженные сквозь мельчайшие сита осторожности и осмотрительности, а из них возникает жизнь близких и любимых существ: родителей, Любы, Германа. Их не тронули, они на свободе. Старики в Иркутске, Люба в Питере, Герман по-прежнему в Нижнем. Он отбывает солдатчину, а после нее, возможно, возвратится в институт.

Пришло разрешение пользоваться книгами. Что ж, коли правительство заменило институт тюрьмой, тюрьма Заменит институт. Он читает, читает, читает. Книги по истории, книги по философии, книги по биологии, книги по дарвинизму.

Еще с Тюмени у него были нелады с иностранными языками. Таганка — вполне подходящее место, чтобы восполнить этот пробел. Он принимается за немецкий, да так, что в короткий срок постигает язык и штудирует Шопенгауэра и Канта в подлиннике.

Бессмертный гётевский «Фауст» встает перед ним во всей сЕоей первозданной ошеломляющей красоте.

Пробует заняться и английским. Но терпит фиаско. Совершенно неожиданно и отнюдь не по своей вине. Томики Шекспира, посланные ему друзьями, были задержаны жандармским управлением. Ротмистр, ведавший передачей книг, отписал в тюрьму для объявления арестанту:

"Согласно циркуляру министерства внутренних дел заключенным

разрешено читать классиков, а так как Шакеспеаре к писателям классическим отнесен быть не может, то книги не пропущены..."

Наконец-то свидание! Первое за столь долгое время. Быть отрезанным от брата и свидеться в такой мизерабельно-гнусной клетке, непрерывно гудящей голосами, разделенной двойной сеткой, с тюремщиком, неотступно ловящим каждое твое слово.

Герман сильно изменился к лучшему. Возмужал. Загорел. Ему чертовски идет офицерская форма пехотного прапорщика. Он едет в Петербург. Его снова приняли в Технологический. Отныне к многочисленным тюремным занятиям старшего брата прибавится еще одно, новое — изготовление чертежей и архитектурных эскизов для брата младшего. "Часы свои, дни и недели провожу, как и раньше, за книгами, а с некоторого времени еще и черчу на сетчатой бумаге, сочиняя для Герушки каменные и деревянные, штукатурные и нештукатурные дома". Одно непонятно, с чего это полковник Иванов расщедрился на свидание? Вероятно, махнул рукой на подследственного. Четыре допроса, проведенные за истекший срок, ничем существенным не обогатили ни следователя, ни дело, которое он вел.

Зато подследственный кое-что узнал. Вернее, увидел. Весьма существенное и важное.

Как-то, протирая оконные стекла, он заметил в переулке пролетку с поднятым верхом. Из-за извозничьего кафтана выглядывало синее, с красным кантом колено седока.

Пролетка въехала в тюремные ворота. Из нее вышел жандарм, а следом за ним какой-то студент, видимо привезенный с допроса.

С того дня он всякий раз, заслышав стук колес на мостовой, вскакивал на стол и принимался за протирку окон. И в конце концов увидел тех, кого он так ожидал и кого ему так не хотелось бы здесь видеть, — Бруснева, Афанасьева, Кашинского.

Несколько секунд, и они исчезли. Но и этого ничтожно малого времени было достаточно, чтобы давнишнее предположение обратилось печальной уверенностью:

— Товарищи в тюрьме. Организация провалилась. Они находились под одной крышей с ним, но они были бесконечно далеки от него. Как ни старался он, ни малейшей связи установить не удалось.

Лишь однажды утром он был разбужен истошным криком, донесшимся со двора. Вскочив на стол, он увидел Кашинского, который бился в нервном припадке. Дюжий жандарм волоком втаскивал его в пролетку с поднятым верхом.

Что тут поделаешь? В пору броситься самому на пол и завывать от сознания полного бессилия.

Брусневская организация была разгромлена, но брусневцы, за исключением одного, оказавшегося малодушным, ничтожным, держались стойко. Никого не выдавали и в дело не втягивали.

Против Красина были лишь косвенные улики. Тем более что в делах московской организации он прямого участия не принимал. А эти дела как раз и были больше всего известны жандармам.

В конце марта 1893 года в его камеру вошел надзиратель и жестяным голосом объявил:

— Собираться, совсем.

На вопрос: "Куда?" — он пожал плечами, подумал и, шмыгнув носом, прибавил:

— В жандармское управление. Приказано с вещами.

Путь от Таганки до Георгиевского переуллка, прежде, когда возили на допросы, обидно короткий, сейчас до бесконечности длинен. К тому же лошадь плетется, едва передвигая ноги, а колеса пролетки по самые спицы вязнут в снежном месиве.

Мокрый весенний снег все валит и валит крупными, тяжелыми хлопьями. Они ложатся на плечи, тают на воротах, слипают глаза. Верх пролетки на сей раз не поднят.

Неплохой признак!

В жандармском управлении конвоир оставил его одного в подвальной кухне, а сам отправился наверх, докладывать начальству.

Еще лучше!

Через несколько минут вошел вестовой.

— Пожалуйста наверх, в приемную. — Привел и тоже оставил а одиночестве.

Просто, великолепно!

Наконец появился ротмистр — уж не тот ли, знаток изящной словесности, — объявил решение:

— Отпустить на поруки, в полк.

Оказывается, он еще сидел в Таганке, а командующий войсками Московского военного округа генерал Констанд уже отдал приказ о переводе его из нижегородского отдела Ярославской инженерной дистанции в 12-й пехотный Великолуцкий полк, расквартированный в Туле и славящийся особо строгой дисциплиной по отношению к вольноопределяющимся.

Последнее свидание с полковником Ивановым. Сухое и крат-

Была без радости любовь, разлука будет без печали, сеньор полковник. Для порядка Иванов спросил:

— Имеет ли подследственный что-либо дополнить к ранее данным показаниям? — и, видимо сам не веря в возможность такого, тут же вызвал жандарма. — Доставить вместе с вещами в Управление московского уездного воинского начальника.

Опять пролетка. На этот раз дорога не показалась ни длинной, ни тягостной, хотя ехать пришлось в Лефортово.

Воинский начальник, плохо выбритый, с седой щетиной по самые скулы, старик в поношенном* мундире с полковничьими погонами, вскрыл пакет, привезенный жандармом, вызвал унтера, отрекомендовал его «дядькой» и сказал, что вместе с ним господину вольноопределяющемуся надлежит сегодня же ночью отбыть в Тулу для дальнейшего прохождения службы.

— А что делать до ночи*?

— Что заблагорассудится. Можете располагать собой как угодно.

Все еще не веря, что он уже на свободе, Красин отправился бродить по скрой и промозглой, заваленной запоздалым мартовским снегом Москве.

Он шел по городу, и все ему было внове. И небо, хоть серое, хоть нависшее над домами, но широкое, свободное от черных решетчатых клеток. И воздух, хоть тяжелый и сырой, но без карболочно-кислого тюремного смрада. И улицы, хоть узкие, хоть кривые, но стремящиеся вперед, а не замкнутые прямоугольником камеры или прогулочного двора. И люди, пусть чужие и незнакомые, пусть хмурые и равнодушные, но идущие своей дорогой, кто торопливо, а кто вразвалку, а не бредущие уныло, заранее, раз и навсегда предуказанно гуськом и по кругу.

В их безучастном равнодушии друг к другу и к нему самому — удивительная прелесть. Как славно, когда за тобой никто не присматривает, когда ты никого не интересуешь, когда тобой не помыкают и когда тебе не предписывают. Идешь себе, бредешь куда хочешь. И вокруг идут-бредут другие куда заблагорассудится. Не по квадрату, не по кругу, а так, вне всякой геометрии и тюремных уставоположений.

Отличнейшая штука свобода! Особенно когда от нее отвык.

IV

Тулу до этого он знал только понаслышке и, как большинство русских людей, считал городом ружей, которые бьют без отказа, самоваров, которые сияют немислимым блеском и поспевают в мгновение ока, и печатных пряников, которые тают во рту.

После того как он столкнулся с Тулой лицом к лицу, она вошла в его сознание как город самой свирепой муштры.

Пожалуй, одиннадцать месяцев, только что отбарабаненных в Таганке, были не хуже, а кое в чем, быть может, даже лучше житья в полку. В тюрьме хоть можно было вволю читать. А здесь это никак не получалось. Полковое начальство, насмерть перепуганное тем, что в часть прибыл политически неблагонадежный, состоящий под следствием интеллигент, делало все, чтобы выбить из его головы опасные мысли. С утра до вечера команды, шагистика, переползание по-пластунски, штыковой бой на чучелах, преодоление штурмовой полосы, наряды, караулы.

Все время на людях. Бесперывно под надзором. Ни на секунду не остаешься один. А ведь так хочется собраться с мыслями, подумать!

Даже ночью и то лишен отдыха. Спишь пунктиром, то просыпаясь, то впадая вновь в забытье. В огромной, провонявшей портянками казарме — храп, зубовный скрежет, бормотанье и вскрики со сна.

Рано утром подъем. И опять все сначала. Как было вчера и как будет завтра. Один день — точный слепок с другого. Дни, одинаково серые, точно шинели солдат.

Не удивительно, что Герман, приехавший навестить его, бил поражен: таким исхудалым и изможденным он брата еще не видел.

Разговор с начальством дал не бог весть что. Какой вес у студента, пусть и столичного?

Все же полковой командир, прочитав длинную рацею о молодежи, которая необдуманно губит себя и неблагодарна старшим, жившим много хуже ее, но предоставившим ей все блага, кроме разве что птичьего молока, кое-какие послабления сделал. Помогло не столько красноречие Германа, сколько то обстоятельство, что Великолуцкий полк собирался в лагеря. При оборудовании их Красин проявил себя крайне ценным, почти незаменимым человеком. Прирожденный талант техника помог ему в этом.

Грешен человек, хоть он и не был тщеславен, а испытал прилив гордости. Если уж тульские скалозубы ломают шапку перед ним, значит

институтские годы потрачены не зря. Значит, учение пошло впрок, превратившись в умение.

Вслед за Германом некоторое время спустя он повидался и с Миловидовой. У нее были хорошие новости. Начатая работа, несмотря на провалы, продолжалась. Брусневцы, что уцелели, сколотили новый кружок. В него вошли студенты-технологи Радченко, Ванеев, Кржижановский, Старков, Запорожец, брат Герман, универсант Сильвин, Крупская, Невзорова и другие. Они штудируют Маркса, пропагандируют среди рабочих, заслушивают рефераты, обсуждают, спорят.

В общем, как многие говорят, дело движется, хотя и не больно ходко. Кружок больше изучительный, с налетом книжного гелертерства. Прежней брусневской глубины и размаха что-то не видать.

Правда, недавно появился новый человек. Совсем еще молодой, помощник присяжного поверенного, лет двадцати с небольшим. Волжанин, с насмешливо пронизательными, монгольского разреза глазами. Тугой и стремительный, как стрела с натянутой тетивы, он блестяще эрудирован, неопровержим в своих доводах, целеустремлен и неукротимо энергичен.

Он сразу же внес в кружок живую струю. Глеб Кржижановский — недаром он готовится стать энергетиком — метко сравнил его появление с животворным грозovým разрядом...

Насколько радовали новости Любы, настолько мало радовала она сама.

Люба как-то поблекла. В ней появилась непонятная растерянность, даже робость. На улице она то и дело озиралась по сторонам. Если вдали появлялся "голубой офицер", втягивала шею, горбилась, зябко передергивала плечами.

Когда же они оставались наедине, Люба неловко молчала, курила одну и ту же, все время потухающую папиросу и глядела в окно долгим, отсутствующим и отчужденным взглядом.

И думала, все время думала о чем-то своем, скрытом от него и недоступном ему.

О чем?

Он этого не спрашивал...

Уезжал Красин из Тулы глубокой осенью, в распутицу, слякоть и грязь. Веселым во всей этой грустной истории было лишь то, что кончилась солдатчина. Фельдфебель из вольноопределяющихся, наконец, отслужил срок и уволился в запас. Утешительно было и то, что впереди маячил юг, куда был он приглашен одним из старых петербургских приятелей.

После убогой серости осенней Тулы ослепительный триколор Крыма: голубизна неба, синева моря, золото солнца.

Под мягким солнцем южного ноября постепенно забывалось пережитое. Он старался ни о чем не думать и ничего не вспоминать. Заплывал далеко в море, за буи, неодобрительно покачивавшие круглыми головами, ложился на спину и бездумно глядел в высокое небо, кое-где изузоренное розоватыми облаками.

Или, слегка приподняв голову, смотрел на далекий берег", где в лиловой дымке горизонта зеленели горы. От них тяну* до ветерком, легким и теплым.

Хотел бы в единое слово Я слить свою грусть и печаль И бросить то слово на ветер, Чтоб ветер унес его вдаль...

А, шут с ней, с печалью. Двадцать три года ~- это только двадцать три года. Жизнь, в сущности, вся еще впереди.

Он переворачивался на живот и сильным брассом плыл к стайке резвящихся дельфинов, а они, сверкнув хвостами, уходили под воду.

На растительный образ жизни его хватило ненадолго. Полная праздность ума и тела — такой отдых был не по нему. И он днями без усталости бродит по южному побережью, меряет версту за верстой от Симеиза до Алушты.

А вечерами сидит над книгой. То, что было упущено в тюрьме, куда не пропускалась социально-экономическая литература, навёрстывалось на воле. В Крыму он досконально изучил второй том "Капитала".

Однако Крым был не только благословенным уголком, он был и местом, куда частенько жаловал царь. Когда он поселялся в Ливадии, весь полуостров спешно очищали от неблагонамеренных лиц.

В августе Красина пригласили в полицию и предложили незамедлительно покинуть пределы Крыма. Ожидалось прибытие Александра III.

Удивительное пересечение человеческих судеб. Странная игра случая. По его прихоти поднадзорный студент-недоучка отправился в Воронежскую губернию, а августейший монарх несколько месяцев спустя — к праотцам.

Смерть Александра III ничего не изменила. Скончавшегося официально оплакали в соборах и монархических газетах. И пышно похоронили. Народ, как сказал поэт, безмолвствовал. Лишь студенты в Московском университете изорвали подписной лист на венок.

Только прекраснодушные мечтатели, маниловского толка российские либералы могли ждать перемен от нового государя. Он в отличие от отца тоненький и subtilный, вступив на престол, произнес речь о "бессмысленных мечтаниях". И как бы подтверждением ее да зловецим

предзнаменованием будущего явилось кровавое месиво Ходинки.

Близ села Калач, нуда прибыл Красин, прокладывалась железная дорога Харьков — Балашов. Увидев ровную нить насыпи, протянувшуюся по ковыльной степи, он обомлел. До чего красива красота, созданная человеком! Пусть говорят господа народники, что им угодно и сколько угодно, а современность, техника всю шагает по степной Руси.

Он нанялся рабочим на строительство и вскоре стал десятником.

Работать пришлось под началом инженера А. Н. Тверитинова, человека занятого и недюжинного.

Тверитинов принадлежал к нередкой в те времена разновидности русских людей, готовых скорее жечь руку на медленном огне свечи, чем поступиться совестью и убеждениями. Он любил рассказывать о своем предке — боярине Тверитинове, которому Петр I за строптивость и неповиновение повелел выщипать бороду по волоску. Боярин претерпел невероятную муку, но от своего не отступил.

Тверитинов, подобно предку, себя не щадил. Особенно сталкиваясь с казнокрадством и лихоимством. Чего другого, а этого на Руси хватало с избытком. Русский капитализм был не только молод. Он был и хищен и ненасытно прожорлив. В бурном его половодье каждый делец норовил выловить рыбку пожирней. Вакханалия обогащения охватила и строительство Харьковско-Балашовской железной дороги. Инженеры, подрядчики, поставщики грели руки, как могли и где могли, нагло, без оглядки и малейшего зазрения совести.

Тверитинов и Красин вступили в борьбу с шайкой мздоимцев, стремясь вывести их на чистую воду. Они изобличили начальника участка в неправильном выборе места для станции. Он хотел построить ее в отдалении от Калача и поблизости к амбарам крупного хлеботорговца.

"Наши нивелиры и теодолиты, — вспоминает Красин, — указывали для этой станции более выгодное и для дороги и для населения место".

За начальником участка стояло начальство повыше, воронежское, безусловно «смазанное» тоже довольно жирно. Поэтому, как бывает обычно в таких случаях, наказание постигло не разоблаченного, а разоблачителя.

Красину пришлось переехать в Воронеж и пуститься на поиски уроков.

"Искал я их недолго, так как в ночь с 31 декабря на 1 января 1895 года ко мне пожаловал местный околоточный надзиратель и объявил мне высочайшее повеление: "Унтер-офицера из вольноопределяющихся Леонида Красина исключить из запасных нишних чинов армии и после

трехмесячного заключения выслать административно на три года под гласный надзор полиции в один из северо-восточных уездов Вологодской губернии..." Забрав свои убогие студенческие пожитки и подушку, под мышку, я сел вместе с околоточным в извозчичьи сани и ночью же отправился в Воронежский тюремный замок, где водворился в необыкновенно просторной, снабженной нарами, человек на пятьдесят камере".

Кольцо, столь долго сжимавшееся, наконец, сомкнулось. Дело брусневцев было закончено. Пухлые тома его отправились в архив, а участники — в тюрьмы.

Михаил Бруснев получил четыре года одиночного заключения в «Крестах» с последующей высылкой в далекий Верхоянск, Федор Афанасьев — год тюрьмы с отдачей потом под гласный надзор полиции.

Красин был приговорен к трехмесячному тюремному заключению и ссылке на три года в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции.

Это был первый приговор по политическому делу, утвержденный молодым царем Николаем II,

По сравнению с таганской одиночкой воронежская тюрьма показалась божьим благословением. Тут можно было переводить с немецкого, совершенствовать французский, который он начал изучать еще в Крыму, и главное — читать, читать всласть те книги, что он за время сидения и скитания пропустил.

"В воронежской же тюрьме я впервые прочел книгу Бельтова "К вопросу о монистическом взгляде на историю",^[4] и я до сих пор помню, с каким диким восторгом катался я по нарам, читая это плехановское произведение. Мой задор и марксистский пыл окончательно утвердились с того момента, и завоевание всего мира для дела марксизма представлялось мне в моей камере сущим пустяком".

Воронежское сидение пришло к концу. Проскочили девяносто дней, и вот она, свобода, если только можно назвать таковой ссылку.

За время, что он сидел, родные исхлопотали замену Яренского уезда Вологодской губернии Восточной Сибирью. Это оказалось не таким уж трудным делом. По преискуранту департамента полиции Сибирь шла по самой высокой цене. Сибирская ссылка числилась в графе строжайших наказаний.

Ранней весной, по первому теплу, он отправился в дальний путь.

Проехав на перекладных по Барабинской степи и Великому сибирскому тракту свыше двух тысяч верст, Красин прибыл в Иркутск.

После долгой разлуки он, наконец, обнял отца, мать, сестру Софью,

младших братьев — Александра и Бориса.

Теперь он находился дома, среди своих.

Иркутск в те годы был городом не шибким. Заводов и фабрик, считай, никаких. Рабочего класса — тем более. Словом, как писал Красин: "Ни о какой практической работе среди местного пролетариата тогда еще замышлять было нельзя за полным почти отсутствием больших промышленных предприятий".

Единственное, чем бог и царь не обделили город, — это политическими арестантами и ссыльными. Первые коротали дни в пересыльной тюрьме, ожидая отправки в дальнейший путь, вторые жили в столице Восточной Сибири на поселении. В отличие от других ссыльных мест здесь жилось не так тускло и одиноко. Иркутяне за знакомство и общение с «политиками» репрессиям не подвергались.

Ссыльные, в большинстве своем народники, но старого, боевого склада, приняли Красина хорошо. Такие заслуженные патриархи русского революционного движения, как Марк Натансон, Сергей Ковалик, Дмитрий Любовец, отнеслись к нему тепло, по-братски.

У. Красина с ними были идейные разногласия, но не было личной вражды. Каждый отстаивал свое мнение, но не изничтожал другого. Когда Ковалик заявил, что после Чернышевского ему нечего и некого читать, что никакой Маркс ему ничего нового не скажет, Красин не извергнул фонтана брани, а спокойно и деловито стал излагать и защищать основы марксова учения.

Революционер не может быть изувером, тем более изувер-революционером. Недаром марксизм нижегородца-фанатика Скворцова не шел дальше книги. Этаким четьюминейный марксизм.

В жизни людей существует славное понятие — толерантность, а если попросту, по-русски — терпимость. Она, как и разум с гуманностью, выгодно отличает человека.

Непримиримый в защите идейных принципов, Красин был терпим в личных взаимоотношениях, ибо видел перед собой идейных противников, а не классовых врагов.

Уверенный в правоте своих взглядов, он не давал ненависти ослепить себя и считал, что и Натансон, и Любовец, и Ковалик при всех их заблуждениях "благороднейшие, честнейшие революционные борцы".

В Иркутске, где он, по словам Феликса Кона, стал первым сеятелем марксизма, вскипали жгучие споры все по тому же самому коренному вопросу жизни — быть или не быть в Рос* сии капитализму, "но это не мешало всей ссылке относиться ко мне как к "младшему брату", и личные

дружеские отношения из этой эпохи сохранились у меня на всю жизнь".

Противники и уважали и ценили его. Поэтому "Восточное обозрение", издававшееся в Иркутске народником И. И. Поповым, напечатало его обширную статью "Судьбы капитализма в России", в которой велся ожесточенный спор с народничеством.

Споры спорами, а жизнь жизнью. Она шла своим чередом, и в ней надо было как-то определиться. К тому времени железнодорожная сеть подбиралась к Сибири. Он решил пойти работать на строительство железной дороги, — благо кое-какой опыт был накоплен еще под Воронежем.

Ранним утром Красин пришел на квартиру к главному инженеру строительства, наниматься. Тот еще спал. Посетителя провели в кабинет и попросили подождать, пока хозяин проснется.

В кабинете стоял теодолит новой, еще не применявшейся в России конструкции, только что полученный из-за границы. Красин не был бы техником, если бы не заинтересовался новинкой. Он не был бы прирожденным техником, если бы, осмотрев прибор, не понял его принципов действия. Он не был бы талантливым техником, если бы после всего этого не оценил всех преимуществ и достоинств увиденного.

К тому времени, когда инженер появился в кабинете, Красин уже мог говорить о теодолите так, будто с год пользовался им. Не удивительно, что беседа пошла легко и непринужденно, на равных, словно разговаривали не работодатель и проситель, а коллеги.

Он был принят и стал работать на строительствах Среднесибирской, Забайкальской и Кругобайкальской железных дорог, сначала техником, а потом инженером, хотя инженерного диплома не имел.

Нравы здесь царили те же, что в воронежских степях, порядки были такими же, с какими приходилось бороться и в Калаче. Разница заключалась в масштабах. Лихоимцы и казнокрады орудовали тут с истинно сибирским размахом, пользуясь отдаленностью, заброшенностью и почти полной безнаказанностью. Неслыханные хищения, баснословные взятки, разнузданные оргии, кутежи и гнуснейший разврат — вот чем сопровождали современные варвары продвижение цивилизации на восток.

И все это творилось не каким-то сбродом, а людьми почтенными, уважаемыми начальством, так сказать, столпами общества.

Воистину не завиден удел государства, многие столпы которого — бесчестные преступники, а государственные преступники — честные люди.

Из всех выгод, какими изобиловала служба, Красин воспользовался

только одной, не имевшей никакой цены для его богатеющих коллег и бесценной для него. Ему, как строителю железной дороги, был сокращен срок ссылки. Правительство настолько сильно было заинтересовано развитием железнодорожной сети, что не побоялось мелкой поблажки "политикам".

Он досрочно получил разрешение на въезд в пределы Европейской России.

Пришла пора подумать о возобновлении учения. Знал он не меньше, а если судить серьезно, куда больше многих господ, которые только и знали, что до лоска просиживать брюки в конторах и управлениях, но тем не менее щеголяли в фуражках с молотком, скрещенным на бархатном околыше с раздвижным гаечным ключом.

Но бумага есть бумага, диплом есть диплом. Инженер без диплома что жена без свидетельства о браке — положение в обществе незавидное. Кроме того, всему начатому надлежало быть оконченным. Плюс к тому, как говорится, ученье свет, а неученье тьма, за одного ученого пять неученых... и пр., и т. д., и т. п.

Итак, учиться!

Пред ним была свобода, хотя и ограниченная. Правительственных щедрот хватило на то, чтобы разрешить бывшему ссылкеному проживание повсюду в империи, кроме столиц и университетских городов.

Он решил двинуть в Харьков. Там тоже был Технологический институт.

В декабре 1897 года Красин отправился в дорогу. На этот раз она шла с востока на запад.

Поразительна случайность дорожных встреч. А быть может, не случайность, закономерность? Как знать... Уж очень хоженным был этот долгий путь, печально звенящий кандалами, орущий окриками и командами конвойных. Путь сквозь пустынные, безбрежные степи, по которым узкой струйкой тянутся партии арестантов.

Столбовая дорога русской революционной мысли. Дорога страданий, мужества и славы.

Два с половиной года назад, следуя в ссылку, он на одной из почтовых станций между Красноярском и Иркутском встретил Василия Голубева. Того самого универсанта, подпольная кличка "дядя Сеня", что в свое время был правой рукой Бруснева.

Когда это было? Где? Лет восемь назад. В Питере.

Восемь лет, восемь веков, восемь тысячелетий!

Теперь Голубев возвращался домой, отбыв свое полностью, от звонка

до звонка.

Красин едва узнал его. Страшна дорога на восток. Но, пожалуй, страшнее иной раз дорога на запад. Возвращение потерянных людей, отрешившихся от себя и от того, чем они жили прежде. Как у Тургенева:

Я сжег все, чему поклонялся, Поклонился тому, что сжигал...

А иные даже не кланялись, а просто топтали ногами свежую кучку пепла.

Голубева было трудно узнать, так он переменялся и внешне и внутренне. Старик со впалыми щеками, трясущейся головой и злыми глазами, буравящими собеседника.

Он проповедовал какую-то несуразицу, говорил о тщетности и суетности борьбы и необходимости гармонии индивидуума с окружающей средой — "приемли и приемлем будешь".

Они проспорили часа два, пока перепрягались лошади, и Красин облегченно вздохнул, когда бывший "дядя Сеня", наконец, уселся в кибитку,

В ссылке Голубев отошел от социал-демократии и, вернувшись домой, окончил дни редактором полулиберальной газеты "Наша жизнь".

А теперь, отправляясь на запад, Красин повстречал на Усольском тракте Бруснева. Его с партией ссыльных гнали на север, в далекий, холодный Верхоянск.

Вруснев был угрюм и подавлен. Позади "Кресты*", впереди беспросветная якутская ссылка.

Друзья, понукаемые конвойными, поспешно прижались друг к Другу заиндевельными от мороза бородатыми щеками и расстались, чтобы свидеться вновь лишь семь лет спустя.

Вернулся Бруснев разбитым и сломленным. Царское правительство отняло у него двенадцать лет жизни. К политической деятельности он больше не возвращался. Сочувствовал, помогал, но активно не участвовал.

Ни Красин в сибирской глухомани дальних путевых участков, ни тем более Бруснев в каменном одиночестве «Крестов» не знали толком о том, что происходило в большой жизни.

Меж тем все эти годы жизнь развивалась. И развитие ее, как испокон века, шло не по кругу, а по спирали. Последующее, вбирая предыдущее, сменяло старое новым. Новое же стояло ступенью выше старого.

В Питере возникла новая, качественно отличная от всех прежних социал-демократическая организация — "Союз борьбы за освобождение рабочего класса".

Ее создал Ленин.

Он объединил разрозненные марксистские кружки и создал зачаток революционной марксистской партии, со строгой дисциплиной, конспирацией и подчинением местных организаций центру.

"Союз" впервые в России стал осуществлять соединение социализма с рабочим движением, первым перешел от пропаганды среди передовых рабочих к политической агитации в массах.

В его руководящий центр, кроме Ленина, вошли, как бы передавая эстафету, брусневцы-техноложцы Г. Кржижановский и В. Старков. Несколько позднее центр был пополнен питомцем все той же Техноложки А. Ваневым, а также Ю. Мартовым. Но и в департаменте полиции время проводили не праздно. Трудились. Старались.

В большом доме на Фонтанке по-прежнему допоздна горел свет. Всевидящее око подглядывало, всеслышащее ухо подслушивало.

Книга судеб листалась, перелистывалась, пополнялась новыми именами. В тихих, жарко натопленных комнатах стоял неумолчный шелест бумаг. Изучались донесения, составлялись сводки, готовились постановления, выписывались и подписывались распоряжения на арест.

В результате кропотливо подготовленной полицейской акции "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" был разгромлен. Ленина и других руководителей и членов «Союза» бросили в тюрьму.

Жандармы и полицейские победили. Но победа оказалась мнимой, ибо была временной.

Ленин был не из тех, кто поддается излому.

Четырнадцать с лишним месяцев тюремной одиночки не прервали его кипучей деятельности по созданию марксистской партии и руководству все нарастающим рабочим движением.

"Когда, — вспоминает Н. К. Крупская, — в 1896 г. началась подготовка I съезда партии, Ленин, сидя в тюрьме, думал о том, что теперь надо дать уже иного типа программу, популярную, понятную каждому сознательному рабочему, программу, которая была бы непосредственным руководством к действию. И в то время как в Питере шла стачка 30 тысяч текстилей, Ильич в своей камере строчил молоком и пересылал на волю проект популярного изложения программы партии и объяснительную записку к ней".

Ни кирпичная кладка тюремных стен, ни заброшенность и одиночество сибирской ссылки не могли оторвать Ленина от людей, с которыми он шел плечом к плечу. Ничто не могло сломить в нем животворного духа товарищества и революционного братства.

13 февраля 1897 года был объявлен приговор — ссылка в далекую Восточную Сибирь. Осужденные отправились в ссылку не по Владимирке,

от этапа к этапу, как было прежде, а железной дорогой до Красноярска. Оказывается, и тюремщики не чужды техническому прогрессу.

Ленин, выехавший несколько раньше, договорился с товарищами, что встретит их.

Десять дней спустя после отъезда из Петербурга поезд со ссыльными подошел к красноярскому перрону. Здесь уже стоял Ленин вместе с сестрой Кржижановского.

Ссыльные кинулись к окнам вагона, опустили стекла и стали обмениваться со встречающими рукопожатиями, торопливыми вопросами, радостными восклицаниями.

Начальник конвойной команды полковник из бывших гвардейцев — Белуга, как его прозвали в пути ссыльные, выскочил рапортовать начальству.

Но, заметив беспорядок, заметался по перрону,
— Шашки наголо! — проревел он конвойной команде. Сверканье клинков настолько ошеломило четырехлетнюю дочку одного из ссыльных — Валю Юхоцкую, что она, уставившись из окна на тучного, побагровевшего от страха и злости полковника, тоненьким голоском звонко проверещала:

— А мы тебя повесим!

В ответ Белуга прорычал:

— А мы вас также. Раздался взрыв хохота.

Станционные жандармы схватили Ленина и его спутницу и силой увели прочь с перрона.

А через несколько месяцев в тот же Красноярск прибыл Красин.

Поезд, в который он сел на красноярском перроне, унес его на северозапад, в Москву, а оттуда другой поезд повез на юг, в Харьков.

В Харькове пахло весной, хотя только еще подходил к концу декабрь. В городе на каждом перекрестке торговали елками. Свежие, ярко-зеленые, они несли ароматы хвои, молодости, весны.

Надвигалось рождество.

Под самый праздник Красин зашел в Технологический институт. Несмотря на чиновное обыкновение перекладывать решение дел на послепраздничные дни, директор института В. Л. Кирпичев, выслушав просителя и внимательно прочитав его бумаги, тут же распорядился зачислить студентом. Однако поставил условие: не вести никакой пропаганды среди студентов.

В. Л. Кирпичеву, крупному ученому, известнейшему теоретику в области строительной механики, явно пришлось по нраву, что новый

студент не белоподкладочник, не барский сынок, шалопай и бездельник, а бывалый человек, умудренный опытом строителя.

То, что у Красина за плечами тюрьма и ссылка, хотя несколько беспокоило, но отнюдь не отвратило Кирпичева. Он, как писал Красин, "заканчивал тогда процесс внутреннего линяния, превратившего его из сухого дяляновского чиновника в либерального директора".

Итак, снова школьная скамья. В двадцать семь с половиной лет. Бородатый, с чуть тронутыми сединой висками студент. Ни дать ни взять — классический вечный студент.

Хотя, строго говоря, школьной скамьей это назвать было нельзя. Он меньше всего бывал в институте и больше всего вне стен его. Почти все свое время проводил на различных железнодорожных работах. Участвовал в изысканиях железной дороги Петербург — Вятка, вновь колесил по Сибири с изыскательскими партиями строителей железнодорожных путей, несколько месяцев работал начальником дистанции Мысовая — Мышиха на берегу Байкала.

Время от времени Красин наезжал в Харьков. Ненадолго. Сдаст экзамены и зачеты — и опять вдаль, работать.

Когда приезды совпадали со студенческими волнениями, он активно участвовал в сходках и забастовках. Как в ранней молодости, в Петербурге. С той лишь разницей, что теперь во время волнений пелись другие песни, новые, не те, что прежде. Он услышал их впервые здесь.

Мрет в наши дни с голодухи рабочий.

Станем ли, братья, мы дольше молчать?

Наших сподвижников юные очи

Может ли вид эшафота пугать?..

На бой кровавый,

Святой и правый,

Марш, марш вперед,

Рабочий народ!..

Над миром наше знамя реет

И несет клич борьбы, месть и гром.

Семя грядущего сеет,

Оно горит и ярко рдеет,

То наша кровь горит огнем,

То кровь работников на нем.

Кржижановский, сидя в тюрьме, находился в одной камере с польскими революционерами. Они пели польские революционные песни. Он перевел их на русский язык, и песни, вырвавшись из-за тюремных стен, звонкими птицами облетели всю страну.

Участие в студенческих беспорядках влекло за собой обычную в таких случаях академическую кару — увольнение из института, и, как неизбежное следствие, полицейскую меру воздействия — высылку из города,

Но новый директор института профессор Д. С. Зернов, человек гуманный и в высшей степени порядочный, не давал своим питомцев в обиду. При каждом таком увольнении он "запирал бумаги в письменном столе, ничего не сообщая полиции, а при ближайшей амнистии я опять превращался в студента, находясь во время этих превращений то на берегах Унжи или Ней, то на берегах Байкала, а иногда и не зная о них".

Настал 1900 год. Пришел конец веку, а заодно и институту. То, что было загадано еще в Тюмени, в детстве, сбылось в Харькове к тридцати годам.

Теперь, если снова угодишь в кутузку, — а от тюрьмы в государстве Российском, как известно, что от сумы... — в графе «занятия» вместо "не имеет определенных занятий" запишут "инженер".

Что ж, и это неплохо. Для разнообразия полицейской статистики, во всяком случае.

Впрочем, шутки шутками, а дело делом. Куда определиться? Где осесть?

Вопросы совсем не пустопорожние, ибо, окончив институт, он диплома не получил. В наказание за участие в очередной забастовке выдача диплома ему была задержана на год.

Сделать выбор помогли друзья. Дружба и любовь — из этих двух китов, на которых покоится мироздание, первый, видимо, действительно нерушим.

С любовью как-то не получилось. С Любовью Васильевной. Миловидова вышла замуж за господина Кудрявского. И уехала за границу. И потерялась из виду.

А старый друг по питерской Техноложке Роберт Классон — за это время он стал первоклассным инженером, что называется, человеком с именем — предложил строить электрическую станцию в Баку, на Баиловом мысу.

Недавно созданное акционерное общество "Электрическая сила" начинало электрификацию нефтяных промыслов. Его величество капитал

шел в наступление.

То, что он окончил институт по химическому отделению и электротехником не был, Красина не смутило. Можно и нужно смело браться за всякое перспективное дело, хотя бы и мало знакомое. Была бы хорошая теоретическая подготовка да голова на плечах, а трудности, они отойдут назад по мере того, как работа будет продвигаться вперед.

Он выехал в Баку.

На строительстве Вавилонской башни он не бывал, но сызмала представлял его примерно таким, каким была стройка на Баиловом мысу.

Столпотворение. Смешение всех и всяческих языков. Здесь слышались и густое оканье волгарей, и певучая украинская мо-ва, и отрывистая речь англичан, и гортанные звуки восточных языков и наречий, и суховато-чеканный говор немцев, и пришепетывание датчан.

Кого тут только не было! Русские и осетины, армяне и персы, украинцы и грузины, азербайджанцы и лезгины, абхазцы и татары, немцы, англичане, датчане — все съехались на Каспий. Кто, убегая от голода и нужды, а кто в погоне за длинным русским рублем.

Красин поселился в небольшом деревянном домике на самой оконечности мыса. Отсюда видна была вся строительная площадка.

Она походила на развороченный муравейник. Площадка кишела людьми с лопатами, тачками, кирками, носилками, «козами». Раздетые по пояс, бронзовотелые, пропыленные, люди вгрызались в Баилову гору. Нужно было сбросить в море добрую половину ее, чтобы, отвоевав у воды две десятины суши, расширить площадь станционного участка.

Из хаоса стройки медленно прорисовывались, словно на плане, фундаменты будущих сооружений — грандиозного здания электрической станции, трех жилых домов, водокачки, различных служб.

Колоссальный размах работ, от которого иной раз перехватывало дух. Первое время даже не очень верилось, что он именно тот человек, который призван всем этим заведовать и управлять.

Впрочем, предаваться сомнениям долго не приходилось.

К действительности возвращал Классон. Покрикивая, пошучивая, требуя, предписывая. И все это с изящной легкостью, добродушием, веселостью. Если и отчитает, то остроумно и необидно, несмотря на обилие красочных и сочных выражений" большим любителем которых он был. Если посоветует и поправит, то без тени унижительного менторства и бахвальства своим опытом. Хотя опыт у Классона к тому времени уже накопился немалый. Как-никак свет двум столицам дал он. Первая московская и первая петербургская электростанции были построены по проектам и под руководством Классона.

Работать с ним было легко и приятно. И не только потому, что они были друзьями. В конце концов что особенного в дружбе, к тому же

давнишней, двух однокашников, из которых один успел стать видным инженером-энергетиком, пока другой мыкался по жизни?

Помог устроиться, и все.

Они были больше чем друзья, они были друзья-единомышленники. Оба одинаково горячо верили в технический прогресс и смело, не страшась риска, боролись за него. Вопреки освященным традицией мнениям и установлениям.

Старые авторитеты отвергали применение электричества на нефтяных промыслах. Старики горой стояли за пар.

Классон, Красин и полдюжины других молодых инженеров вели пионерскую работу по обследованию процессов бурения и нефтедобычи и параллельно со строительными и монтажными работами закладывали основы научной электрификации нефтяной промышленности.

— Электрическая система передачи энергии — наилучшая, — утверждали они.

Сейчас это ясно каждому мало-мальски грамотному в техническом отношении человеку. Но тогда "коммерческая, да и техническая возможность применения электричества к нефтяному делу стояла еще под знаком вопроса".

Классон с Красиным весь свой талант и энергию революционеров в технике неукротимо стремили к тому, чтобы этот вопрос снять.

Они не были одиноки. И тот и другой умели привлекать нужных людей, находить в них опору.

Когда в Баку после четырехмесячной отсидки в Лукьяновской тюрьме прибыл молоденький студентик Киевского политехнического института Александр Винтер, сосланный на Каспий за участие в революционном движении, они тут же взяли его к себе. И он стал помогать им строить первые в стране районные электрические станции и электрифицировать Бакинские промыслы.

"Люди, которые возглавляли дело, — Классон и Красин, — вспоминает А. Винтер, впоследствии виднейший советский энергетик, строитель Днепрогэса, — были людьми особыми не только для меня, но и для всего инженерского мира Баку. Вскоре туда же приехали Александр Красин (младший брат Леонида. — Б. К.) и инженер Старков. В их среде я получил подлинное, истинное инженерское «крещение»... Красины, в особенности Александр, начали научно-исследовательскую работу, к которой привлекли и меня. Благодаря этой работе впервые за все время существования бакинской нефтяной промышленности были выяснены самые элементарные коэффициенты работ, была доказана вопиющая

бесхозяйственность и расточительность эксплуатации промыслов и даны первые указания более правильной и рациональной эксплуатации".

Красина с Классоном объединяло многое. Но не все. В одном они не сходились. Классона, как и Красина, влекла революция в технике. О революции в общественной жизни он думал мало. Во всяком случае, в последнее время. Если он и помышлял о ней, то лишь как сторонний человек, который, конечно, сочувствует революции, но в подготовке ее активного участия не принимает.

Правда, была пора, когда и он, как всякий честный русский интеллигент, был связан с нелегальным движением. В Технологическом институте Классон входил в группу Бруснева. Затем, после разгрома ее, был членом кружка, в который вступил только что приехавший в Петербург Ленин. Крупская впервые встретилась с Владимиром Ильичем на квартире Классона.

Но вот он стал инженером. Теперь дело, которое он делал, — а оно было очень важным: он нес людям свет, тот самый прометеев огонь, о котором они мечтали с незапамятных времен, — целиком поглотило его. Он жил лишь тем, что делал, и делал то, чем жил. На прочее не оставалось ни времени, ни душевных сил, ни охоты.

Шли годы, и повседневная страда дел, словно марлевой завесой, отгородила прежнее от нынешнего. Прошедшее казалось теперь блажью студенческих лет. Пусть милой и возвышенной, но несерьезной. Особенно по сравнению с тем, чем занят деловой человек, Уйдя в прошлое, постепенно стерлось из памяти даже то, что в свое время за поездку в Швейцарию к Плеханову ему пришлось расплачиваться долгой и неприятной беседой с жандармами.

Красин в отличие от Классона выдержал испытание делом. Становясь деловым человеком, он продолжал оставаться революционером.

То, чему он учился и чему учил в рабочем кружке на Обводном канале, убедило его, что техника, даже достигнув небывалого расцвета, способна осчастливить лишь счастливых людей. Счастлив же только тот, кто свободен. Машинное рабство не лучше, а хуже, изнурительнее и тяжелее рабства безмашинного. Подневольный становится рабом не только хозяина, но и машины, которой хозяин владеет. Это позволяет хозяину выжимать еще больше соков из раба.

Значит, из всех путей существует один-единственный правильный — путь борьбы за изменение отношений между людьми. Когда техника, машины, заводы из состояния богачей превратятся в достояние неимущих и будут служить народу, вот тогда-то они и принесут счастье человечеству.

Чтобы это произошло, нужна борьба, а в борьбе — руководитель. Таким руководителем может быть только партия, сильная, крепкая, сплоченная твердой дисциплиной. Необходимость последней хорошо понимали еще в старину боевики "Народной воли".

Когда один из студентов вступал в партию "Народной воли", он встретился с "Милордом".

"Милорд" — это был член Исполнительного комитета "Народной воли" Тригони — долго изучающе рассматривал студента, а затем спросил:

— Готовы ли вы на полное самоотвержение, на отказ от семьи, родных, привязанностей, на полное подчинение чужой воле, может быть, на пытки и смерть?

— Готов. Клянусь, что весь, целиком отдаюсь в ваше распоряжение.

— Хорошо, тогда пойдите, пожалуйста, на Садовую улицу и купите в лавке, что в подвале возле Невского, полфунта сыру.

Тригони вынул из портмоне рубль и протянул студенту.

Тот стоял ошеломленный, ничего не понимая.

Тригони заметил это.

— Вы обязаны подчиняться всякому приказанию, хотя бы оно казалось странным.

Студент кивнул головой, отправился по указанному адресу, купил сыр и принес вместе со сдачей.

Тригони внимательно осмотрел покупку и сказал, что студент может идти домой.

— А дальнейшие поручения?

— Будете ежедневно покупать в той же лавке хотя бы четверть фунта сыру. Больше ничего.

Студент ушел в полном недоумении, но точно исполнял все, что было наказано. И только после убийства Александра II, когда обнаружился подкоп из сырной лавки Кобозева, понял, что был одним из «покупателей», придававших лавке вид действительно взаправдашнего торгового заведения.

Подкоп был сделан с расчетом на то, что царь поедет обычным маршрутом — по Садовой. Но он неожиданно проследовал другим путем — по набережной Екатерининского канала, где его и прикончили бомбы Гриневецкого и Рысакова.

Но одной лишь дисциплины, как она ни важна, недостаточно для партии, которая ставит перед собой цель — завоевание пролетариатом политической власти и построение социалистического общества. "Крепкой социалистической партии не может быть, если нет революционной теории,

которая объединяет всех социалистов, из которой они почерпают все свои убеждения, которую они применяют к своим приемам борьбы и способам деятельности..."> Задача партии — внести в стихийное рабочее движение социалистические идеи. Марксистская партия — это и есть соединение научного социализма с рабочим движением.

Такая партия, партия нового типа, рождалась в России. Ее создавал Ленин.

Еще в Сибири, с нетерпением ожидая окончания томительной ссылки, он вынашивал план создания такой партии. "Владимир Ильич, — пишет Н. К. Крупская, — перестал спать, страшно исхудал. Бессонными ночами обдумывал он свой план во всех деталях".^[5]

И затем, вырвавшись, наконец, на свободу и уехав на чужбину, в эмиграцию, приступил к осуществлению задуманного.

Ленин начал с создания общерусской политической газеты. Эта газета — не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор — призвана была сплотить местные комитеты и группы на принципах революционного марксизма, объединить в одну организацию, разработать программу и устав партии и развернуть подготовку ко II съезду.

I съезд — он состоялся в марте 1898 года в Минске — ни программы, ни устава не принял и разрозненные организации

не объединил. Избранный съездом Центральный Комитет — одним из членов его стал брусневец Степан Радченко — вскоре же был арестован. Так что I съезд лишь провозгласил, но фактически не создал Российскую социал-демократическую рабочую партию.

В декабре 1900 года вышел первый номер "Искры".

Ленинская «Искра» появилась в самое время. В стране нарастало революционное движение. Множились стачки и забастовки, росли выступления крестьян против помещиков, волнения студентов. Все чаще и мощнее становились демонстрации.

На улицы российских городов выходил пролетариат и требовал:

- Восьмичасовой рабочий день!
- Политическую свободу!

"Искра" воспитывала из него руководителя всенародной борьбы. Тесно связанная с Россией, с местными организациями и комитетами, она боролась за создание общерусской социал-демократической марксистской партии.

Из-за рубежа в Россию протянулись невидимые нити. Минуя пограничные шлагбаумы, таможенников, жандармов, шпииков, рискуя

свободой, а зачастую и жизнью, агенты "Искры*" связывали газету с массами. В чемоданах с двойным дном, в специальных жилетах, под платьем, в корешках книжных переплетов они доставляли «Искру» в Россию и распространяли среди рабочих, организовывали письма, статьи, материалы, налаживали связь с местными комитетами.

На этом опасном и трудном поприще воспиталось немало славных бойцов партии. Агентами ленинской «Искры» были И. Бабушкин, Н. Бауман, С. Гусев, И. Дубровинский, Ц. Зеликсон-Бобровская, Р. Землячка, М. Калинин, В. Кецховели, П. Красилов, И. Радченко, Е. Стасова, М. Сильвин, М. Ульянова, А. Цюрупа и многие другие.

Ленинская «Искра» переправлялась из-за границы в Россию разными путями и по разным маршрутам. Одна из трасс вела в Баку, на Баилову стройку, к Красину.

Днями инженер Красин управлял строительством — ругался с подрядчиками, норовившими обжулить, объегорить, подгонял десятников и мастеров, вместе с инженерами ломал голову в поисках наиболее выгодных и эффективных технических решений или, если работа не спорилась, сбрасывал пиджак, засучивал рукава крахмальной сорочки и вместе с рабочими принимался за дело, уходя лишь после того, как оно ладилось вновь.,

А вечерами или по ночам встречался с заезжими людьми — Касьяном либо Игнатом (И. Радченко и П. Красилов). Они, прибыв издалека, передавали ему директивы Ленина, привозили свежие номера газеты, оседали на несколько дней, чтобы, сделав все дела, отправиться снова в тяжелый и опасный путь.

Приходили они неслышно. И так же тихо исчезали. Словно растворялись во тьме южной ночи.

Стройка на Баиловом мысу была куда как хороша для всяких конспиративных дел. Баиловское столпотворение, как воз сена иголку, мгновенно поглощало человека, неважно, старый он для Баку или новый.

Среди множества строителей, подобно приливу, то прибывающих, то убывающих, легко было скрыть нужного товарища. Здесь без особого труда можно было совершать паспортные манипуляции. Пользуясь своим служебным положением — как-никак начальник громадного строительства, — Красин выправлял паспорта для тех, кого преследовала полиция. Подлинный паспорт, пусть выписанный на чужое имя, — суцая находка для социал-демократа, живущего на птичьих правах и разыскиваемого жандармами. Он куда лучше и надежнее поддельного.

Техническая сметка служила Никитичу добром и в подпольных делах.

Он разработал остроумный и верный способ хранения нелегальной литературы, а ее с каждым годом прибывало все больше и больше. Склады нелегалщины располагались с таким расчетом, чтобы в случае внезапного налета полиции можно было поджечь одну-две нефтяные форсунки, так что тайники были абсолютно недоступны.

Жандармы, чуявшие недоброе, — донос — праотец жандармского чутья, — несколько раз пытались нагрять с обыском, но уходили ни с чем и в конце концов махнули на электростанцию рукой.

Постепенно Красин стянул на Баилов мыс все ядро бакинской социал-демократической организации. Н. Козеренно, знакомый еще с Нижнего, работал здесь бухгалтером, Л. Гальперин — статистиком, Авель Енукидзе — техником-чертежником, В. А. Шелгунов — электромонтером, С. А. Аллилуев — слесарем по установке и сборке паровых котлов.

Отсюда по всему Баку и нефтяным промыслам, подобно волнам в эфире, разносились идеи "Искры".

Как писала Н. К. Крупская, "Баку был тогда основным пунктом искровской организации". Среди рабочих велась активная пропаганда и агитация. Впоследствии она принесла богатые плоды. На всю страну прогремела знаменитая бакинская стачка.

Красин, ранее систематически выезжавший в Тнфяне, Кутаиси, Батум для связи с тамошними социал-демократическими организациями, теперь, когда вокруг него сгруппировалось достаточно много надежных людей, старался действовать осмотрительнее и осторожнее. "У нас с ним состоялось такое молчаливое соглашение, — говорил А. Енукидзе, — что он, будучи на виду, как официальный работник в крупнейшем тогда предприятий, не должен был вмешиваться во все организационные мелочи, его дело было только руководить нами. Он указывал всем нам место, время и способы сношения с ним. И все, чем руководил Красин, в смысле организационном, оказывалось наиболее устойчивым, наиболее правильным и давало наилучшие результаты. Леонид Борисович был в высшей степени точным, как часовой механизм, но вместе с тем не был педантом. Он был человеком широчайшего размаха".

С годами человек умнеет, становится рассудительнее и осмотрительнее. Красину шел четвертый десяток. Теперь он понимал, что осторожность — друг смелости, безрассудство — враг ее. Смел не тот, кто очертя голову кидается в бурный поток, но, яе совладав с ним, идет ко дну. Смел тот, кто, осмотревшись, выискивает место, годное для переправы, и в конце концов преодолевает реку.

Все предыдущие аресты были результатом горячности. Она объяснима

в молодости и непростительна в зрелости. Сейчас, когда от его судьбы зависит судьба многих и, главное, судьба большого дела, он не имеет права на предосудительный и неразумный риск. Никто, в особенности партия, членом которой он теперь является, не простит этого.

Значит, каждый шаг должен быть рассчитан, каждое слово взвешено, каждый поступок выверен. Никаких следов и улики, ни зацепки, ни повода к подозрению.

Как-то он прочел новеллу немецкого писателя Шамиссо. Герой ее Петер Шлемиль остался без тени.

Новелла поразила его. Не столько неожиданностью и невероятностью описанного, сколько тем, как он истолковал ее.

Туманная фантастика немца мало совпала с трактовкой, придуманной Красиным.

Человек без тени. Он шагает по жизни, чуждой и враждебной ему. Один, неприметный, неуловимый, недостижимый. И никто не следует за ним. Даже собственная тень.

Быть человеком без тени — вот что стало его девизом.

Каждое утро в один и тот же час, минута в минуту, так, что по его выходу можно было сверять часы, спускался он со второго этажа, где над конторой располагалась его квартира. Твердым шагом, неторопливо сходил по скрипучей деревянной лестнице, весело цокая подковками башмаков по железным ободкам, которыми были обиты края ступеней.

Обходил территорию. Высокий, прямой, суховато-вежливый, в строгом, отлично сшитом костюме-тройке, с тщательно завязанным галстуком на стоячем крахмальном воротничке.

Завидев его, даже отпетые лодыри принимались за дело, а те, кто работу чередует с не в меру частыми перекурами, поспешно бросали сигарки или прятали их в рукаве. Знали — ничто не ускользнет от его все замечающих, искристых, с легким прищуром глаз.

Он умел требовать с других, но не щадил и себя. Поэтому его уважали. Не боялись, как многих других инженеров, а уважали.

Как-то на море на промыслах случилась авария. К берегу сбежались люди. Растерянные, беспомощные, они метались по прибрежной гальке, не зная, что предпринять, — лодок поблизости не было.

Подоспевший Красин, не раздумывая, кинулся в бушующие волны и вплавь устремился в море спасать погибающих. Его примеру последовали другие.

Территорию он обходил не спеша. Задерживался то на одном, то на другом участке. Давал советы, указывал, показывал, а если нужно,

распекал. Словом, всему голова. И со стороны никому не приходило в голову, что среди всей этой пестряди встреч одна-другая, мимоходная, посвящена вопросам, к строительству никакого касательства не имеющим.

После обхода территории — контора. Вызовы людей. Короткие, четкие распоряжения. Быстрые, оперативные решения. Телефонные звонки. Разбор почты. Множество бумаг. Деловых, неотложных. Писем, прошений, уведомлений.

Заграничная почта. Письма от фирм. Предложения, ответы, консультации. Посылки, бандероли. Книги, технические проспекты.

Одни бандероли он распечатывал тут же, в кабинете. Другие уносил домой.

Зашторив окна и заперев двери на ключ, осторожно отрывал от книг корешки. И на свет божий появлялись номера «Искры», отпечатанной на тонкой папиросной бумаге.

Для связи с заграничным центром он использовал и другие пути. Договаривался с немецкими или датскими инженерами, работавшими на строительстве, о том, что на их адрес будет приходить из-за рубежа техническая литература. Они получали книги, передавали ему, а в книгах была скрыта нелегальщина.

Но бывало и так, что заграничные отправители давали маху. Однажды он получил повестку — явиться в таможенню за посылкой. Является, ей — о ужас!. — мне передают грубейшим образом переплетенный атлас с обложками толщиной в добрый палец, заполненный внутри какими-то лубочными изображениями тигров, змей и всякого рода зверей, не имеющих ни малейшего отношения к какой-либо технике или науке". Хорошо еще, что таможенники, испытывая уважение перед блестящим инженером, руководителем крупнейшего в городе строительства, сочли выписку из-за границы сего атласа причудой состоятельного чудака и не заподозрили наличия начинки.

Вот что значит быть человеком без тени! Без тени, но с двойным обличьем.

В жизни его все переплелось самым причудливым и невероятным образом. Он носил два обличья и делал два дела. Основное — служебное, и главное — партийное. Второе зависело от первого, Чем лучше шли легальные дела, тем с большим успехом и безопасностью можно было заниматься делами нелегальными. По мере того как возрастал его вес в обществе, росли возможности вести с этим обществом борьбу.

И он работал не за страх, а за совесть. За партийную совесть революционера социал-демократа строил электростанцию. Не прошло и

нескольких лет, как в Баку появилось невиданное для этого города сооружение. Красивое и изящное, оно скорее напоминало храм, чем промышленное предприятие. Главный корпус, жилые дома, здание конторы, чистый, вымощенный двор, асфальтированные тротуары — все это несколько не походило на убогие с виду, прокопченные, грязные и захламленные бакинские заводы и промыслы.

Электрическая станция еще больше поражала внутри. Здесь царили больничная чистота и идеальный порядок.

Бакинский высший свет, приглашенный на пуск электростанции, диву давался:

— Европа, да и только!

Теперь, когда строительство было закончено, Классон уехал в Москву, и Красин стал фактическим директором нового предприятия.

И отцы города, и губернатор, и градоначальник, и полицейские с жандармами отныне были вынуждены считаться с ним. Еще бы, важная птица, крупный промышленный деятель!

Это значительно облегчало нелегальную деятельность. Когда случалось попадать в переplet, из которого другому не вылезти бы, Красин, пользуясь служебным положением, играючи выходил из воды сухим и к тому же спасал товарищей.

Он был в концерте. Вместе с Козеренно слушал Фигнера. Поразительно, как расходятся людские пути. Сестра — особо-опасная государственная преступница, заточенная в каземате Шлиссельбурга. Врат — баловень славы, кумир публики, любовь царя и гордость императорской сцены.

Все же сила искусства волшебна. Поди ты, пшютоватый мужчина, самодовольный и гладкий, с нафиксатуаренными усами гвардейца и прилизанным пробором, а запел, и перед тобой Герман, демонический, мрачно-философичный, бросающий вызов судьбе.

В ложу неслышно вошел капельдинер. Склонился над Красиным:

— Леонид Борисович, вас просят к телефону. Неотложно. Вышел с досадой. Не дали дослушать любимую арию. Вернулся озабоченный. На электростанции жандармы. Тихонько на ухо Козеренко:

— По вашу душу пришли. Есть у вас что-нибудь?

— Да, кое-что есть.

— Как же это вы так... опростоволосились? Ну, делать нечего, поезжайте. Я тоже сейчас подъеду... Что-нибудь придумаем.

Он все же дослушал концерт до конца. Даже бисы и те выслушал. Во-первых, такие гастролеры, как Фигнер, не каждый день заглядывают в Баку.

А во-вторых, он знал: без директора жандармы все равно не решатся производить у бухгалтера обыск.

Козеренко занимал на электростанции квартиру из двух комнат с кухней. Когда пришли жандармы, будущая жена его, Екатерина Александровна Киц, сидела в первой комнате за письменным столом и читала «Искру», Увидев "голубого полковника", она быстро прикрыла газету концами платка, свисавшего с плеч.

— Это моя комната, — проговорила Екатерина Александровна. — Козеренко живет рядом.

Вскоре после Козеренко прибыл и Красин. Киц, скосив глаза, указала на нелегальщину под платком.

Красин хладнокровно уселся рядом с полковником и, обменявшись с ним несколькими фразами вызвал по телефону одного из конторских служащих.

— Позовите ночного сторожа, — распорядился он. — Нужно закрыть черный ход, чтобы никто не входил и не выходил, пока не окончится обыск.

Жандарм одобрительно кивнул головой.

— Кстати, пусть поставят самовар. Бухгалтеру перед отправкой не мешает напиток чаю.

Пришел сторож — Георгий Дандуров. Пока жандармы рылись в комнате Козеренко — она-то как раз и не была «замазана», — Киц с Красиным успели передать ему всю нелегальщину, и Дандуров, разводя самовар, сжег ее.

Георгий Дандуров до этого работал кучером конки и вступил в социал-демократическую группу, которой руководил Авель Енукидзе. Когда искровцы стали стягиваться на электростанцию, Енукидзе определил Дандурова на строительство, сначала поденщиком, а затем сторожем в контору.

Георгий исправно нес свою службу. Маячил перед входом таким грозным стражем, азиатом в мохнатой папахе, бешмете и мягких кавказских сапожках с острыми носами.

Когда сюда норовил проникнуть шпик, сторож накидывался на него. Свирепо вращая белками и неимоверно коверкая русский язык, он вопил на всю округу:

— Нэ валено пустыть! Стырога залрыщено пастаронным! Сколько ни пытались полицейские и жандармы урезонить

или подкупить его, он твердил свое:

— Нэ вэлено. Дырэктор Лэонид Барысовыч нэ разрышыл пастаронным.

Не объяснишь же этой образине, что шпик есть шпик, а не посторонний, не раскроешь тайн секретной агентуры.

С неграмотного дикаря взятки гладки. В конце концов жандармы отстали.

Меж тем сей дикарь запоем читал нелегальные книги, по заданиям Красина и Козеренко прятал и хранил в хорошо скрытых местах кипы брошюр, книг, прокламаций, нелегальную переписку, бланки паспортов.

Дандуров был толковым и безотказным помощником. Через него Красин осуществлял связь с внешним подпольем.

— Товарищ Георгий, — говорил он, — если к тебе придет некий грузин и скажет: "Твоя сестра должна пойти со мной", — прими его.

И действительно, через несколько дней появлялся молодой человек, смуглый и застенчивый, по-грузински вежливый и грациозный.

— Извиняюсь, — говорил он, — но ваша сестра должна **ПОЙТИ СО МНОЙ**.

Дандуров звонил по телефону Красину. Тот немедленно приезжал. Приказывал:

— Отправитесь в гостиницу «Кавказ». Займете столик, закажете бутылку вина. Когда я появлюсь, не обращайтесь на

меня внимания. Но кто-нибудь один пусть последует за мной. Так и делали. В результате происходила транспортировка ящиков листовок. Или в контору на имя сторожа приходила телеграмма: "Вашего брата искусала бешеная собака". Дандуров нес ее Красину. Тот читал, тер переносицу и вполголоса печально пояснял:

— Плохо, брат. Арестован товарищ... — Потом, встав из-за стола и пройдясь по кабинету, решительно прибавлял: — На всякий случай предпримем следующие меры предосторожности...

Если ходишь над пропастью по шаткому и узкому мостику, смотри в оба. Не то полетишь вниз со смертоносной высоты.

Красин пристально вглядывался в окружающих, изучал и проверял их. Это не было подозрительностью, это было предосторожностью. Подозрителен тот, кто заранее не верит людям, презирает и боится их. Красин людей любил, а потому не боялся. Но проверять был обязан.

С годами он настолько понаторел в искусстве распознавать людей, что определял их с безошибочной точностью. Когда Аллилуев рассказал ему о своем новом знакомом — журналисте, который горячо высказывает симпатии к рабочему движению и предлагает отдать себя делу освобождения рабочего класса, Красин насторожился: новый человек стремится в организацию, надо проверить его.

Несколько раз, как бы невзначай встретившись с журналистом в обществе и поговорив, он предостерег Аллилуева:

— Смотрите, не очень-то увлекайтесь своим новым знакомым. Этот друг рабочих, судя по тирадам, либо наивный интеллигент, мечтающий освободить пролетариат без политической борьбы, либо агент охраны, провокатор. И в том и в другом случае будьте с ним осторожны.

И действительно, впоследствии выяснилось, что этот журналист — провокатор.

Даже тогда, когда человек внушал полное доверие, Красин не полагался на эмоции, а тщательно проверял их разумом. Особенно если предстояло ответственное и важное задание.

Василий Андреевич Шелгунов приехал в Баку по выходе из Екатеринославской тюрьмы. Красин, хотя и принял его на работу, первое время никаких бесед на партийные темы не поддерживал. Если Шелгунов пытался их завести, уклонялся от разговора,

— Как-нибудь потом... В другой раз... Сейчас недосуг...

Шелгунов недоумевал. Он прибыл к Красину в Баку не для того, чтобы перебиваться заработками на электростанции. Передовой пролетарий, профессиональный революционер, воспитанник Ленина по "Союзу борьбы за освобождение рабочего класса", Шелгунов видел цель своей жизни в партийной работе. А тут на тебе — недосуг.

Прошел месяц. За этот срок — Шелгунов, конечно, не знал об этом — Красин успел списаться с товарищами, знавшими Василия Андреевича, получил исчерпывающие характеристики, незаметно, но основательно пригляделся к нему и изучил его, твердо убедился в том, что он действительно Василий Андреевич Шелгунов, а не кто-то другой, выдающий себя за него.

И вот однажды к Шелгунову прибежал конторский мальчик-рассыльный.

— Вас требует к себе директор. Осмотреть проводку электрического звонка.

На квартире Красин сам открыл ему дверь, провел в кабинет, усадил в кресло.

— Дело не в звонке, — напрямик заявил он. — Вы мне понадобились совсем по другой okazji. Она вкратце сводится к следующему...

Дело было чрезвычайной важности. Оно касалось подпольной типографии.

Ее создал Ладос Кецховели, человек невероятной смелости и виртуозной изобретательности, лучистый, искристый, широкий,

"гениальный, — как назвал его Красин, — организатор подпольной типографии".

Задумав ее, Кецховели сразу же натолкнулся на, казалось бы, непреодолимую трудность. Печатную машину, шрифт, бумагу не купишь на бакинском толчке: И контрабандой в Россию не провезешь. Чтобы приобрести все это, нужно иметь губернаторское свидетельство на право открытия типографии. А кто его выдаст? Где сыскать добряка губернатора?

Но Кецховели был не из тех, кто пасует перед первой же трудностью. Он за всю свою бурную, трагически оборвавшуюся жизнь ни разу не отступал от задуманного.

Поразмыслив, он нашел поразительное по своей простоте и надежности решение.

На титульном бланке елисаветпольского губернатора — раздобыть такой бланк не составляло большого труда — было выписано удостоверение, разрешающее Давиду Иосифовичу Деметрашвили (имя, под которым жил Кецховели открыть в любом из городов Кавказа типографию. Подпись губернатора, разумеется, подделал сам Кецховели.

Итак, документ валило. Но с подложной подписью.

Осмотрительный Красин сразу асе указал на уязвимость бумаги. Начинать такое большое дело с «грязными» документами — значит подвергать прекрасную затею риску провала.

Но Кецховели лишь усмехнулся в ответ. У него все было идеально продумано.

Он взял удостоверение, снял с него копию и засвидетельствовал у бакинского нотариуса.

Теперь он стал обладателем идеально «чистого», без единой подложной подписи документа. С ним можно было смело приступать к покупке типографского оборудования.

После долгих поисков Кецховели разыскал у бакинского типографщика Промышлянского старенькую малогабаритную машину форматом с лист писчей бумаги. В конце концов удалось сторговаться в цене, относительно невысокой — 900 рублей.

Красин, Козеренко и Киц наскребли 800, остальное было поручено добыть Авелю Енукидзе.

Он сел в поезд и поехал в Тифлис за помощью к тамошним социал-демократам.

В шумном и чадном духане близ вокзальной площади Енукидзе встретился с руководителем тифлисцев Сильвестром Джибладзе и сумрачным, молчаливым молодым человеком по имени Коба, или Сосо, как

его иногда называл Джибладзе.

Джибладзе похрустывал ядреной пунцовой редиской, тянул кисловатое вино и рассеянно поглядывал по сторонам, а Коба внимательно слушал, не сводя с Енукидзе пристального взгляда глубоких, холодновато-недоверчивых глаз.

В деньгах — речь шла о 100–150 рублях — бакинцам было отказано. Тифлискцы хотели, чтобы подпольная типография целиком находилась под их контролем и руководством.

Енукидзе уехал ни с чем, И лишь потом, после того как детище Кецховели вступило в строй и тифлисской организации были продемонстрированы первые оттиски, в Баку были посланы два наборщика, а также выданы деньги на бумагу, краску и другие материалы.

Подпольная типография Кецховели заработала вовсю. Она печатала нелегальную грузинскую газету «Брдзола» ("Борьба"), прокламации и листовки Бакинского комитета, выпустила несколько номеров ленинской «Искры», иного, чем обычный, маленького формата.

Как вдруг стряслась беда — арестовали Ладо Кецховели. Узнав об этом, Авель Енукидзе схватил первого попавшегося извозчика и помчался на Баиловку, к Красину,

Было раннее утро, едва занимался рассвет. Енукидзе понимал: приезд техника на квартиру к директору, да еще в такое время, вопиюще неконспиративен. Но что поделаешь, надо срочно спасать типографию от провала.

Это сразу же уразумел и Красин, когда Енукидзе, ворвавшись в спальню, разбудил его.

Сложность дела заключалась в том, что хозяин помещения, где находилась машина, старик татарин Али-Баба, знал лишь Кецховели и никому другому не выдавал машину, которую необходимо было как можно скорее увезти подальше от греха.

Красин, не теряя времени, отправился к Али-Бабе. Просидел у него часа два, не меньше. К концу визита они сошлись на короткую ногу, так что старик, на прощанье хлопая веселого и обходительного барина по плечу, приговаривая:

— Ты ко мне придешь — гостем будешь, Я к тебе приду — гостем буду.

Столь скорому сближению немало способствовало то, что Красин пообещал Али-Бабе 200 рублей отступных и несколько золотых пятирублевой выдал в виде аванса.

Надо было ковать железо, пока оно горячо. Поэтому, вернувшись

домой, Красин тут же послал мальчика-рассыльного за Шелгуновым.

Он поручил ему забрать машину и скрытно переправить в другое место. Сделать это было сподручнее всего Шелгунову, человеку в Баку новому и малоизвестному.

На другой день Шелгунов вместе с рабочим электростанции Меликьяном, по кличке «Дедушка», явился к старику за обещанной машиной.

Али-Баба отдал ее, правда не преминув при этом содрать лишние полсотни рублей.

Машина была отвезена на пристань и сдана в багаж для отправки в Красноводск.

Утром следующего дня Шелгунов пришел на пристань, предъявил багажную квитанцию и заявил, что груз в Красноводск не пойдет, а останется в Баку. Пусть пока что полежит на складе. Хранение, разумеется, будет оплачено вперед, наличными.

Еще через несколько дней, когда удалось, наконец, найти надежное пристанище, Шелгунов опять явился на пристань, на сей раз с ломовиками, и благополучно доставил ценный груз в безопасное место.

Вскоре подпольная типография заработала вновь.

Теперь вместо Ладо Кецховели ею руководил Трифон Теймуразович Енукидзе, подпольная кличка "Семен".

Товарищ Семен был человеком оборотистым, деловым, что называется, с размахом. Он стал ставить дело на широкую ногу. И сразу нее получил поддержку Красина, ярого врага кустарничества, ясно понимавшего, что хорошо поставленная типография быстро окупится.

На пустынной улице в татарском районе, на окраине города, где люди жили замкнуто, нелюдимо, сторонясь полиции и недолюбливая ее, был снят в аренду небольшой домик с отдельным двориком, обнесенным на восточный манер высокой глухой стеной.

Одно из помещений было приспособлено под торговую лавку.

В домике поселился Семен с матерью и братом, конечно фиктивными, но снабженными такими документами, к которым не подкопаешься.

По утрам к крыльцу с козырьковым навесом подкатывал фаэтон, и в него усаживались Семен с матушкой. Добропорядочный коммерсант, отправляющийся по делам в город.

Возвращаясь, он подъезжал к татарским лавкам, что были напротив дома, заходил, делал покупки. Не так чтобы большие, но и немалые, как подобает коммерсанту средней руки, живущему не в богатстве, но в достатке. Беседовал с хозяевами. О том, о сем, а больше ни о чем — ни

слова о политике, — и, распрощавшись, удалялся в свой тихий, малолюдный, почти никем не посещаемый дом.

Меж тем сей пустынный домик был переполнен. Тут, помимо Семена, «матери» и «брата», жило еще семеро (вначале пятеро).

Их никто не видел. И они не видели никого, кроме Семена.

Их никто не слышал.

О них никто не подозревал.

Семеро невидимок, семеро домовых, незримых и неведомых, рано поутру входили в стенной шкаф с двустворчатой стеклянной дверью, находившийся в одной из комнат.

И исчезали из дому.

Словно проваливались в тартарары.

Дно шкафа служило входом в подпольную типографию.

Никто из семерых в открытую не появлялся на улице.

Даже во дворик, огороженный высокими стенами, выходили только темными ночами. Тихо, осторожно, неслышно ступая босыми ногами по мягкой густой траве.

И тут же ложились наземь, чтобы неясными тенями не чернеть в темноте.

Лежа на спине в пахучей траве, глядели в необъятное южное небо с яркой россыпью звезд. И слушали старшего — Авеля Енукидзе, шепотом рассказывавшего о мерцающих вдали туманных и загадочных мирах.

И лишь раз в неделю, не больше чем по двое, тайком выбирались в людный мир. После того как Семен, удостоверившись, что кругом все пусто, подавал условный сигнал, выскальзывали на улицу и в темноте пробирались на вокзал. Чтобы сесть в вечерний поезд и уехать на день в Тифлис, Кутаис или Батум.

Семеро духов, будто не существовавших во плоти, были рабочими подпольной типографии, высококвалифицированными наборщиками и печатниками. Все, кроме одного — старшего, Авеля Енукидзе. Он выполнял всю черную работу, был чем-то вроде подсобного рабочего.

С утра до сумерек, по десяти часов в сутки, не считая часового перерыва на обед, они набирали, печатали, брошюровали. В глубоком подполье, летом при отчаянной жаре, вооруженные револьверами на случай, если придется вступить в бой с полицией и жандармами.

"Помещение, где была установлена и работала эта машина, — вспоминает о подпольной типографии Красин, — было отделено от дома, в котором жили наборщики и печатники, особым подземным ходом, закрывающимся массивной, опускавшейся в подполье дверью-западной,

которую никоим образом нельзя было найти, не зная секрета. Само печатное помещение освещалось спирто-калильной лампой и со всех сторон было закрыто, помещаясь внутри обширной постройки, заключающей в себе на соседнем владении экипажные сараи, конюшни и амбары для овса, ячменя и фуража. Только произведя самый точный наружный обмер стоявшего на чужом владении соседнего здания и измерив все внутренние камеры и помещения, можно было бы, нанеся все это на план, увидеть, что в середине остается какое-то пустое место, к которому нет доступа из других частей помещения. В этом-то месте и помещалось печатное отделение нашей типографии, связанное потайным ходом с другим домом на соседнем участке, в котором жили А. С. Енукидзе и другие товарищи".

Перенести печатную часть типографии в подполье надумал

Семен. По элементарным законам конспирации мысль эта была еретичной. Татарин — владелец извозного заведения, хозяин конюшни, сараев и амбаров с фуражом, расположенных на сопредельном участке, — мог заподозрить неладное, в тогда типография была бы поставлена под удар.

Поначалу план Семена был категорически отвергнут всеми.

Всеми, кроме Красина. Как ни странно, именно он, один из самых строгих конспираторов, план этот поддержал.

Почему?

Во-первых, потому, что он сулил слишком большую выгоду, чтобы отказываться от него. Если бы даже произошел провал и все, кто находился в жилом доме, были арестованы, скрытая в подполье типография все равно осталась бы недосыгаемой и сохранилась бы в полной целости и невредимости. Выждав некоторое время, надо было лишь вновь арендовать жилой дом, и типография заработала бы опять.

Во-вторых, Красин слишком хорошо знал Семена, чтобы не верить ему. Он понимал, что Семен взвесил все — и все «против», прежде чем принять решение. Ему было хорошо известно, что Семен долго и досконально изучал извозопромышленника, проник в его мысли и чувства, узнал его симпатии и антипатии, выяснил его нелюбовь к царизму, наконец, стал другом его и мог прозакладывать голову, что тот в случае беды не подведет и не выдаст.

Семен верил в человека и верил человеку. Разумеется, предварительно изучив его. Так обычно поступал и Красня. Законы, в том числе и конспирации, не могут быть годны на все случаи жизни. Нередко жизнь вносит в них поправки. Тот, кто слепо следует букве закона, пытается ею

прикрыть свою робость перед личной ответственностью. Семен был не робкого десятка. Красин тоже. Поэтому он и поддержал Семена.

Для покупки конюшни нужны были деньги. Две тысячи. Глухой ночью порой на одной из явочных квартир состоялось в городе заседание, на котором присутствовали Козеренко, Киц, Гуковский, Флеров и Красин. Решено было, что Гуковский, служивший бухгалтером в городской управе, получит у городского головы — им был известный народник А. И. Новиков — разрешение ваять деньги взаймы из кассы управы.

Новиков относился к Руновскому с величайшим доверием и уважением, как революционер к революционеру, хотя и разных направлений. Он разрешил заем.

Месяц спустя Красин раздобыл требуемую сумму, и деньги вернулись в кассу управы.

Конюшня была куплена, типография расширена, но неумный Семен не успокаивался. Печатная машина была стара. Работала виз с отчаянным стуком. Впрочем, от этого греха кое-как сумели избавиться. При огромных связях Красина в техническом! мире Баку удалось без особенного риска разместить в различных механических мастерских города несколько заказов на ремонт частей.

Хуже было другое — машина была маломощна. Она нуждалась в замене. Новой, современной, быстроходной.

Такую машину можно было выписать из-за границы. Семен придумал, каким путем это сделать. Остановка была только за деньгами.

Вот за ними-то и стал он ходить и Красину. Часто, настойчиво, неотступно. Доказывая, упрашивая, уговаривая, требуя.

Пока Красин, наконец, не пустился на розыски нужных денег. А их требовалось немало — две-три тысячи рублей.

Выручка пришла с неожиданной стороны, от Веры Федоровны Комиссаржевской, приехавшей в Баку на гастроли.

Красин покорила прославленную актрису, ошеломив ее неслыханной смелостью, размахом, откровенностью, доверием, которое, казалось, не знает границ.

В один из гастрольных спектаклей в уборную к Вере Федоровне постучали. На пороге стоял высокий, стройный мужчина, еще молодой, но виски чуть побелели и клинышек бородки кое-где слегка тронула седина.

Холеный, породистый, в светлом, отливающим сталью элегантно костюме.

Ничего не скажешь, красив.

Комиссаржевская невероятно устала. Впереди еще целый акт,

тяжелый, изнурительный, она не испытывала ни малейшего желания вступать в беседу.

Тем более что разговор, вероятно, предстоял банальнейший. Очередной поклонник, к тому же провинциальный.

Как бы поделикатней да побыстрее отделаться от этого господина?

Но в беседу вступил он.

И с первых же слов ошеломил ее.

— Вы революционерка? — плотно прикрыв за собой дверь и широко шагнув в комнату, спросил он в упор.

Вопрос был настолько неожидан и смел, что она даже не нашла слов для ответа. Только кивнула головой.

— В таком случае сделайте вот что...

Говорил он твердо, спокойно, звучным и ровным голосом, слегка чеканя слова.

И она подчинилась. Во всей его повадке, скупой, сдержанной, сильной, было столько воли, что не подчиниться было невозможно.

Комиссаржевская поступила точно так, как предлагал Красин. Она дала благотворительный концерт.

"В Баку меня любят, — вспоминала она. — Начальник жандармов — мой поклонник. У него в квартире мы и устроили концерт. Закрытый, только для богатых. Билеты не дешевле пятидесяти рублей... Я пела, читала, даже танцевала тарантеллу... Успех полный... В антракте мне поднесли букет... из сторублевок. Леонид Борисович, красивый, во фраке, понюхал букет, смеется: "Хорошо пахнет...?" И мне на ухо: "Типографской краской пахнет!.." Дело-то в том, что сбор с концерта шел на подпольную типографию. После концерта у меня в уборной — вся местная знать... Благодарят, целуют мне руки. Леонид Борисович стоит в сторонке, ухмыляется. Распорядитель вечера подносит мне на блюде выручку с концерта... Что-то несколько тысяч. Деньги перевязаны ленточкой с бантом".

Получив, наконец, деньги, Семен начал действовать. Он пришел к владельцу небольшой типографии «Арор» Ованесьянцу и, отрекомендовавшись служащим общества "Электрическая сила", одним из директоров которого был Красин, сказал, что ему поручено создать типографию общества.

Он предлагает господину Ованесьянцу за солидные комиссионные выписать из-за границы новую печатную машину для будущей типографии общества.

Ованесьянц охотно согласился. Почему бы не заработать на таком

простом и несложном деле?

Но когда из Германии прибыла покупка, у типографщика В загорелись глаза. Машина была отличная. Новехонькая, большого формата, скоропечатная — она играючи давала свыше двух сотен оттисков в час формата «Искры». Последнее слово техники. Продукция знаменитого Аугсбургского завода.

Ованесьянц справедливо решил, что такая машина явится украшением его собственной типографии и просто грех расставаться с ней.

Он наотрез отказался выдать машину.

Никакие уговоры не помогали. Типографщик неколебимо стоял на своем, чуть ли не силой пытаясь всучить обратно полученные ранее деньги.

Семен ушел ни с чем, поняв, что все дальнейшие разговоры — пустая трата времени. Добром не поладишь, в суд или в полицию тоже не пойдешь. Надо искать какой-то другой выход.

И он нашел его.

Вместе со своими товарищами подъехал на нескольких подводах к складу фирмы «Арор», расположенному вдали от типографии, на тихой, малолюдной улице.

Не оглядываясь по сторонам, уверенной походкой приблизился к дверям склада, специально припасенным ломиком деловито взломал замки и запоры, вошел внутрь и махнул рукой:

— Выноси!

Подпольщики вошли в склад и вынесли три огромных ящика, в которых была упакована машина.

Когда ношу стали грузить на подводы, подошел городской.

— Пособи, земляк! — прокричал один из подпольщиков, Ваню Стурюа.

И городской послушно взялся за работу, — кряхтя, он помогал грузить машину для подпольной типографии.

С той поры Ованесьянц машины не видел. Она будто провалилась сквозь землю. Впрочем, словечко «будто» здесь не к месту. Машина действительно ушла под землю. Установленная в подполье, она стала главной частью бакинской типографии РСДРП, получившей кличку "Нина".

"Нина" работала на славу, ходко, деловито, слаженно. С матриц, доставлявшихся из Женевы, печаталась ленинская «Искра», точно такого же формата и качества печати, что и оригинальная. Сопоставляя номера, люди терялись, не зная, какой женеvский, а какой бакинский.

"Бакинская типография снабжала чуть не всю Россию «Искрой», —

писала Крупская.

"Нина" также выпускала листовки, прокламации, обращения и воззвания. Одних только первомайских листовок однажды было напечатано 200 тысяч экземпляров.

Продукция. «Нины» растекалась по всей стране. По поручению Красина люди, специально выделяемые им, пудами развозили нелегальную литературу по градам и весям России — в Ростов, Екатеринослав, Нижний, Петербург.

Как-то Шелгунов повез по такому маршруту пятипудовый транспорт нелегальщины. В первых трех городах все прошло благополучно, но в Петербурге он засел, однако успев сдать остаток литературы по указанному Красиным конспиративному адресу.

Месяца через полтора он вернулся в Баку после отсидки, довольный и радостный, — задание, несмотря ни на что, было выполнено.

Остался доволен и Красин — вся литература пошла по назначению, да еще в кассу типографии Шелгунов привез 100 рублей выручки.

Начало деятельности «Нины» было более чем примечательным. Первые оттиски, выпущенные ею, были перепечаткой чрезвычайно важной статьи «Искры» — "Извещение о II съезде Российской социал-демократической партии".

Оригинал, с которого набирался текст, тайно прибыл из-за границы. Это было множество мелких молочно-сизых листков светочувствительной пленки. Случись провал, пленка попала бы на свет, и в руках жандармов оказались бы пустые листки без единого слова текста.

Поздней ночью в тиши опустелой конторы "Электрической силы" Красин заперся в темной фотографической лаборатории. Страничку за страничкой проявлял он оригинал и, едва успевая прочитывать, тут же засылал в набор.

А через несколько дней десятки тысяч экземпляров статьи разошлись по нелегальным каналам, чтобы проинформировать партийные комитеты разных городов о том, что произошло в Брюсселе и Лондоне на съезде.

Информацию ожидали с нетерпением и надеждой, как в злую засуху ждут ливня. Это не удивительно. II съезд должен был создать и, наконец, действительно создал революционную марксистскую партию, с Уставом, Программой и центральным руководящим органом, партию, основанную "на тех принципиальных и организационных началах, которые были выдвинуты и разработаны «Искрой»".^[6]

Она рождалась в жестоких схватках и непримиримых баях с оппортунистами разных имен и мастей — «экономистами»,

«рабочедельцами», бундовцами и другими. На съезде и после него оплотом и главной воинствующей силой оппортунизма стали меньшевики.

При выборах руководящих партийных органов сторонники Ленина, твердые искровцы получили большинство и стали называться большевиками.

"Мягкие" искровцы, «экономисты» и другие противники «Искры» получили меньшинство и стали называться меньшевиками.

Историческое значение II съезда состояло в том, что он создал в России партию нового типа, ленинскую партию большевиков. Как писал Ленин: "Большевизм существует, как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года" К

Еще тогда, когда шел съезд, один из делегатов, М. Лядов, разговаривая с Лениным, упомянул имя Никитича.

"Ильич, — вспоминает М. Лядов, — с восторгом отозвался о нем, как о человеке, который умеет делать большую практическую работу и в то же время является убежденным, стойким "искровцем".

Вскоре после II съезда Красин был кооптирован в члены Центрального Комитета РСДРП.

VI

Он стал членом ЦК.

Это был не чин.

Это была обязанность. Ответственная, тяжелая, хлопотная.

Дорога. Дорога. Дорога. По России! Из конца в конец. Поездами, извозчиками, пешком. От города к городу. Из квартала в квартал. По людным улицам, по глухим переулкам. Проходными дворами, сквозными парадными. Петляя, заматавая следы, то сворачивая за угол, то возвращаясь, то устремляясь вперед. И поминутно проверяя, нет ли хвостов.

Конспиративные квартиры, явки. Разные, различные, несхожие. От убогой хибары сапожника, лепящейся к сараям у помойных ларей на краю заднего двора, до роскошных апартаментов модного адвоката, с витражным парадным и дубовой лестницей, устланной ковровой дорожкой.

Маршруты, адреса, пароли, клички, имена. В невероятном множестве.

И все не на бумаге, в голове.

КУТАИС

В приемную частного практикующего врача входит человек средних лет. Высокий, стройный, бородка клинышком. Вежливо раскланивается с ожидающими пациентами. Садится на плюшевый стул, закидывает ногу на ногу, обутые в остроносые лакированные штиблеты с пуговичной застежкой, берет с круглого столика номер «Нивы», погружается в чтение.

Когда наступает очередь, входит в кабинет и на вопрос врача: "На что жалуетесь?" — тихо отвечает вопросом же: "Не мог бы я повидать товарища Гургена?"

Неожиданный ответ несколько не озадачивает врача. Он молча, обходя стороной людную приемную, проводит пациента в самую дальнюю комнату.

Здесь уже ждут несколько человек, среди которых и Гурген (на самом деле его зовут Миха Цхакая). Это центральная партийная явка "Кавказского союза социал-демократических рабочих организаций", временно, после разгрома жандармерией тифлисской организации, перенесенная в Кутаис.

Член ЦК Никитич делает информационный доклад о II съезде партии и о политической линии большинства, устанавливает связь с местным партийным комитетом.

КИЕВ

Конспиративная квартира русского ЦК. Свидание с членом его Глебом

Кржижановским (Клэрром).

Встреча после долгой разлуки. С той поры как они виделись, утекло более десяти лет. Безусые юнцы-студенты стали зрелыми мужчинами.

Сколько перемен, принесли время и жизнь! Не переменились лишь они сами. Все в тех же рядах. Под тем же знаменем. И у Красина, как с радостью отметил про себя Кржижановский, все та же бодрая уверенность и веселая ирония по поводу некоторых неизбежных неудач организационного налаживания.

Красин уехал, а у Кржижановского осталась записочка. На имя Комиссаржевской. Небольшой клочок бумаги, но он — деньги. И немалые. На нужды партии. Так сказать, вексель.

С красинским векселем Кржижановский отправляется к Комиссаржевской в качестве истца.

Актриса только что закончила триумфальные гастроли на киевской сцене. Лестница гостиничного вестибюля заставлена корзинами с цветами. В передней комнате полно почитателей и поклонников. Терпеливо ожидают аудиенции. Народ все чистый, расфранченный. Кржижановский в его потертом облачении выглядит чем-то вроде белой вороны.

Наконец, совладав с робостью, передает через лакея кра-1 синскую записку. И тут же свершается чудо. Вера Федоровна 1 немедленно принимает его и велит никого больше не впускать.

Они остаются вдвоем, целый час беседуют — о делах, о людях, "а больше всего о Никитиче, внушающем ей искреннее восхищение".

БАКУ

Домик на тихой окраинной улочке татарского района. Подполье, озаренное пламенем спирто-калильной лампы. Духота. Тишина.

Семен, Ваню Стурюа, Сильвестр Тодрия, Ваню Болквадзе, Караман Джаши...

Коллектив подпольной типографии слушает Красина:

Он спрашивает резко, настойчиво:

— Если меньшинство не подчинится большинству, не пойдет по ленинскому направлению, куда и с кем пойдём мы?

— За Лениным. Только за Лениным и за большинством, — отвечают все.

— Отныне, — итожит Красин, — типография, в которой вы работаете, является центральной подпольной типографией Российской социал-демократической рабочей партии.

СЕСТРОРЕЦК

Унылый и печальный, как и все курорты в несезонное время. Здесь

зимой 1903 года жил А. М. Горький.

"Я, — пишет он, — был предупрежден, что ко мне приедет «Никитич», недавно кооптированный в члены ЦК, но, когда увидал в окно, что по дорожке парка идет элегантно одетый человек в котелке, в рыжих перчатках, в щегольских ботинках без галош, я не мог подумать, что это он и есть "Никитич".

— Леонид Красин, — назвал он себя, пожимая мою руку очень сильной и жесткой рукою рабочего человека. Рука возбуждала доверие, но костюм и необычное, характерное лицо все-таки смущали, — время было «зубатовское», хотя и на ущербе. Вспоминались... десятки знакомых мне активных работников партии, всегда несколько растрепанных, усталых, раздраженных. Этот не казался одетым для конспирации «барином», костюм сидел на нем так ловко, как будто Красин родился в таком костюме. От всех партийцев, кого я знал, он резко отличался — разумеется, не только внешним лоском и спокойной точностью речи, но и еще чем-то, чего я не умею определить. Он представил вполне убедительные доказательства своей «подлинности», — да, это — «Никитич», он же Леонид Красин. О «Никитиче» я уже знал, что это один из энергичнейших практиков партии и талантливых организаторов ее.

Он сел к столу и тотчас же заговорил, что, по мысли Ленина, необходимо создать кадр профессиональных революционеров, интеллигентов и рабочих.

— Так сказать — мастеров, инженеров, наконец — художников этого дела, — пояснил он, улыбаясь очень хорошей улыбкой, которая удивительно изменила его сухощавое лицо, сделав его мягче, но не умаляя его энергии...

Затем с увлечением юноши он начал рассказывать о борьбе Ленина с экономистами, ревизионистами и закончил памятных пророчеством:

— Вероятно — расколемся. Ленина это не пугает. Он говорит, что разногласия организаторов и вождей. — верный признак роста революционного настроения масс. Как будто — он прав, но как будто — несколько торопится. Но пока он еще не ошибался, забегаая вперед".

СМОЛЕНСК

Явка ЦК. Встреча с членом Центрального Комитета и Совета партии Владимиром Носковым ("Глебов", «Борис», "Борис Николаевич"), яснооком, голубоглазым блондином, сутуловатым, застенчивым, мгновенно воспламеняющимся и столь же быстро затухающим, то без удержу сыплющим пригоршни фраз, то разом смолкающим и cedящим сквозь тяжелое раздумье редкие, отрывистые слова с густым упором на "о".

Красин, Никитич, Лошадь, Винтер, Зимин, Иогансен — един во многих лицах, стремительный, неуловимый, носился он по стране. Налаживал связи с местными комитетами, привозил директивы центра, требовал отчета, направлял, поправлял, указывал, уговаривал, приказывал, разъяснял, советовал. И все это в сочетании со своим основным, так сказать, гласным делом — директорством в "Электрической силе".

Там он по-прежнему работал на совесть. Иначе и не могло быть. Всем укладом жизни своей он был приучен работать в полную силу. Тем более что работа "не в полную электросилу" затрудняла бы партийную деятельность.

Единственное, что мешало ему, — наличие в сутках всего лишь 24 часов. Да, пожалуй, еще то, что природой установлен предел человеческим силам.

Впрочем, и с тем и с другим он научился справляться. Тесные рамки суток он раздвигал одному только ему ведомыми способами. Что же касается сил — он был двужилым. Революционная закваска была в нем настолько крепка, что он даже мысли не допускал, что легальная деятельность может запятнать деятельность нелегальную. Повседневно соприкасаясь с представителями враждебных классов, он не боялся оскоромиться. Он был достаточно смел и силен, чтобы не бояться самого себя и не доверять себе. А сектантская боязнь совращения как раз и рождается неверием в человека и недоверием к нему. Хотя в партии были и такие, кто придерживался подобных взглядов.

Один из местных комитетчиков", сумрачный и медлительный, молодой, но уже набиравший силу, не без гордости говорил:

— Мое счастье, что всего себя я мот пожертвовать только на революционную партию, — в его холодновато-недоверчивых глазах появлялось насмешливое презрение. — Если; бы мне пришлось служить или работать в конторе, я неизбежно бы оказался под тем или другим мещанским влиянием, — тут насмешливость исчезала, уступая место злой беспощадности. — Я потерял бы ясность мысли и революционную энергию, как это и случилось со всей революционной интеллигенцией, которая такой службой зарабатывает себе хлеб, — все равно, какой службой, хотя бы даже в конторе либерального буржуа.

Совсем по-иному думал Ленин. Он говорил;

— Никитич именно благодаря своему легальному положению может сделать для партии то, что никто из нас сделать не может.

И Никитич делал. Делал невероятно много. Делал то, в чем нуждалась партия, недавно рожденная и постепенно встающая на ноги.

После II съезда нужно было решать такие важные, жизненно насущные задачи, как:

создание централизованного технического аппарата?

установление службы связи с широко разветвленной и сложной системой адресов, явок, паролей;

организация партийных финансов;

налаживание типографской техники и техники транспортирования с систематической переправкой людей из-за границы и обратно, перевозкой и распределением нелегальной партийной литературы.

К решению этих сложнейших задач партия приступила всерьез, масштабно, с истинно ленинскими деловитостью и размахом.

"С появлением центра, — писал Красин, — созданного заграничным съездом, и с кооптацией этим центром ряда партийных работников, действовавших в самой России, создалась впервые постоянная связь между Женевой и теми главнейшими промышленными центрами России, в которых велась практическая социал-демократическая работа".

Львиная доля всех этих дел легла на плечи Красина. Груз далеко не легкий. Но не непосильный. Особенно для него.

Он нес поклажу умеючи, сноровисто, ходко. Не пригибаясь от тяжести, не спотыкаясь и не сбавляя шага.

Это дружно подтверждают товарищи по партии, те, кто вместе с ним и с множеством других бойцов ленинской гвардии нес ту же самую ношу.

Они свидетельствуют:

Яков Ганецкий:

— До 1908 года фактически организационное руководство партией находится в руках Красина. Он организовал транспорт нелегальщины из-за границы, большие подпольные типографии, изыскивал материальные средства и оружие для партии.

Мартын Лядов:

— Красин был крупнейшим организатором и руководителем всей подпольной техники, всех боевых выступлений нашей партии.

Авель Енукидзе:

— Владимир Ильич прекрасно знал все отличительные стороны характера Леонида Борисовича и в высшей степени ценил его... Все труднейшие организационные вопросы, труднейшие вопросы финансового характера нашей партии и труднейшие вопросы связи и переговоров с другими группами внутри социал-демократии и с представителями других партий Владимир Ильич поручал Леониду Борисовичу. Леонид Борисович великолепнейшим образом умел договариваться и с меньшевиками, и с

эсерами, и с представителями кадетской партии, ни на секунду не принижая принципов большевизма. И Владимир Ильич очень ценил в нем все эти качества, Леонида Борисовича в тот период безусловно можно было назвать ближайшим соратником и сотрудником Владимира Ильича.

Деньги, деньги и еще раз деньги — вот что составляло предмет его постоянных забот.

Типографская техника, бумага, шрифт, краска, содержание наборщиков и печатников, перевозка литературы, ее хранение, плата за фрахт, за аренду складов и помещений, расходы на подставные предприятия, на побег, на переправу людей через границу, мзда контрабандистам, помогавшим нелегально переходить через нее, — все это стоило уйму денег.

Он, и ложась спать и вставая, неотступно думал о словах Наполеона, что "деньги — это нерв войны".

Действительно, в той войне, которую партия вела с самодержавием, пока еще исподволь, незримо, но ожесточенно, не на жизнь, а на смерть, деньги нужны были позарез.

И Красин всю неукротимую силу своей энергии и размашистый талант организатора обратил на добычу их.

Скромные средства, какие поступали от членских взносов, почти целиком уходили на нужды местных комитетов либо переправлялись за границу в поддержку "Искры".

Надо, было изыскивать другие, дополнительные источники.

Он искал их.

И находил.

С помощью Горького связался с А. Цюрупой, в то время управляющим крупными имениями Кугушева в Уфимской губернии. И оттуда стали систематически приходить в Вану значительные суммы.

Коллега Красина, видный инженер-путеец и замечательный писатель Н. Г. Гарин-Михайловский также поддерживал партию материально. Однажды, как пишет Горький, он привез ему "для передачи Л. Б. Красину в кассу партии 15 или 25 тысяч рублей".

Немалую роль в этом сыграли как ненависть Гарнна к царизму, так и симпатия и уважение к Красину. Недаром Гарин говаривал Горькому:

— Вас надо познакомить с Леонидом Красиным, он бы с вас в один месяц все анархические шишки сточил, он бы вас отшлифовал!

Надвигалась революция. Ее неминуемость ощущалась не только в том, как все выше вздымались валы рабочего и крестьянского движения, но и в том, как росла ненависть и самодержавию во всех прочих слоях населения

российской земли.

Этому немало способствовала русско-японская война, развязанная царизмом. Война кровавая, антинародная, явно на проигрыш. С бездарными генералами, с иконками и образами вместо ружей, с жестокими поражениями.

Даже буржуазия, у которой, по меткому выражению Плеханова, еще не атрофировались жабры, какими она дышит в мутной воде абсолютизма, но уже начинают развиваться легкие, требующие чистого воздуха политической свободы, начинала роптать. Несмотря на всю ее подлость и трусливость.

Всем этим пользовался Красин. Он разменивал ненависть к царизму на деньги, необходимые партии. Не говоря уже о крупных адвокатах, инженерах, врачах, в числе его исправных данников, ежемесячно выплачивавших от 5 до 25 рублей, были и директора банков и государственные чиновники.

Среди плательщиков были даже сторонники монархического журнала «Освобождение», издававшегося за границей П. Струве, хотя тот, теперь уже не чинясь, без обиняков, заявлял:

— Мошна быть марксистом, не будучи социалистом.

В своих поисках средств для пополнения партийной кассы Красин был неистощим на выдумку, ошеломительно широк и смел.

Он надумил Горького использовать приятельские отношения с Саввой Морозовым и попросить у него денег.

— Конечно, наивно просить у капиталиста денег на борьбу против него, но "чем черт не шутит, когда бог спит"!

"Деловая беседа фабриканта с профессиональным революционером, разжигавшим классовую вражду, — пишет Горький, — была так же интересна, как и коротка. Вначале Леонид заговорил пространно и в «популярной» форме, но Морозов, взглянув на него острыми глазами, тихо произнес:

— Это я читал, знаю-с. С этим я согласен. Ленин — человек зоркий-с.

И красноречиво посмотрел на свои скверненькие, капризные часы из никеля, они у него всегда отставали или забегали вперед на двенадцать минут. Затем произошло приблизительно следующее:

— В какой же сумме нуждаетесь? — спросил Савва.

— Давайте больше.

Савва быстро заговорил, — о деньгах он всегда говорил быстро, не скрывая желаний скорее кончить разговор.

— Личный мой доход ежегодно в среднем шестьдесят тысяч, бывает,

конечно, и больше, до ста. Но треть обыкновенно идет на разные мелочи, стипендии и прочее такое. Двадцать тысяч в год — довольно-с?

— Двадцать четыре — лучше! — сказал Красин.

— По две в месяц? Хорошо-с.

Леонид усмехнулся, взглянув на меня, и спросил: нельзя ли получить сразу за несколько месяцев?

— Именно?

— За пять примерно?

— Подумаем.

И, широко улыбнувшись, пошутил:

— Вы с Горького больше берите, а то он извозчика нанимает за двугривенный, а на чай извозчику полтинник дает.

Я сказал, что фабрикант Морозов лакеям на чай дает по гривеннику и потом пять лет вздыхает по ночам от жадности, вспоминая, в каком году монета была чеканена.

Беседа приняла веселый характер, особенно оживлен и остроумен был Леонид. Было видно, что он очень нравится Морозову, Савва посмеивался, потирая руки. И неожиданно спросил:

— Вы — какой специальности? Не юрист ведь?

— Электротехник.

— Так-с.

Красин рассказал о своей постройке электростанции в Баку.

— Видел. Значит, это — ваша? А не могли бы вы у меня в Орехово-Зуеве установку освещения посмотреть?

В нескольких словах они договорились съездить в Орехово... Затем они отправились к поезду, оставив меня в некотором разочаровании. Прощаясь, Красин успел шепнуть мне:

— С головой мужик!

Я воображал, что их деловая беседа будет похожа на игру шахматистов, что они немножко похитрят друг с другом, поспорят, порисуются остротой ума. Но все вышло как-то слишком просто, быстро и не дало мне, литератору, ничего интересного. Сидели друг против друга двое резко различных людей, один среднего роста, плотный, с лицом благообразного татарина, с маленькими, невеселыми и умными глазами, химик по специальности, фабрикант, влюбленный в поэзию Пушкина, читающий на память множество его стихов и почти всего "Евгения Онегина". Другой — тонкий, сухощавый, лицо по первому взгляду как будто «суздальское», с хитрецей, но, всмотревшись, убеждаешься, что этот резко очерченный рот, хрящеватый нос, выпуклый лоб, разрезанный

глубокой складкой, — все это знаменует человека по-русски обаятельного, но не по-русски энергичного.

Савва, из озорства, с незнакомыми людьми притворялся простаком, нарочно употреблял «слово-ер-с», но с Красиным он скоро оставил эту манеру. А Леонид говорил четко, ясно, затрачивая на каждую фразу именно столько слов, сколько она требует для полной точности, но все-таки речь его была красочна, исполнена неожиданных оборотов, умело взятых поговорок. Я заметил, что Савва, любивший русский язык, слушает речь Красина с наслаждением".

Как неустанный рудокоп, дни напролет долбящий и отваливающий неподатливую породу, чтобы добыть частицы драгоценной руды, Красин по скупым рублям и десяткам, по сотням и тысячам сколачивал партийную кассу.

Практик, он со всей страстью своей неумной природы ушел в практическую работу, восхищался ею и романтизировал ее.

Как-то он услышал примечательный разговор. И накрепко запомнил его.

Рабочий-грузин объяснял своему товарищу-рабочему, тоже грузину, разницу между теорией и практикой,

— Понимаешь, теоретически — это как сшить сапоги. А практически — это сшить сапоги.

"Меня, — не без гордости утверждал Красин, — поскольку речь шла о выборе поля деятельности для себя самого, больше интересовала проблема сшить сапоги, и, надеется, я не ошибался, что объяснить, как шьются сапоги, всегда найдется относительно больше охотников", — с легким оттенком пренебрежения к любителям теоретизации заканчивал он.

Практическая работа поглотила его.

Но она его и захлестнула.

Дела, пусть важные, пусть неотложные, но все же повседневные, набегаая друг на друга, скрадывали перспективу.

Бойкое мелькание этих повседневных дел, как разросшийся березняк, заслоняло открытые дали. А их всегда надо иметь в виду, не то потеряешь ориентир.

Ориентир же сейчас был необходим, как никогда. Партия переживала тяжелые дни. Ее терзал жестокий кризис.

Меньшинство, потерпев поражение на съезде, не сложило оружия, а пошло войной против большинства.

Один из тифлиских меньшевиков, выступая перед рабочими, говорил о большевиках:

— Товарищи! Они думают, что вы — бессознательная масса. Нет, они ошибаются! Вы уже понимаете, кто ваши враги и кто ваши доброжелатели. Гоните прочь от вас этих кровопийц — незваных гостей! Долой «большинство», да здравствует "меньшинство"!

Не подчиняясь решениям съезда, нападая на избранные руководящие органы, меньшевики атаковали ленинизм толкали партию в пропасть раскола.

Его опасностью им удалось запугать Плеханова. Он в смятении заявлял:

— Лучше пулю в лоб, чем раскол.

И предлагал пойти на уступки оппортунистам. А когда Плеханова спрашивали, почему на съезде он с большевиками, а теперь идет с меньшевиками, он сбрасывал с колен любимого черного нота Ваську, вскакивал с кресла и, меряя быстрыми шагами ворсистый ковер кабинета, раздраженно отчитывал собеседника:

— Вы еще слишком молоды, чтобы задавать мне так вопросы! Знаете ли вы, что когда ваш папенька еще то ухаживал за вашей маменькой, я уже был социалистом.

Дальше — больше. Плеханов перешел к действиям. Крутым и самочинным, Он кооптировал в редакцию "Искры"-меньшевиков Аксельрода, Засулич и Потресова. А ведь именно они при выборах были отвергнуты большинством съезда. С № 52 «Искра» фактически превратилась во фракционный орган меньшевиков. С ее страниц начался ураганный обстрел Ленина и ленинцев.

Изменился и Совет партии. В него вошли Мартов и Аксельрод. С их приходом Совет стал меньшевистским.

Оппортунисты, поправ решения съезда, рвались к захвату всех командных высот.

В такой обстановке единственным выходом был созыв нового съезда. Верховный орган партии, ее коллективный разум безошибочно рассудил бы, на чьей стороне правда. Тем более что подавляющее большинство местных комитетов поддерживало решения II съезда и линию большевиков.

Ленин, выйдя из редакции «Искры», решил закрепиться в Центральном Комитете и повести отсюда борьбу за III съезд. Но натолкнулся на сопротивление своих же товарищей. Многие члены ЦК — в их числе был и Красин — искали мира с меньшевиками. Мир любой ценой, ради него они готовы были поступиться даже главными организационными и тактическими принципами партии.

Логика политической борьбы неумолима. Тот, кто пытается поладить с

противником, рано или поздно вынужден бить по своим, Примиренцы к меньшевикам в скором времени стали непримиримы к большевикам. Щадя чужаков, они оказывались беспощадными к своим.

Члены ДК Борис (Носков), Лошадь (Красин), Валентин (Гальперин), Митрофан (Гусаров) и Травинский (Кржижановский) вынесли порицание Ленину за агитацию в пользу съезда, Носков, Красин и Гальперин, несмотря на протесты Ленина, исключили из ЦК большевичку Землячку.

Они же кооптировали в ЦК примиренцев Любимова, Карпова, Дубровинского и тем самым добились того, что большинство в Центральном Комитете перешло к примиренцам.

Они же признали законной кооптацию Плехановым меньшевиков в редакцию "Искры".

Они же распустили Южное бюро ЦК, агитировавшее за съезд.

Они же лишили Ленина прав заграничного представителя ЦК и запретили печатать его произведения без разрешения коллегии ЦК.

Приехав в Женеву, Носков отдал распоряжение партийной экспедиции — не распространять брошюру Ленина "Шаг вперед, два шага назад".

Вступивший на тропу войны движется по ней, все ускоряя шаг. Движение настолько захлестывает его, что он уже не в силах остановиться.

Красин, всю жизнь ратовавший за терпимость, стал нетерпим. Вместе с Носковым и Гальпериным он напал на своих недавних товарищей — Красикова, Лядова. И только за то, что они разрешали себе вольность мыслить иначе, чем он. Борьба, или, по выражению вышедшего вместе с Гусаровым из ЦК Кржижановского, безысходная склока, невероятно изнуряла.

Самое горькое заключалось в том, что примиренцев одинаково не любили как большевики, так и меньшевики. Это не мудрено — тот, кто пытается усидеть на двух стульях, в конце концов падает и с того и с другого.

Даже те, что поначалу двинулись за примиренцами, мало-помалу отваливали от них. Красину и Дубровинскому удалось привлечь на свою сторону Луначарского, чей блестящий талант публициста котировался очень высоко. Луначарский, как пишет он сам, "взял на себя обязанность быть главным пером соглашательского ЦК".

Но на сей раз он писал, что называется, темно и вяло. Вопреки настойчивым убеждениям Никитича и Иннокентия у него не было убежденности в их правоте.

Красин исхудал, иссох, глаза и веки его покраснели, скулы взбугрились. Он стал желчен, вспыльчив, раздражителен. Хотя, а быть

может, именно потому, что разумом он начинал понимать — раздражаться стоило только на самого себя.

К тому же его жестоко трепала малярия, подхваченная где-то на Кавказе. Он глотал хину, еще больше желтел и глох. Не расслышав собеседника, отвечал невпопад, краснел, кусал губы и раздражался пуще прежнего.

Душевный покой приходил лишь в беседах со старым другом Брусневым. После ссылки тот гостил у него в Баку, постепенно оттаивая от пережитого в Сибири.

Разговаривали они не о политике, а о технике. Как инженер с инженером.

И о сокровенном, личном. Как самые близкие друзья. Тем более что речь шла о человеке, которого хорошо знал Бруснев, — о Любове Васильевне Миловидовой. К тому времени она вернулась в Россию, развелась с первым мужем и вышла замуж вторично, на сей раз за В. В. Окса. У нее уже было трое детей, из которых, как говорил Красин, двое "оксовой породы".

Жизнь опять скрестила их пути. Они встретились случайно на юге, и старое, казалось, давным-давно позабытое неожиданно нахлынуло вновь.

Поразительно, что Красин и в личной жизни казался не тем, кем был на самом деле, Внешнее, обманное сбивало окружающих с толку. Вероятно, именно поэтому Комиссаржевская, великая артистка, которой сам бог велёл распознавать людей с первого взгляда, говорила о нем:

— Щеголеватый мужчина, ловкий; веселый, сразу видно, что привык ухаживать за дамами, и даже несколько слишком развязен в этом отношении.

На самом же деле он по-настоящему любил только одну женщину.

Красин и Миловидова поженились. Хотя официальная свадьба произошла только много лет спустя, причем шаферами были тот же Бруснев и брат Герман.

По весне, когда стаи птиц, огибая дымный и шумный город, возвращались на север, в родные места, он покинул Баку. Вместе с ним в центр перебралось и семейство, разом ставшее многочисленным.

VII

Он обосновался в Орехово-Зуеве. Прекрасно: до Москвы — рукой подать.

Переезд происходил самым обычным, наилегальнейшим образом. В нескольких купе первого класса, с бесчисленной кладью и багажом, частью отправленным пассажирской, а частью малой скоростью.

Крупный инженер по приглашению крупного промышленника следовал к месту новой службы. Доходному и выгодному.

Еще находясь в Баку, он зимой взял отпуск и приехал на несколько дней в Москву. Здесь в Электрическом и политехническом обществе был объявлен доклад о бакинских электрических установках.

И тема и сам докладчик, помощник управляющего крупнейшим в стране Электрическим обществом, инженер с именем, уже завоевавшим известность в деловом и техническом мире, вызвали интерес.

Лекционный зал был переполнен.

Красин не разочаровал слушателей, хотя были они сведущи, дотошны, придирчивы.

Доклад был глубок и основательно фундирован. В нем содержалось немало острых проблем. Он изобилдовал фактами, цифрами, выкладками, примерами. Демонстрация диапозитивов и диаграмм подкрепляла тщательно продуманные выводы.

Среди слушателей был Савва Морозов. Он слушал, поблескивая хитроватыми татарскими глазками, и отрывался лишь для того, чтобы поспешно нацарапать что-то в своем потрепанном блокноте.

Впечатление, создавшееся после первой встречи, еще больше укрепилось в нем теперь.

Не успели окончиться прения, как он захлопнул книжицу, сунул в задний карман сюртука и заспешил к эстраде.

Савве все было ясно. Быстрый в решениях и решительный в делах, он тут же предложил Красину стать строителем и заведующим центральной электрической станцией на своей фабрике в Орехово-Зуеве.

И не раскаивался.

— Хорош, — отзывался он впоследствии о своем новом служащем. — Прежде всего — идеальный работник. Сам любит работу и других умеет заставить. И — умен. Во все стороны умен. Глазок хозяйский есть: сразу видит цену дела.

В том, что Морозов принял решение пригласить Красина, немалую роль сыграла и Мария Федоровна Андреева, жена Горького, актриса Художественного театра, напрямую связанная с большевиками. Она все время напоминала Савве о Красине, расхваливала его на все лады, убеждала Морозова, что лучшего электрического инженера ему не найти.

Именно по ее настоянию Савва отправился в Электрическое и техническое общество на доклад.

Недели через три Красин получил официальное приглашение от правления "Морозовской мануфактуры" и, ликвидировав бакинские дела, приехал в Орехово.

Работы здесь оказалось невпроворот. Дело, задуманное Саввой, было новым, большим.

Морозов любил и ценил технику, пристально следил за всеми ее новинками. Со вниманием поглядывая на Запад, он рачительно отбирал все новое, перспективное, могущее принести экономическую выгоду. При этом он думал не только о прибыли, но и о техническом совершенствовании предприятия и о техническом прогрессе вообще.

— Европейец, — уважительно отзывался о нем Красин. — Рожица монгольская, а — европейец! — и прибавлял: — Европейец по-русски, так сказать.

Савва решил электрифицировать "Морозовскую мануфактуру". Лучшего исполнителя этого замысла, чем Красин, трудно было сыскать.

У него был опыт, помноженный на талант, техническая смелость и воля. Твердая воля исполнять задуманное. Невзирая на противодействие и сопротивление консерваторов.

А их в Орехове было полным-полно. Здешние техники, в большинстве толковые и опытные люди, привыкли жить по старинке, спокойно, не мудрствуя лукаво. Электрификационного затею Саввы они восприняли как блажь богатея-фабриканта, который бесится с жиру, от нечего делать.

Поэтому Красин был встречен в штыки.

Дело осложнялось тем, что Савва не был единовластным хозяином. "Морозовской мануфактурой" правили его мать и один из директоров, старый и ревностный служака, враг каких бы то ни было новшеств.

Наконец, — и это было самым существенным — о связях Саввы с большевиками проведали в семье. На этой почве — зрела смута, готовая вот-вот разразиться свирепым раздором. Домочадцы грозили объявить Савву растратчиком, упрятать в сумасшедший дом. Московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович установил за ним наблюдение.

Савва жаловался:

— В комнатах у меня делают обыски, недавно украли «Искру» и литографированный доклад фабричного инспектора с моими пометками... Легко в России богатеть, а жить — трудно! — и тихо, задумчиво прибавлял; — Только революция может освободить личность из тяжелой позиции между властью и народом, между капиталом и трудом.

Вопреки всему Красин делал свое дело. Упрямо, неколебимо, добросовестно. Так, как делал все дела своей жизни.

Он построил электрическую станцию турбинного типа, установил на ней паровую турбину, первую и единственную в России, — ее выписали из Швейцарии, — всерьез приступил к освещению, как тогда говорили, улиц, жилых домов и рабочих казарм электричеством.

И все это под непрерывным обстрелом недоброжелательства коллег-инженеров, скептически-недоверчивых замечаний директоров и членов правления, подозрительных взглядов и слезки агентов московской охраны, которыми Орехово кишело кишмя.

Кому другому, а ему, опытному конспиратору, не стоило особого труда выловить из многоликой, изменчивой толпы кувшинное рыло шпика. Как ни много было их в Орехове, он вскоре знал всех наперечет. Всякий раз, отправляясь в Москву, — ездить туда приходилось часто, главным образом по партийным делам, — он всю дорогу спокойно читал газету либо книгу, изредка посматривал в противоположный конец полупустого вагона, где, приткнувшись в углу, подремывал шпик, и, лишь выйдя на вокзальную площадь, спешил взять лихача, чтобы, изрядно поколесив по столице, прибыть на явочную квартиру незамазанным.

С формальной стороны он был чист как стеклышко. Начальнику ореховской жандармерии Владимирскому оставалось лишь при встречах на улице или в обществе любезно раскланиваться с инженером Красиным, загадочно улыбаться в усы и укоризненно покачивать головой, как бы намекая: "Смотрите вы у меня, мы ведь тоже не лыком шиты, понимаем что к чему".

Но и Красин был не промах. Он все время находился начеку, смотрел, что называется, в оба. Жил замкнуто, малознакомых людей обходил стороной, если, конечно, дело не касалось службы.

Каждого нового человека придирчиво фильтровал. Когда заехавший в Орехово Аллилуев сказал, что с Красиным хочет встретиться Анна Егоровна Серебрякова, хозяйка известного в Москве салона, усердно посещаемого интеллигенцией, он наотрез отказался от встречи.

— Бегите и вы от нее, как от чумы, — посоветовал он Аллилуеву. —

Убей меня бог — она провокатор.

И действительно, впоследствии выяснилось, что Серебрякова тридцать лет верой и правдой служила охранке.

Из двух зол обычно выбирают меньшее. В Орехове такого выбора не существовало. И охранка и правление "Морозовской мануфактуры" были одинаковым злом. Правление содержало множество шпииков и тайных агентов, которые во все глаза смотрели за каждым рабочим и служащим. Результаты наблюдений поступали, разумеется, не только в дирекцию, но Е и к жандарму Владимирскому.

Самым сложным для Красина было вырваться в Москву. Инженерам запрещалось выезжать без специального разрешения правления.

Меж тем партийная работа требовала отлучек. Иной раз он выезжал рано утром, полдня проводил в Москве на заседании ЦК, в перерыве уезжал в Орехово и следующим поездом 1 возвращался обратно в столицу, чтобы уже на другой квартире участвовать в вечернем заседании.

Красин не отступил от Саввы до тех пор, ярка, наконец, не добился своего. Правление сделало для него исключение из общего правила. Он мог отлучаться из Орехова, когда хотел и куда хотел.

Отвоевав свободу передвижения, он ездил. Много и часто. Не только в Москву, но и в другие города. Для связи с местными комитетами.

Но теперь уже не он, член и полномочный представитель ЦК, требовал и направлял. Требовали и направляли местные партийные организации:

покончить с соглашательством;

созвать партийный съезд;

порвать с "женевскими сенаторами", захватившими партийные центры;

идти за Лениным ленинским путем.

Каждая поездка заставляла Красина все глубже и горше задумываться, переоценивать ценности, которые, как показывала жизнь, все ниже падали в цене.

Позднее, выступая на III съезде, он признал:

— Отношение ЦК к созыву партийного съезда начало изменяться к концу 1904 года, и уже на общем декабрьском собрании раздались голоса о необходимости объявить созыв III очередного съезда. Решительный поворот в сторону съезда совершился под влиянием событий 9 января.

Эти события, огромные и трагические, потрясли Россию и весь мир. Они окончательно убедили Красина в том, что в действиях за последнее время, так писал он сам, "мы были не правы и что целиком прав был Ленин и его сподвижники".

Первую неделю нового года Красин провел в Питере, приехав сюда в среду, 5 января.

В воскресенье он поутру вышел из дому. Улицы были полны войсками. Шла пехота, двигалась артиллерия, неторопливым аллюром проезжала конница. А следом за ними тянулись походные кухни и санитарные двуколки походных лазаретов.

В сухом морозном воздухе клубился пар. Под ногами и колесами похрустывал снег.

Посреди мостовой стояли конки, странные и уродливые без лошадей, будто обезглавленные людские туловища.

В скверах, как на биваках, расположились полки. Горели костры, и вокруг них, подле ружей, составленных в козлы, подпрыгивали солдаты, толкая друг друга плечами, чтобы согреться.

Из Петропавловки выкатили три пушки и установили на мосту, соединяющем крепость с городом.

Ограду Александровского сада и опущенные инеем ветви Деревьев, словно воробьи, усеяли мальчишки. Они сверху вглядывались в устья улиц, откуда доносилось пока еще отдаленное и едва различимое пение.

По мере того как оно приближалось, все внятней становился напев. И вот уже можно было различить слова;

— Спаси, господи, люди твоя...

Шла процессия, неспешная, чинная. Несмотря на сильный холод, мужчины были без шапок, чисто, по-праздничному одетые, с женами и детьми.

В руках у многих были иконы. Над головами посверкивали парчой хоругви.

Впереди шел небольшой человек в длиннополой рясе, чернявый, с черной бородой, прямой и сурово-сосредоточенный. По бокам его — двое, плотные, широкоплечие, видимо телохранители, с виду рабочие* и сзади, чуть поотстав от них, молодой кудрявый паренек, высокий и сухощавый.

Горький, так же как Красин бывший в то воскресенье на улицах Петербурга, описал все, что произошло потом.

"Эту толпу расстреляли почти в упор, у Троицкого моста. После трех залпов откуда-то со стороны Петропавловской крепости выскочили драгуны и начали рубить людей шашками. Особенно старался молодой, голубоглазый драгун со светлыми усиками, ему очень хотелось достать шашкой голову красавца Венуа; длинноволосый брюнет с тонким лицом, он несколько напоминал еврея, и, должно быть, это разжигало воинственный пыл убийцы. Венуа поднимал с земли раненного в ногу

рабочего, а драгун кружился над ним и, взвизгивая, как женщина, пронзительно, тонко, взмахивал шашкой. Но лошадь его брыкалась, не слушая узды, ее колотил толстой палкой по задним ногам рыжий рабочий, — точно дрова рубя. Драгун ударил его шашкой по лицу и наискось рассек лицо от глаза до подбородка. Помню неестественно расширенный глаз рабочего, и до сего дня режет мне память визг драгуна, прыгает предо мною лицо убийцы, красное от холода или возбуждения, с оскалом стиснутых зубов и усиками дыбком на приподнятой губе. Замахиваясь тусклой полоской стали, он взвизгивал, а ударив человека — кричал и плевал, не разжимая зубов. Утомясь, качаясь на танцующем коне, он дважды вытер шашку о его круп, как повар вытирает нож о свой передник.

Странно было видеть равнодушные солдат; серой полосой своих тел заграждая вход на мост, они, только что убив, искалечив десятки людей, качались, притопывая ногами, как будто танцуя, и, держа ружья к ноге, смотрели, как драгуны рубят, с таким же вниманием, как, вероятно, смотрели бы на ледоход или на фокусы наездников в цирке.

Потом я очутился на Полицейском мосту, тут небольшая толпа слушала истерические возгласы кудрявого студента он стоял на перилах моста, держась одною рукой за что-то и широко размахивая сжатым кулаком другой. Десяток драгун явился как-то незаметно, поразительно быстро раздавил, разбил людей а один конник, подскакав к студенту, ткнул его шашкой вот, а когда студент согнулся, ударом по голове сбросил за перила, на лед Мойки...

Мы подошли к Александровскому скверу в ту минуту, когда горнист трубил боевой сигнал, и тотчас же солдаты, преграждавшие выход к Зимнему дворцу, начали стрелять в густую плотную толпу. С каждым залпом люди падали кучами, некоторые — головой вперед, как будто в ноги кланялись убийцам. Крепко въелись в память бессильные взмахи рук падавших людей.

У меня тоже явилось трусливое желание лечь на землю, и я едва сдерживал его, а Бенуа тащил меня за руку вперед и, точно пьяный, рыдающим голосом кричал:

— Эй, сволочь, бей, убивай...

Близко от солдат, среди неподвижных тел, полз на четвереньках какой-то подросток, рыжеусый офицер не спеша подошел к нему и ударил шашкой, подросток припал к земле вытянулся, и от его головы растеклось красное сияние

Толпа закружила нас и понесла на Невский. Венуа куда-то исчез. А я попал на Певческий мост, он был совершенно забит массой людей,

бежавших по левой набережной Мойки, в направлении к Марсову полю, откуда встречу густо лилась другая толпа. С Дворцовой площади по мосту стреляли, а по набережной гнал людей отряд драгун. Когда он втиснулся на мост безоружные люди со свистом и ревом стиснули его, и один за другим всадники, сорванные с лошадей, исчезли в черном месиве".

Родилась революция. Крещение она получила в кровавой купели 9 января.

А тем же самым воскресным вечером, когда дворники, орудуя скребками, еще соскабливали с мостовой и тротуаров окровавленный снег, в столичном Вольно-экономическом обществе собрался цвет либеральной интеллигенции журналисты адвокаты, гласные Думы, профессора, врачи, инженеры студенты:

К ним явилась группа рабочих Нарвского района за советом — Где искать выход из создавшегося положения?

К депутатам обратился небезызвестный писатель-экономист, некогда называвший себя даже социал-демократом, С. Прокопович.

— Главное — сказал он, — не бейте стекол. Пожалуйста, не бейте стекло.

Так реагировали на 9 января либералы.

Среагировал и царь.

Николай II, по чьему приказу солдаты расстреливали, а казаки рубили безоружную толпу, уложив убитыми более тысячи человек и ранеными около пяти тысяч, пожертвовал из собственных средств 50 тысяч рублей в пользу семейств пострадавших. Деньги предписано было выдать через полицию.

Рабочие, крестьяне, трудовые массы ответили на "Кровавое воскресенье" мощным подъемом революционного движения.

Только в январе бастовало 440 тысяч рабочих, больше, чем за все предыдущее десятилетие/

Под влиянием революционного пролетариата пробудилось от летаргического сна крестьянство.

Аграрные волнения прокатились по Орловской, Воронежской, Курской губерниям. Особой силы они достигли в Поволжье, Прибалтийским крае, Закавказье, Польше.

Не остались в стороне и орехово-зуевские пролетарии. 17 января они пытались было забастовать, но отступили под напором вызванных из Владимира солдат.

Однако, как только войска ушли из города, стачка вспыхнула вновь. В феврале забастовали 12 тысяч рабочих Саввы Морозова, следом за ними

бросили работу 19 тысяч ткачей Викулы Морозова, а затем и рабочие других фабрик.

Местным властям пришлось затребовать из Владимира шесть рот солдат и из Москвы казачью сотню, чтобы после вооруженных столкновений и кровопролития подавить беспорядки.

Красин в них не участвовал. Прошли те времена, когда он очертя голову бросался в пучину антиправительственного волнения. Годы и подполье научили его подчинять сердце разуму. Участвуя в местных беспорядках, он рисковал провалом. Впрочем, личный провал — это еще полбеды. С собой всякий волен располагать — одна голова не бедна, а и бедна, так одна. Провалившись, он поставил бы под удар подпольный ЦК. Поэтому свои воспоминания об Орехово-Зуеве он шутливо озаглавил "Как я не делал революцию в Орехово-Зуеве".

"После 9 января, — вспоминает он, — было очевидно, что заваривается какая-то большая и совсем новая каша, и мне становилось ясным по моей партийной работе, что в Орехове я не жилец".

И правда, выехав под вечер 9 февраля из Орехова, он в морозовскую вотчину больше не возвращался.

Всю первую половину того дня Красин провел в Москве, в комнате, прокуренной настолько, что люди выглядели зыбкими тенями, а пузатый самовар, шипящий на столе, — огромным сгустком табачного дыма.

Заседало ЦК. На квартире писателя Леонида Андреева.

С самого раннего утра шли нескончаемые дебаты, принимались бесчисленные резолюции, вносились поправки, до хрипоты в голосе оспаривались и уточнялись формулировки,

Все дела к обеду порешить не удалось. Договорились продолжить заседание вечером. Там же. Андреев и жена его Александра Михайловна вновь любезно и смело предоставили свою квартиру для работы ЦК.

Красин решил в перерыве съездить в Орехово, посмотреть, что делается на электрической станции, и к вечеру вернуться назад.

Часам к восьми он уже снова был в Москве. Прямо с вокзала взял извозчика и, по старой конспиративной привычке не назвав адреса, поехал к Андрееву.

На улочке, что пролегла в Грузинах, близ присмирившей к этому часу Тишинки, было тихо и спокойно. Приударивший к вечеру мороз разогнал всех празднующихся. Нигде ни души. Только в белесой мгле тускло посвечивали фонари.

Красин, как он это делал обычно, решил миновать нужный дом, квартала два спустя расплатиться с извозчиком и пешком возвратиться

назад.

Но, проезжая мимо, заметил — благо лошадь трусила обычным для московских ваньков похоронным аллюром, — что в квартире неладно. За окном гостиной люди сновали взад и вперед, а не сидели, как это было днем, за столом, у самовара, слушая оратора.

Диван с высокой спинкой, стоявший вдоль противоположной окнам стены, был сдвинут наискось. На верхней его полочке горела свеча в тонком и длинном подсвечнике.

Через приотворенную калитку было видно, как во дворе, обычно пустынном, промелькнуло несколько молодцов.

Все это было странно. В высшей мере странно.

И непонятно.

В таких случаях самое правильное — руководствоваться стародедовским правилом; береженого и бог бережет.

Он решил не заходить к Андрееву.

Проехав квартала три, отпустил извозчика и не спеша пешком направился к брату ночевать.

Рано утром — еще не было восьми — его разбудил звонок, резкий и настойчивый. Человек, пришедший от Александры Михайловны, сообщил, все, кто был накануне у нее на квартире, арестованы. Жандармы отправили в Таганку даже ее мужа — знаменитого на всю Россию Леонида Андреева...

Такого партия еще не знала. Одним ударом был выведен из строя весь Центральный Комитет. За исключением трех человек — Красина, Любимова, бывшего в Смоленске, и Постоловского, находившегося на Кавказе.

Полный провал. Неслыханный.

Красин шел бульваром, по-утреннему опрятным и прибранным. Шел неторопливо, походкой фланера, вышедшего с утра подышать свежим воздухом. И лишь время от времени, не чаще обычного, проверял — нет ли слежки?

Он думал. Неотвязно и напряженно: И глубокая складка, прочертив переносье, залегла меж сдвинутых его бровей.

Провал, как ни тяжел и ни сокрушителен, всего-навсего одна из неизбежностей жизни в подполье. Пока мы в подполье, работа наша подобна работе паука. Его ткань систематически рвет и портит рука злого мальчишки. Не брюзжать и не терять бодрости от неудач, а ткать и ткать эту ткань, сколько бы ее ни обрывали. Несокрушимое долготерпение — вот что нужно сейчас. Ибо впереди непочатый край дел, и новых, только что

внезапно свалившихся на голову, и прежних, недоделанных...

Немедленно восстановить связь со всеми местными организациями.

...Разыскать уцелевших членов ЦК.

...Решить вопрос о кооптации новых членов.

...Подготовиться к съезду.

...Выборы делегатов.

...Финансы.

...И т. д. и т. п.

В девять утра он уже стоял у подъезда морозовского особняка на Спиридоновке.

На звонок вышел лакей, заспанный и удивленный. Красин назвал себя и попросил немедленно доложить хозяйину. На электрической станции форс-мажор. Вышла из строя турбина.

Известие, принесенное Красиным, огорошило Савву. Особенно арест Андреева. Они были довольно тесно связаны по Художественному театру и знакомы домами.

Снаряд разорвался поблизости, что называется, в двух шагах. А если еще жандармы ухватят главного электрического инженера и он угодит в тюрьму, что больше всего вероятно...

Савве стало не по себе.

Этим поспешил воспользоваться Красин.

— Вы должны, — предложил он, — либо от сегодняшнего, а еще лучше от вчерашнего числа дать мне приказ о немедленном срочном выезде в Баден на фабрику "Вроун Вовери" для личной приемки частей новой, весьма важной и ответственной для нашей центральной станции турбины. Это, кстати, даст вам объяснение моего внезапного отъезда из Орехова для вашего правления и для-всего персонала. Савва, подумав, согласился.

К вечеру Красин уже был вдали от Москвы, где-то за Вязьмой, по дороге в Смоленск. Ехал он третьим классом, в битком набитом душном вагоне, пропахшем дегтем, махоркой и чесноком.

Еще вчера всеми чтимый инженер, промышленный деятель, один из столпов общества, ныне стал человеком, живущим на птичьих правах, изгоем, которого мог задержать любой будочник или станционный жандарм, установив при случайной проверке документов, что паспорт его фальшивый. Красин перешел на нелегальное положение. После двухмесячных скитаний по югу России (налаживание оборванных провалом связей, подготовка съезда, агитация), побывав в Москве и Петербурге, он под чужим именем пересек границу и прибыл в уездный, по

его выражению, город Женеву. А оттуда вместе с Лениным и другими большевиками отправился в Англию.

Здесь в Лондоне 12 апреля 1905 года начал свою работу III съезд РСДРП.

Открыл его Миха Цхакая (Барсов), старейший делегат. Ему было 50 лет, Председателем съезда был избран Ленин, вице-председателями — Богданов (Максимов) и Красин (Винтер).

Меньшевики участвовать в работе съезда отказались. Обозвав его «вакханалией» и "свозом делегатов", они собрались в Женеве на свою конференцию. Два съезда — две партии.

III партийный съезд осудил раскольников и рассмотрел главные вопросы все разраставшейся революции: вооруженное восстание, отношение к политике правительства накануне переворота, о Временном революционном правительстве, отношение к крестьянскому движению и другие.

Руководил съездом Ленин. Он сделал ряд докладов, неоднократно выступал с речами, подготовил основные резолюции.

Даше тогда, когда докладчиком был не он, а другой член съезда, Ленин незримо стоял за его спиной, помогая, направляя, руководя.

Один из докладов о вооруженном восстании был поручен Луначарскому (Воинову). Как свидетельствует он сам, Ленин заранее вручил ему основные тезисы и потребовал написать полный текст, а затем представить на предварительный просмотр,

Луначарский так и сделал. Ночью накануне заседания Владимир Ильич прочитал доклад, кое в чем подправил и вернул докладчику.

А на другой день Луначарский произнес с трибуны слова, точно определяющие место и роль большевиков в революционном сражении.

— Кто призывает к бою — должен уметь идти вперед, и не как героический волонтер только, а как руководитель.

Эту мысль развил и конкретизировал Красин, сказав в своем выступлении:

— Главная задача — пропаганда идеи восстания, призыв к самовооружению масс, вооружение и обучение пролетариата. Организация боевых дружин может сыграть большую роль... Мало заготовить бомбы и оружие, надо уметь владеть оружием.

На съезде Красин шел за Лениным, твердо и непоколебимо. Все, что было прежде, — шатания, сомнения, противоборство, — он оставил позади. Раз навсегда, безвозвратно. Так бросают устарелый, отягощающий скарб.

Ледок настороженности, каким поначалу Ленин встретил Красина (не надует ли?), постепенно таял.

"Примиренцев, — пишет Н. К. Крупская, — на съезде крыли почему зря. Один из них — Любимов (Марк) был чернец тучи", а Красин "молча слушал, подперев щеку рукой... он на нападки не отвечал, а перешел к практическим вопросам. И все как-то чувствовали, что действительно теперь самое главное — практическая работа, что теперь нельзя терять ни минуты, что надвигаются решающие события".

Когда Красин приступил к отчетному докладу ЦК, вспоминает делегат съезда М. Лядов, "я внимательно наблюдал за Ильичем. Я видел, как его настороженное, недоверчивое выражение лица все более и более смягчалось, успокаивалось и прояснялось. Наконец Ильич не выдержал, подошел к нам с председательского места: "А все-таки большая умница наш «Никитич», хорошо, что он с нами, ловко, очень ловко он построил свой доклад, и трепать его особенно не придется".

Выступая по докладу Красина, Ленин отметил, что доклад о деятельности ЦК касался больше техники, чем политики. И вместе с тем признал:

"С 1900 г. я слежу за деятельностью центрального аппарата партии и должен констатировать гигантский прогресс. Если он нас не удовлетворяет, так ведь полное удовлетворение наступит разве при диктатуре пролетариата, да и то едва ли!.. Главная его ошибка — это борьба против созыва съезда, но... — прибавил Владимир Ильич, — больше радости об одном грешнике раскаявшемся, чем о 99 праведниках".^[7]

Тем самым Ленин подвел черту под недавними распрями в рядах большевиков.

В борьбе за коренные принципы Ленин был крут, беспощаден, непримирим. Всегда.

Но никогда не был злопамятен. Он был слишком крупным, чтобы размениваться на это мелкое чувство, и былую борьбу с идейными противниками никогда не превращал в последующую расправу.

Когда съезд обсуждал ленинский доклад об участии социал-демократии во Временном революционном правительстве, Красин выступил в прениях. Речь его была конкретной, деловой. Владимир Ильич целиком солидаризировался с ней.

— Важность цели и борьбы, — говорил он, — указана товарищем Зиминым очень правильно, и я всецело присоединяюсь к нему, Нельзя бороться, не рассчитывая занять пункт, за который борешься...

Выступал Красин и в прениях по Уставу партии, — Революционно

настроенные пролетарии, обращаясь к съезду, писали:

"Мы просим съезд провести § 1 Устава Ленина, а мартовскую формулировку закупорить в гроб".

Выражая их волю, III съезд принял первый параграф Устава в ленинской формулировке, отвергнутой в свое время II съездом.

И за границей Красин оставался неразлучным с теми, с кем работал в российском подполье. Перед мысленным взором его *то* и дело вставал далекий Баку, пустынная улочка в татарском районе, печатня, озаренная мерцающим светом спирто-калильной лампы.

Или Москва. Невзрачный дом на Лесной, неподалеку от обнесенных глухими стенами Бутырок.

Здесь, в магазинчике, торговавшем кавказскими товарами — кахетинским вином, сыром сулугуни, кишмишем, — стоял за прилавком товарищ Семен, отозванный в Москву и сдавший бакинскую типографию Авелю Енукидзе. А в подземелье, в подпольной типографии, набирали и печатали нелегальную литературу приехавшие вместе с Семеном бакинцы Тодрия, Стуруа и другие.

К ним, скромным и беззаветным героям, обратился Красин с трибуны съезда слова признательности и товарищеского приветия:

— ЦК считал бы нарушением своего долга по отношению к группе в высшей степени ценных и преданных делу работников не отметить здесь того, что ими сделано для партии.

Я имею в виду не каких-либо выдающихся, всем известных деятелей партии, литераторов или вождей; я имею в виду тех скромных товарищей, энергией, умением, самоотверженным трудом которых создана и работает вот уже пятый год главная типография ЦК в России.

По предложению Красина-была принята следующая резолюция:

"III съезд РСДРП, выслушав доклад ЦК о постановке партийных типографий в России и принимая во внимание, в частности, деятельность товарищей, работающих в главной типографии ЦК в России с 1901 г., шлет свой привет названным товарищам и выражает надежду в недалеком будущем видеть их в числе тех товарищей, которые войдут в первую открытую легальную типографию РСДРП".

III съезд избрал большевистский ЦК во главе с Лениным. В его состав по предложению Владимира Ильича вошел и Красин.

27 апреля съезд закрылся. Делегаты покидали Лондон, вооруженные программой борьбы за победу буржуазно-демократической, народной революции и перерастание ее в революцию социалистическую.

Красин, переправившись через Ла-Манш, поехал не домой, а на юг

Франции, в курортное местечко Виши. Здесь жил Савва Морозов.

Ехал он к своему бывшему патрону, конечно же, за деньгами. Доходы партии не соответствовали не только смете, но и расходам. Расходы же, судя по обстановке, складывавшейся в России, обещали что ни день расти. А кому, как не Красину, которого Ленин назвал на заседании ЦК "ответственный техник, финансист и транспортер" партии, заботиться о добывании средств?

Морозов, увидев его, обрадовался до чрезвычайности. Но ненадолго. Вскоре взгляд его потух, с некогда круглого, а теперь

"Ленинский сборник" V, стр. 279.

до неузнаваемости обострившегося лица сошел вспыхнувший было румянец.

Савва был мрачен и подавлен. Во всем его поведении сквозила тревога.

Денег он дал, но не очень много. Все, что имел при себе. Родные в конце концов оттерли его от дел, и Савва большими капиталами не располагал.

Расстались они грустно, с тоской и печалью.

День спустя Красин в поезде прочитал газетное объявление о том, что русский миллионер мосье Морозофф покончил с собой выстрелом из револьвера.

Он оставил на имя М. Ф. Андреевой страховой полис на сто тысяч рублей. Большая часть этих денег — шестьдесят тысяч — предназначалась партии большевиков.

"Когда я, — писал Горький, — прочитал телеграмму о его смерти и пережил час острой боли, я невольно подумал, что из угла, в который условия затискали этого человека, был только один выход — в смерть. Он был недостаточно силен для того, чтобы уйти в дело революции, но он шел путем, опасным для людей его семьи и его круга".

VIII

Матушка Русь встретила Красина упоенным щелканьем соловьев, лихим свистом казачьей нагайки, разгуливавшей по спинам рабочих-демонстрантов, буйным благоуханием сирени, неудержимо цветущей в палисадниках, у домов с резными наличниками, и неотложным делом, к которому нужно было немедленно приступить.

Оно касалось чекистов, арестованных на квартире Андреева и все ещё сидевших в Таганке.

Центральный Комитет признал необходимым освободить их. Красину было поручено разработать план освобождения и провести его в жизнь.

От жены Носкова, часто получавшей свидания с мужем, он узнал, что провал обошел его стороной. Из всей передряги Красин вышел незапятнанным. Ни на одном допросе жандармы не называли ни клички его, ни тем более фамилии.

Следовательно, можно было без опаски переходить на легальные рельсы.

Что он и сделал, вновь превратившись в инженера Красина, высокоценного и желанного.

Без особого труда он подыскал солидное место, обеспечивающее и вес и положение в свете, — стал заведующим кабельной сетью Электрического общества 1886 года.

Служба была в Петербурге, и он выговорил условие — приступить к работе лишь в конце лета. А пока что оставался в Москве, живя то на даче у брата Германа, то у сестры Софьи, вышедшей замуж за промышленника М. А... Лушников (эти квартиры не раз служили явками для большевиков).

В один из дней, отведенных для свиданий. Носков был несказанно удивлен. Надзиратель сообщил, что нынче его посетит не жена, а близкий родственник.

Из родных у Носкова был только дядюшка, мелкий иваново-вознесенский фабрикант, который не чаял избавиться от племянника, без конца попадавшего в неприятные переплеты, а то и в лапы полицейских и жандармов.

В свое время старик, обычно прижимистый, раскошелился и сунул беспокойному родственнику какие-то гроши, только бы поскорее убирался с глаз долой, за границу. Куда Носков и прибыл с одним лишь тощим узелком в руках.

Вряд ли дядюшка стал бы тревожить себя поездной из Иваново-Вознесенска в Москву. Да еще, избави бог, посещением тюрьмы.

Если бы он узнал, что любимый племянник засел всерьез и надолго, он с облегчением вздохнул бы и философически умозаключил:

— Пускай сидит, целее будет.

Удивление Носкова сменилось оторопью, когда он вошел в комнату для свиданий.

И действительно, оторопеть было с чего. За металлическими сетками, отделявшими посетителей от арестантов, стоял Красин, взволнованный, смеющийся, с глазами, влажными от слез.

Впрочем, отчаянно смелый визит был предпринят не только для того, чтобы повидаться со старым другом. Красин явился в тюрьму, чтобы сориентироваться на местности, прежде чем приступить к составлению плана кампании.

Как удалось выяснить из иносказательного разговора с Носковым (беседа касалась только бытовых тем, с особенным упором на проблемы санитарии и гигиены), в "родных пенатах" со времен красинской отсидки мало что переменялось. Баня была все той же и находилась на том же самом месте, на краю территории, у самой тюремной стены. Водили в нее заключенных скопом, в один и тот же день недели, установленный раз и навсегда.

Из всех порядков, утвержденных на земле, тюремный, пожалуй, самый устойчивый. Он прочен и нерушим, как литургическая служба католиков.

Вернувшись со свидания, Красин решил:

вести под баню подкоп;

начать с пустыря, прилегающего к тюремной стене со стороны Москвы-реки;

когда подземный ход будет готов, освободить товарищей в один из банных дней.

Пустырь был арендован. Его огородил забор, который вскоре украсила вывеска "Анонимное общество — производство бетона".

Главным директором-распорядителем фирмы стал Красин, заведующим работами — Трифон Енукидзе (Семен), приказчиком — Михаил Кедров, помощником его — Павел Грожан.

На пустыре появились кучи бетона, песка, трубы, носилки, арматура, начал возводиться большой крытый сарай. Отсюда и должен был взять свое начало подземный ход.

К осени, когда сарай был закончен, приступили к земляным работам.

Но землекопов обогнала революция, освободив большевиков и других

политических заключенных.

Революция развивалась бурно, нарастая с каждым месяцем и днем.

В октябре грянула Всероссийская политическая стачка.

Ее начали железнодорожники. Их дружно поддержали пролетарии заводов и фабрик.

Газеты того времени печатали телеграммы:

"Москва, 7 октября. В депо Московско-Казанской дороги из всех паровозов выпущены пары... До Москвы ни один поезд не дошел?".

"Москва, 11 октября. Министр кн. Хилков, уговаривая машинистов стать на работы, заявил, что он, как старый машинист, несмотря на свои 60 лет, готов первый стать на паровоз и уверен, что за ним пойдут другие. Машинисты заявили, что они не имеют ничего против того, чтобы он проехался, но сами не считают себя вправе встать на работу, пока не будут удовлетворены политические требования, которых добивается вся Россия".

"Екатеринослав, 11 октября. Город в темноте. Магазины закрыты. Улицы безлюдны. Изредка проходят патрули солдат".

"Харьков, 13 октября. Вечером движение студентов и рабочих разрослось... Толпа рассеялась по главным улицам. При столкновении с войсками оказались убитые и раненые. С 11 октября вся общественная жизнь остановлена, учебные заведения, заводы, торговые заведения, банки, городские, земские и многие правительственные учреждения закрылись. Телеграфные и телефонные провода прерваны. В 4 часа прием телеграмм прекращен. Университет и Соборная площадь забаррикадированы и увешаны красными флагами".

— Если это не революция, то скажите, как это называется? — с тревогой и тоской спрашивала реакционная газета "Новое время".

На сей вопрос царское правительство ответило недвусмысленно — был издан печально знаменитый приказ войскам. Он требовал:

"Патронов не жалеть. Холостых залпов не давать".

И подпись:

"Свиты его императорского величества генерал-майор
Трепов".

А несколькими днями позже напуганный царь издал манифест. То была тактическая уловка, лживая и лицемерная. Манифест состоял из широкообещательных обещаний гражданских свобод — неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов, созыва Государственной думы, всеобщих выборов.

Истинную цену царевых посулов народ узнал очень скоро. На другой же день после издания манифеста.

Утром 18 октября кавалерийский эскадрон, которым командовал корнет Фролов, врезался в манифестацию у Технологического института и многих манифестантов изрубил. В числе раненых был профессор Е. В. Тарле.

Днем солдаты полковника Мина расстреляли толпу на Гороховой улице.

Вечером войска вели огонь по рабочим за Нарвской заставой.

Треповский террор, как чума, расползлся по стране. Только за неделю, с 18 по 24 октября, в 101 городе было убито 3 тысячи и ранено свыше 10 тысяч человек.

Но усилия реакции были тщетны. Революция рвалась вперед. В Питере и других городах были созданы Советы рабочих депутатов, массовая политическая организация пролетариата, орган вооруженного восстания, зародыш народной власти.

Красин был избран в Петербургский Совет: он стал членом его большевистской фракции.

По свидетельству Д. Постоловского, одного из членов ЦК, избранного III съездом, Красин проявлял к Совету большой интерес. Он видел в нем беспартийный рабочий парламент, организацию революционную и классовую, которой принадлежит большое будущее. В отличие от некоторых товарищей, считавших Совет организацией непартийной и потому относившихся к ней сдержанно и даже отрицательно, Красин полагал, что большевики должны участвовать в Советах и завоевать в них большинство.

18 октября под огромным красным знаменем Совета на Невский вышли тысячи демонстрантов. По пути они срывали с вывешенных по случаю манифеста трехцветных государственных флагов белые и синие полосы и оставляли только красные.

Петербург алел кумачом.

"Веселое было время! — восклицает Красин. — Самая интенсивная работа по организации партии, создание технического аппарата, широчайшая пропаганда и агитация в массах... активная подготовка к вооруженному восстанию, целый ряд конспиративных предприятий и технических дел — все это целиком заполняло время, а тут еще надо было делать очередную легальную работу, прокладывая по улицам Петербурга десятки верст кабеля, модернизировать электрическую сеть переходом на высокое напряжение, строить трансформаторные подстанции, вести обширные заводские электрические установки".

Сотни дел, легальных и нелегальных, конспиративных и не

конспиративных, неотложных и дальнеприцельных, нахлынули на Красина, Другой захлебнулся бы в их бурном водовороте. А он чувствовал себя легко и свободно, как первоклассный пловец (каким он и был в действительности) на водной глади. Дела, малые ли, большие, — впрочем, он никогда не разделял их: всякое дело должно быть сделано, и сделано хорошо, — составляли его стихию. Будучи деловым человеком, он требовал деловитости от других. И беспощадно искоренял интеллигентскую небрежность, эту, как он выражался, "отрыжку нигилизма".

Ему претило высокомерное отношение к мелочам, каждая из которых — звено общей цепи, составляющей огромное дело, которому он служил. Прорвись одно звеньшко, и цепь рассыплется. Изволь skleпывай заново.

Перепутанный по небрежности адрес, ошибочно указанная явка, перевранный пароль — все эти, казалось бы, мелочи чреватые крупными последствиями.

Для него не существовало незначительного. Все, что он делал, было важным. И исполнялось на совесть.

Через его небольшой служебный кабинет на улице Гоголя почти нескончаемой чередой шли люди. Инженеры и подпольщики, адвокаты и промышленники, монтеры и боевики, предприниматели и цекисты. Единственное, что он требовал от нелегальных посетителей, быть почище одетыми, чтобы не разжигать любопытства охранки, и без того не в меру любопытной.

Каждому давался арифметически точный ответ на вопрос, с которым тот приходил. Либо рекомендовалось решение, продуманное досконально и до конца, с учетом малейшей детали.

Вано Стуруа, приехавшему в Питер по делам подпольной типографии, он не позабыл посоветовать вести себя с опаской и осторожностью в номерах, где тот остановился. Номера кишели осведомителями.

А когда Вано, который сам был не промах, объяснил, что прибыл в столицу с чемоданом кавказских вин и удостоверением представителя винодельческой фирмы общества «Мелани», он смущенно извинился:

— Прости, товарищ Вано, мою излишнюю назидательность. Оказывается, ты уже подковался насчет втирания очков, агентам охранки.

И, обнимая на прощание старого друга, радостно хохотал: все же иной раз приятно и впросак попасть.

Он встречается с присяжным поверенным П. Н. Маляптовичем, который был адвокатом М. Ф. Андреевой. Вместе с ним часами просиживает над сводом законов в поисках путей получения выморочных

страховых денег Морозова.

Вдова Саввы делает все, чтобы объявить недействительной предсмертную волю мужа. Но терпит крах. Благодаря хлопотам Красина партия получает эти деньги.

Он бомбит телеграммами Марию Федоровну Андрееву:

"Квартирой, типографией налаживается. Тиражом сорок тысяч свободно справимся. Необходимо внести залог рентой 5000. Только переводы, по возможности телеграфом. Жду доверенность!"

По его предложению Андреева становится издательницей первой легальной большевистской газеты "Новая жизнь". Кресло ответственного редактора (как тогда говорили, зиц-редактора, то есть редактора, предназначенного для отсидки) занял за солидное вознаграждение поэт Минский. Фактически же редактируют газету большевики А. А. Богданов, П. П. Румянцев и В. А. Десницкий (Строев), а направляет всю работу В. И. Ленин.

В поисках средств для "Новой жизни" Красин обратился за займом к доктору И. Г. Симонову, сыну богатого предпринимателя. Тот раздобыл 10 тысяч рублей, а Красин покрыл их векселем, подписанным Горьким.

Когда в Петербург нелегально и под чужим именем прибыл из-за границы Ленин, Никитич определил его на квартиру к И. Г. Симонову, где Владимир Ильич и прожил некоторое время.

Не ограничиваясь газетой, Красин открывает легальную типографию товарищества «Дело», выпускающую большевистские издания. Официальными владельцами ее считаются инженер М. И. Вруснев и С. Б. Лушникова, сестра Красина.

Ему кажется, что, наконец, пришло время свершиться пророчеству III съезда и что товарищи-бакинцы могут войти "в первую открытую легальную типографию РСДРП". Он вызывает из Баку Авеля Енукидзе.

Приехав в Петербург, Енукидзе первым делом направляется на улицу Гоголя, в Электрическое общество 1886 года, и получает от Красина явку: Садовая, квартира инженера Бруснева. Когда он пришел к Брусневу, тут уже были Красин, Богданов, Постоловский, другие члены ЦК, руководители партии. Но не они привлекли внимание Енукидзе. Он не сводил глаз с человека, который сразу же, едва он вошел, встретил его как старого знакомого, хотя виделись они впервые. — А, это и есть товарищ Апель! — воскликнул он. То был Ленин.

От Ильича исходило столько тепла, что Енукидзе высказал все, что у него наболело. -

Легализовать бакинскую типографию нельзя. Лучше оставаться в

тяжком подполье, лучше даже временно сидеть без дела, чем ликвидировать типографию.

Выслушав его, Ленин стал высмеивать тех, кто обольщается октябрьскими "свободами".

Но большинством голосов членов ЦК было решено типографию ликвидировать, а людей перевезти в Петербург для работы в большевистской легальной типографии. Машину же упаковать и отправить — в Питер на предъявителя.

Некоторое время спустя бакинская «Нина» прибыла в Петербург вместе с наборщиками и печатниками. Семен стал техническим руководителем "Дела".

Как показала жизнь, выход «Нины» из подполья был преждевременным, а решение о ее легализации — ошибочным. Те, кем пользовались как легальным прикрытием, доставляли немало хлопот. Минский и другие либеральные сотрудники "Новой жизни" получали от Красина плату за страх. Но не хотели испытывать ужаса. А при чтении каждого нового номера Минского охватывал ужас. Соглашаясь стать ответственным редактором основанной Красиным и Горьким газеты, он представлял ее неким мирным органом либерального толка, слегка пощипывающим правительство, что выглядело в те времена очень милым и, главное, модным.

Вместо этого "Новая жизнь" стала боевым органом большевиков, партийным рупором, с помощью которого Ленин разговаривал с революционными массами.

Минский попытался совершить в редакции "дворцовый переворот", рассчитывая при этом опереться на наиболее «культурных» большевиков. К таковым он относил Луначарского.

В ответ Луначарский лишь презрительно пожал плечами.

Так что по утрам газетчики продолжали звонко выкрикивать:

— "Новая жизнь"! Покупайте и читайте газету "Новая жизнь"!

Ее покупали. И ее читали. В ней были статьи Ленина — боевые указания большевикам в их повседневной работе.

Не многим лучше Минского вел себя другой либерал, книгоиздатель К. П. Пятницкий. В один из ноябрьских вечеров на Фонтанке, на квартире Е. Ф. Крит, сестры Андреевой, собрались Красин, Горький, Румянцев и Пятницкий. Был здесь и Ленин, но он, сидя в углу, хмурился, говорил мало, сдержанно и вскоре ушел.

Красин долго убеждал Пятницкого издавать в «Знании» партийную литературу. Тот отнекивался, ссылаясь на то, что выпуск большевистских

брошюр будет стоить издательству жизни.

Как ни бился Красин, пытаясь прельстить Пятницкого коммерческой выгодой, как ни горячился и волновался Горький, взывая к святому долгу перед революцией, издатель остался непреклонным. Так ни с чем и разошлись.

Немалую долю забот по-прежнему доставляла добыча денег. Кому, как не "партийному министру финансов", было печься о них? Если прежде 75 тысяч в год хватало партии лишь в обрез, то теперь эта сумма выглядела жалкой и мизерной. Локомотив, все убыстряя бег, требовал горючего.

И Красин раздобывал его.

Руководствуясь требованием, сформулированным им еще на III съезде: "Необходимо, чтобы партия жила на свои средства, а не на подачки буржуазии", — он усилил контроль над местными комитетами. Жестче и тверже спрашивал с ниж. Добивался, чтобы регулярные взносы от рабочих шли не только на местные нужды, но и вливались в общепартийную кассу.

Он пополнял ее и за счет других, порой неожиданных и необычных поступлений.

Однажды к нему на квартиру на Литейном проспекте явилась девушка. Тоненькая, хрупкая, почти подросток, она краснела и не знала, куда деть беспокойные руки. Только сосредоточенно-пристальный взгляд темных, глубоких глаз выдавал решительность я волю.

Девушка назвала себя — Кассесинова Фаня. Прислал ее один из подпольщиков.

Фане исполнилось 17 лет, и она задумала стать большевичкой. Но столкнулась с серьезным препятствием, заключалось оно в том, что Фаня владела богатым имением, доставшимся ей по наследству от родителей. Богачи, считала будущая революционерка, не могут быть в партии. И она решила отдать партии все, что имела.

Но как это сделать? Распоряжаться своим состоянием она не была вольна. Решали за нее опекуны — помещики, совсем не склонные симпатизировать революции и большевикам.

Выход был только один — замужество. После брака опека перешла бы к мужу. С его разрешения имение могло быть продано, а деньги переданы кому угодно.

Вступать в настоящий брак Фаня не хотела, опасаясь, что семья станет помехой будущей революционной деятельности. Следовательно, полагала она, брак должен быть фиктивным. Красин внимательно выслушал Фаню Черненькую (такова была впоследствии ее партийная кличка). Он не стал тешить ее ложными надеждами, а со всей суровостью и беспощадностью

правды нарисовал картину будущего.

Впереди не розы, а тернии. Избалованная жизнью, выросшая в богатстве и комфорте девочка станет нищей, гонимой, бесправной. Вместо радостей — лишения, вместо полной свободы — беспредельное подчинение чужой воле.

"Я, — вспоминает Фаня Черненькая, — забыла, что со мной говорит член ЦК, со мной говорил отец-товарищ".

Только убедившись, что намерения девушки тверды, Красин решил: — Хорошо. Партия деньги берет.

После долгих и тщательных поисков был, наконец, найден будущий «муж», который полностью удовлетворил опекунов.

Фиктивный брак состоялся. Деньги были переданы в партийную кассу.

Другой случай, схожий с первым, произошел в Москве. На Пресне была мебельная фабрика Николая Шмита, внука Викулы Морозова.

Юноша пылкий и страстный, он был преисполнен любви к людям и беспощадно строг к себе. Мучительно переживая свое положение богача-фабриканта, наследника дедовых миллионов, до боли в сердце тяготясь им, он мечтал отдать жизнь народу.

В отличие от многих людей его круга, Шмит не произносил пышных фраз о "страждущем брате". Он действовал. Мужественно и решительно.

Николай Павлович порвал со своим классом и бесповоротно связал личную судьбу с судьбой партии большевиков.

На деньги Шмита была вооружена рабочая боевая дружина. Его фабрика стала одним из крупных центров революционной Пресни.

Шмит был схвачен и брошен в тюрьму. Царские палачи мучили, истязали и в конце концов умертвили его. Однако перед смертью он все же сумел передать на волю, что завещает свое состояние большевикам.

Но тут встала все та же проблема: как получить завещанное?

Наследницей Николая Павловича считалась его сестра Екатерина. Будучи несовершеннолетней, она не могла распоряжаться полученным капиталом.

Красин решил прибегнуть к фиктивному браку. По его предложению Александр Михайлович Игнатьев, боевик, тесно связанный с партией, и вместе с тем человек с положением в обществе, дворянин, сын генерала, действительного статского советника, отправился в Париж и обвенчался с Екатериной Шмит.

Став опекуном несовершеннолетней «супруги», он приобрел все права на ее капитал.

Предсмертная воля Николая Шмита была выполнена. Партия

большевиков получила завещанное ей наследство.

В пестром калейдоскопе стремительно перемежающихся дел было одно, которому Красин отдавался с особым упоением — руководство Боевой технической группой. Созданная вскоре после Кровавого воскресенья Петербургским комитетом, она после III съезда перешла в ведение ЦК.

По предложению Ленина Боевую техническую группу возглавил Красин.

Решение съезда — "принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата, а также к выработке плана вооруженного восстания и непосредственного руководства таковым, создавая для этого, по мере надобности, особые группы из партийных работников" — с ленинской последовательностью проводилось в жизнь.

Боевики были людьми неслыханного мужества, стойкости, выдержки. Иначе не могло быть. То, что выпадало на их долю, было по плечу только тому, кто обладает этими свойствами.

Чтобы доставить оружие рабочим-дружинникам, надо было нести его на себе. Среди бела дня. По улицам, где полно городских и шпииков. Идти, не скрываясь и не таясь, не спотыкаясь и не пригибаясь от тяжести. Обычной походкой обычного прохожего.

А на тебе не меньше пуда. Они под пальто, застегнутым наглухо. Четыре винтовки, разобранные на части, подвешенные лямками полотенец к плечам.

Путь не близок — несколько верст по городу, из конца в конец. С каждым кварталом лямки все сильнее оттягивают плечи.

Кружится голова, ноет шея, саднит тело, Но ни присесть, ни передохнуть.

Груз позволяет только идти либо стоять.

Когда уже совсем не вмоготу, если вблизи нет никого подозрительного, можно прислониться к забору, с минуту постоять, выждать, пока перестанет кружиться голова, и снова в путь.

Вперед! Вперед.' Вопреки боли и усталости. Обычным шагом обычного прохожего. Не возбуждая подозрений, сливаясь с уличной толпой.

Еще сложнее и опаснее была транспортировка бикфордова шнура. Боевик обматывал им свое тело и превращался в бомбу.

Всю дорогу — сутки, а то и двое — надо было сидеть в поезде, не прикасаясь к спинке вагонной скамьи. Не то невзначай взорвешься от толчка. Мало того, что сам разлетишься на куски, груз, которого ждут, не

будет доставлен по назначению. При перевозке динамита приходилось то и дело выходить на площадку вагона и большую часть пути проводить на морозе. Удушливо едкий запах динамита, особенно при испарении в теплом помещении, мог провалить всю операцию.

Чтобы ужиться с великаном, надо быть ему под стать. Чтобы распорядиться его судьбой, надо возвышаться над ним. Хотя бы на полвершка.

"Боевики, техники любили Красина, как никого. Был он человеком отчаянной смелости, придавал всей работе широкий размах, умел увлечь людей, проявляя всегда самые смелые планы, и потому, что они были смелы, они часто удавались*.

Так пишет Н. К. Крупская.

Н. Е. Буренин, один из активнейших членов Боевой технической группы, дополняет ее:

"Мы, организаторы Боевой технической группы, работавшие и до встречи с Леонидом Борисовичем в разных отраслях революционной работы — кто в агитации, пропаганде, кто в технике, только встретив его, почувствовали, что в нашу кровь влилась живая струя настоящего революционного духа, и мы безоговорочно отдали себя под его руководство".

Он держал в руках множество нитей. Их не было видно, но они надежнее стальных проводов соединяли с самыми разными участками боевого подполья.

Его служебный кабинет с письменным столом, заставленным непрерывно звонящими телефонами, напоминал командный пункт военачальника. С той лишь разницей, что приказания отдавались не в открытую.

Отсюда линии связи тянулись к окраинным домишкам на Охте, где в тщательно законспирированных мастерских тысячами изготовлялись патроны, бомбы, взрыватели;

к окруженным высокими соснами одиноким дачам Финляндии, где располагались подпольные склады оружия;

в чистенький, аккуратный Гельсингфорс, где на квартире В. М. Смирнова останавливались на пути из-за границы люди, чьи тела были увиты бикфордовым шнуром;

в тельсингфорсскую университетскую библиотеку — в ней работал Смирнов, — куда поступала из-за рубежа зашифрованная партийная переписка;

к фабричным окраинам и рабочим пригородам, где в глухих ярах и

оврагах, на пустырях и кладбищах безлунными ночами боевики обучали рабочих владению оружием} меткой стрельбе, тактике уличного боя и баррикадной борьбе;

к барским особнякам Питера, где на конспиративных явках боевики получали задания и докладывали о выполнении их;

за границу, где покупались оружие и взрывчатка для транспортировки в Россию;

к седым от бурунов водам Балтики, где слепой ночной по рой, в шторм и злую непогоду сестрорецкие рабочие Н. Емельяное и И. Анисимов в утлых рыбацких лодках, обходя пограничные катера, переправляли в Россию оружие и динамит в техническую лабораторию военно-морского ведомства, где под самым носом царских адмиралов и генералов трудились неуловимые «Альфа» и «Омега», химики, создававшие по заданию Никитича сильнодействующее и безопасное при хранении! взрывчатое вещество, безопасный запал и негромоздкую, но мощную бомбу, годную для уличных боев;

к дальним лесным полянам, где самодельные бомбы опробовались.

Один из таких типов был создан самим Красиным. Он не только сконструировал бомбу, но и сам испытывал ее, — метнув, следил с секундомером в руках за временем взрыва, а потом бегал измерять радиус поражения.

Ручные бомбы предназначались для уличных боев на баррикадах, для взрыва кабелей и железнодорожных путей. Применение их для индивидуального террора категорически исключалось.

Бомба становилась необходимой принадлежностью народного вооружения.

Разными путями ее доставляли из разных мест. Рижский поезд подходил к Петербургу. В одном из вагонов ехала дама. Молодая, миловидная.

Небольшая поклажа ее — саквояж и корзиночка — лежала на полке над дверью в купе.

Когда поезд сбавил ход, подойдя к столичному перрону, попутчик дамы — жандармский офицер, всю дорогу потчевавший приглянувшуюся спутницу конфетами, плодами армейского остроумия и коньяком, — вскочил с места, снял с полки саквояж и корзиночку, слегка поморщившись от неожиданной тяжести ее, и галантно предложил проводить спутницу до дому. Но та, благодарно улыбнувшись, отказалась: ее встречает муж. И действительно, на перроне стоял вальяжный мужчина, который после коротких объятий подхватил корзиночку с саквояжем и затерялся вместе с

женой в вокзальной толпе.-

Ни жандарму, ни кому-либо другому из приехавших или встречавших и в голову не пришло, что «муж» и «жена» видели друг друга первый раз в жизни.

Явочная квартира, куда должны были быть доставлены привезенные из Риги три бомбы — они-то и составляли содержимое тяжелой корзиночки, — оказалась под подозрением, и груз пришлось перехватить на ходу. Н. Буренин привез его к себе домой.

Перекладывая бомбы из корзиночки в ящик письменного стола, он неожиданно обнаружил, что внутри их что-то дребезжит. Осторожно повертев в руках один из снарядов, он убедился, что дребезжание не прекращается.

Оставлять неисправное оружие — значит подвергать дом опасности взрыва.

Буренин взял одну из бомб, положил в карман отцовской шубы и, наняв лихача, повез в военно-морскую техническую лабораторию на исследование к химикам — Альфе и Омеге.

Лихач, с шиком подкативший к подъезду, и роскошная енотовая шуба произвели на часового столь сильное впечатление, что он без звука пропустил богатого барина в лабораторию.

Однако химики по-иному отнеслись к незваному посетителю. Его появление среди бела дня, да еще с бомбой, да еще с неисправной, готовой вот-вот взорваться, было возмутительно неконспиративным.

Альфа и Омега категорически предложили Буренину немедленно убираться прочь и немедленно же уничтожить все три бомбы. На прощанье они пообещали потребовать от Красина отставки недисциплинированного боевика.

Время близилось к вечеру. Как на грех — Буренин был пианистом — в тот вечер предстоял концерт.

Он все же успел вызвать трех боевиков. Двое пришли и взяли каждый по бомбе. Но третий почему-то не прибыл.'

Так что одна бомба по-прежнему лежала на квартире, ожидая уничтожения.

До концерта оставалось не больше получаса. Делать нечего, пришлось облачиться во фрак, надеть лаковые штиблеты и все ту же шубу и выйти из дому.

Карман оттягивала бомба. Как избавиться от нее? Куда деть?

Самое лучшее — утопить в Обводном канале. Как говорится, все концы в воду. Но сверху не швырнешь — взорвется, наделает шуму. Стало

быть, надо спуститься к самой воде. Так Буренин и сделал. Благо поблизости не было людей. На первых же шагах он поскользнулся, упал и покатился по крутому глинистому откосу. Единственное, что Буренин успел сделать, не растерявшись, — выхватил из кармана бомбу и держал ее на весу в протянутой кверху руке.

Почти у самой воды ему удалось другой рукой уцепиться за корневище.

Осторожно, потихоньку сползая, Буренин, наконец, приблизился к воде, опустил в нее бомбу, и она, булькнув, пошла ко дну.

Весь перепачканный глиной, он с трудом, поминутно соскальзывая, на четвереньках выбрался наверх. Конечно, о концерте нечего было и думать.

Думать надо было о другом — о встрече с Красиным. Он не сулила добра.

И действительно, Красин был мрачен, сух и сдержано-гневен. Химики уже успели доложить о том, что произошло Буренин не стал оправдываться. Он повинулся. Искренне чистосердечно. По мере того как он говорил, Никитич Юм чел — повинную голову и меч не сечет.

Когда же Буренин, не таясь, поведал о всех своих злоключениях на Обводном канале, Красин вдруг прыснул и расхохотался.

Грех да беда на кого не живут. Но впредь чтобы подобное не повторялось. В противном случае...

Он умел не только прощать. Он умел и взыскивать.

Химики, строжайшие конспираторы, жесткие поборники дисциплины, когда речь шла о других, становились много покладистее, когда дело касалось их самих.

И Альфа (Л. Пескова) и Омега (М. Скосаревский) изрядно тяготились своим положением. Глубокое подполье, куда загнал их Красин, томило и угнетало химиков. И Пескова и Скосаревский, в прошлом пропагандисты, рвались к более широкой, как они считали, партийной работе — в массы, на заводы и фабрики, на рабочие сходки и демонстрации.

Но Красин был непреклонен. Он требовал одного — полной отрешенности от повседневных партийных дел, абсолютной изоляции от внешнего мира,

— Вас беречь надо, — урезонивал он химиков. — Таких специалистов нет в партии. Да и охранка с такими, как вы, стесняться не станет. Вздержнут, и конец.

И Альфа с Омегой скрепя сердце возвращались в лабораторию — продолжать будничную и неувлекательную, по их мнению, работу.

Они делали ее. Делали честно, добросовестно, самоотверженно.

Однако мысли их находились вдалеке от тихих комнат технической лаборатории военно-морского ведомства. Они были устремлены к рабочим окраинам, туда, где бурлила и клокотала революция.

И вот, воспользовавшись перерывом в работе, они тайком от Красина вырвались на волю и устремились в рабочие кружки.

На втором же занятии Скосаревский был арестован. Хорошо еще, что забрали его не прямо с занятия, а на улице, куда рабочие успели окольными путями вывести своего пропагандиста.

Смятенная и подавленная сидела Пескова у Красина. А он, грозный, озабоченный, мерял комнату быстрыми шагами. И, поглядывая исподлобья на Альфу, выговаривал: — Вы что, сударыня, с веревкой шутить изволите? Все эти хождения в кружки должны быть немедленно прекращены! Слышите? Не-ме-длен-но! И раз и навсегда! — Он круто остановился и призадумался. — А теперь — только бы спасти Омегу...

К счастью, спасти Омегу не пришлось. Через несколько дней он был выпущен на свободу за недостатком улик.

Химики больше ни в чем не перечили Красину. Они деловито и точно исполняли его предписания.

Он послал Омегу в Македонию, и тот некоторое время спустя привез образцы и чертежи болгарских ручных бомб-"македонок". Красин усовершенствовал их конструкцию, и подпольные мастерские и лаборатории стали успешно производить "македонки".

Одна из таких лабораторий находилась в Москве, на Воздвиженке, на квартире Горького. Охрану писателя от бушевавших погромщиков черной сотни и "Союза русского народа" несли по поручению Красина боевые дружинники-кавказцы во главе с артистом грузинской драмы Васо Арабидзе.

В Софии Омега связался по заданию Красина с болгарским инженером Тгофекчиевым, который дал ему замысловато вырезанную половинку визитной карточки, оставив у себя другую половинку ее.

Вернувшись в Петербург, Омега вручил свою часть карточки Красину, а тот отдал Буренину, направляемому за границу за оружием.

В Софии Буренин встретился с Тгофекчиевым. После контрольного сличения частей визитной карточки Тгофекчиев открыл ящики своего письменного стола. Они были забиты образцами оружия. Вскоре оно пошло в Россию.

Через некоторое время Буренин выехал в Париж, где его; уже поджидал Тгофекчиев. С помощью болгарского инженера были закуплены бикфордов шнур и несколько тысяч запалов гремучей ртути. Это были

тонкие медные патроны, на одну треть заполненные гремучей ртутью, остальные две трети патрона предназначались для бикфордова шнура.

От Красина запалы шли в Москву, на баррикады Пресни, где они нужны были позарез.

В разгар декабрьских уличных боев из восставшей Москвы в Питер приехала связная.

Она явилась к Красину.

— Для бомб не хватает запалов гремучей ртути.

Красин выложил на стол сверток: Л — Вот они.

Но так просто запалы не провезешь. Все поезда прочесываются. Пассажиров обыскивают. Пакеты и свертки вскрывают.

А времени в обрез. Московский поезд отходит через несколько часов.

Красин задумался.

Вот что...

Он велел съездить в кондитерскую Жоржа Бормана и купить коробку шоколадных конфет. Ту, что побольше и подороже.

Сбитая с толку, ничего не понимающая девушка все же беспрекословно исполнила все, что он потребовал.

Когда конфеты были принесены, Красин высыпал их на стол, уложил на дне коробки запалы, а сверху прикрыл несколькими рядами конфет.

— Если подойдут с обыском, ешьте конфеты и старайтесь не обнаружить своего смущения, — напутствовал он связную. Запалы благополучно прибыли в Москву. Человек отчаянной смелости, он горой стоял за отчаянно смелые дела. Если только они не были беспочвенным авантюризмом и покоились на крепких опорах серьезной подготовки. Поэтому, когда к нему пришел А. М. Игнатьев и предложил невероятное по своей дерзости предприятие, он, внимательно изучив задумку, кивнул головой — действуйте.

Речь шла о том, чтобы похитить со двора гвардейского флотского экипажа пушку Гочкиса — "бабушку".

Игнатьеву удалось наладить связь с гвардейским экипажем. Трех его матросам — членам партии грозил, как разведка Игнатьев, провал. Дело, которое втайне и исподволь вела против них охранка, подходило к концу. Арест и военно-полевой суд были не за горами. Выход у матросов оставался лишь один — дезертирство и переход на нелегальное положение.

Вот этих-то людей и привлек Игнатьев к исполнению своего замысла.

В один из вечеров матросы заступили в караул. Первый — разводящим, второй — караульным начальником, третий — часовым у пушки.

Ночью к воротам гвардейского экипажа подъехали сани, нагруженные бидонами с молоком.

Караульный начальник пропустил их во двор. Вместе с разводящим и «молочником» он сгрузил бидоны, а затем с помощью присоединившегося к ним часового погрузил в сани пушку.

Через несколько минут «бабушка» покинула двор гвардейского флотского экипажа. Она нашла скрытое пристанище в надежном месте, а матросы перешли на нелегальное положение.

Докладывая обо всем случившемся, Игнатьев предложил со временем, когда час вооруженного восстания пробьет и в

Питере, использовать «бабушку» для стрельбы по Зимнему дворцу.

— Да, — живо согласился с ним Красин, — необходимо будет обстрелять дворец при первых же крупных революционных волнениях. Воображаю, какая начнется паника во дворце, когда опасность появится с той стороны, откуда никак не могла быть предусмотрена.

Через десять с лишним лет выстрел «Авроры» подтвердил правильность его слов.

Красин, всерьез подумывая об обстреле Зимнего, не прожектерствовал. События нарастали. Москва щетинилась баррикадами. В ней бушевало вооруженное восстание. Пролетарии Пресни, Замоскворечья, Хамовников, Сокольников, Лефортова сражались с полицией и царскими войсками.

В разгар революционных боев в финском центре металлообрабатывающей промышленности Таммерфорсе работала большевистская партийная конференция. Народный дом, в котором она заседала, охранялся вооруженными отрядами финских рабочих, создавших свою Красную гвардию.

Настроение делегатов было боевым. В перерывах между заседаниями они учились стрелять.

Несмотря на трескучие морозы, улицы Таммерфорса заполняла толпа, восторженно приветствовавшая большевиков. Митинги шли даже по ночам, при ярком свете факелов. Красин несколько раз вырывался из Петербурга в Таммерфорс. Приезжая, он привозил последние новости. Их жадно ловили делегаты. Всеобщая почтовая забастовка, охватившая в те дни Финляндию, отрезала Таммерфорс от жизни всей России.

В один из его приездов конференция обсуждала аграрный вопрос. Многие товарищи с мест спрашивали:

— Что советовать крестьянам делать с захваченной у помещиков землей?

— Что делать с землей?.. Сдавать в кассу ЦК РСДРП. Это заявление Красина было встречено дружными аплодисментами.

Кроме аграрного, конференция обсудила ряд других, не менее важных вопросов — доклады с мест, доклад о текущем моменте, об объединении обеих частей РСДРП, о реорганизации партии, о Государственной думе.

Резолюция об активном бойкоте I Думы была выработана Красиным, Лениным, Мельситовым, Сталиным и Ярославским.

Таммерфорсская конференция длилась недолго. Жизнь требовала не слов, а дел. Она звала на баррикады.

Закрывая конференцию, председательствующий В. И. Ленин призвал всех разъехаться на места, включиться в борьбу и принять все меры к тому, чтобы восстание стало единовременным, всенародным, победоносным.

Этому не суждено было сбыться. Восстания в Москве и других городах оказались разрозненными. Самодержавие подавило их.

Реакция правила кровавый пир. Свирепствовали каратели, Гремели залпы массовых расстрелов. Стучали топоры и молотки, воздвигавшие виселицы для публичных казней через повешение. Свистели розги массовых порок.

Но народ не сдавался. Пролетариат бастовал. В 1906 году в стачках участвовало свыше миллиона человек.

Огромных размеров достигло крестьянское движение — за землю, за политические свободы, за созыв Учредительного собрания.

Волновались и армия с флотом. В Свеаборге и Кронштадте вспыхнули восстания.

И тем не менее революция, достигнув зенита, шла на спад. Это ясно ныне, нам, при взгляде с птичьего полета минувших десятилетий.

Но это далеко не ясно было тогда, тем, кто находился в кипящей гуще событий.

Красин весной 1906 года, обрушиваясь на оппортунистов-меньшевиков, писал:

"События складываются так, что новый подъем революционной волны представляется неизбежным. Бесплодность Думы, безопасность канители, заведенной там кадетами, для правительства и самодержавия, станут скоро очевидны для всех. Отсюда ясно, что тактика, рассчитанная только на легальность, тактика, альфой и омегой которой теперь выставляется положение, что революция не может и не должна пройти мимо Думы, обречена на самое жестокое крушение, последствия же ее для тех, кто при повторении декабрьских дней должен будет выйти на улицу, окажутся предательскими".

Красин, как и все большевики, держал курс на новый революционный подъем. Он шел за Лениным, который призывал учесть опыт только что отгремевшего вооруженного восстания и более организованно готовиться к новому выступлению.

Для этого необходимо было сплочение революционных сил.

Революция властно требовала действовать не врозь, а сообща.

Объединить всех социал-демократических рабочих в одну централизованную марксистскую партию — вот какую задачу выдвинула жизнь.

И она же начала решать ее. Явочным порядком, в рабочих низах.

Местные партийные организации под давлением необходимости единства самостийно приступали к объединению обеих частей партии.

Под напором рабочих масс меньшевики были вынуждены согласиться на созыв Объединительного съезда.

Большевики ясно понимали, что впереди серьезная и напряженная борьба, ибо объединение возможно только на основе революционного марксизма,

"Объединить две части, — согласны. Спутать две части — никогда"^[8], — с непреклонной категоричностью заявил Ленин.

В начале апреля делегаты двинулись за границу, в Стокгольм, на IV съезд РСДРП.

Непогодливой ночью, когда по морю гуляет злая волна, от гельсингфорсского причала отвалил небольшой пароходишко.

На палубе и в каютах ехало с полсотни делегатов.

А в трюме — цирковые лошади. Их беспокойное ржание непрерывно вплеталось в вой ветра и грохот разбивающихся волн. Сильно качало.

Капитан, озабоченный доставкой ценного циркового груза, повел судно не открытым морем, а шхерами. Там тише.

Не успели пассажиры уснуть, как их разбудил оглушительный треск. Все повскакали с внезапно вздыбившихся коек.

Пароходик налетел на подводную скалу, накренился и встал с пробоиной в корпусе.

В кромешной тьме, озябшие и вымокшие, сновали люди по наклонившейся палубе, со спасательными кругами в руках. Шлюпок хватало только на половину пассажиров.

Так продолжалось пять часов.

И каждые две минуты пароходная пушчонка тоскливо побухивала, вызывая о помощи.

Наконец, когда стало светать, помощь пришла. Пыхтя, отдуваясь и

тревожно посвистывая осипшим гудком, подошел полицейский пароход, который и отвез всех обратно в Гельсингфорс.

Хорошо, что финская полиция — в ней, к слову сказать, служило немало социал-демократов, например полицмейстер Таммерфорса был финским социал-демократом, — не стала проявлять особого интереса к спасенным пассажирам.

На следующий день им удалось другим пароходом отбыть; в Стокгольм.

10 апреля большевик Румянцев (Шмидт) открыл съезд от имени Объединенного ЦК. Оно было создано в конце декабря, после долгих и мучительных переговоров, которые вели с меньшевиками Красин и Богданов.

— РСДРП, — сказал в своей вступительной речи Румянцев, — к началу российской революции оказалась ослабленной разделением на две фракции... И чем яснее становилась пагубность раскола и междоусобицы для дела партии и, следовательно, для дела российского пролетариата, тем громче и властнее звучали голоса, требовавшие объединения. Эти требования были тем важнее и значительнее для партийных учреждений — центральных и местных, — что исходили главным образом из рядов рабочего класса, составляющих основу и силу партии и всегда относившихся неодобрительно к узкофракционной политике.

Тем не менее с первых же заседаний стало ясно, что две фракции противостоят одна другой. "Съезд был меньшевистский, — писал Ленин, докладывая петербургским рабочим о том, что произошло в Стокгольме. — Меньшевики имели прочное и обеспеченное преобладание, позволявшее даже им заранее сговариваться и предрешать таким образом постановления съезда^[9]".

Меньшевики двинули сюда мощную когорту кавказцев, которые резво насакивали на большевиков. Меньшевики явно стремились пустить съезд под откос.

Один из сиих "горных орлов", делегат от Гурии Ломтатидзе (Воробьев), под шумные протесты одних и аплодисменты других напрямик заявил:

— Или мы должны быть изгнаны из партии, или они. Объединительный съезд показывает, что мы не можем работать в одной партии.

Большевики во главе с Лениным держались сдержанно, корректно. Не поступаясь принципами, твердо отстаивая их, они решительно противились срыву съезда.

Исключение составлял лишь один большевистский делегат — Алексинский (Алексеев). Маленький, вертлявый, с сероватым лицом скопца и едко-насмешливыми глазами, он ерзал на стуле, поминутно вскакивал с него и, размахивая кулаками, кидался на Плеханова.

А тот, разглядывая золотые запонки на безупречно накрахмаленных манжетах своей сорочки, изумленно вздымал густые брови и спрашивал у Ленина и Луначарского:

— Что вы этого Алексинского, сырым мясом кормите, что ли?

В конце концов пришлось посадить рядом с Алексинским героя московского восстания Литвина-Седого (Быстров) с поручением удерживать буяна за фалды всякий раз, когда тот вздумает вновь броситься на Плеханова.

Аграрный вопрос;

оценка революционного момента и о классовых задачах пролетариата;

об отношении к Государственной думе;

о вооруженном восстании.

По всем этим вопросам на съезде вскипали споры, с каждым заседанием все сильнее разгоралась идейная борьба. Боролись два направления в социал-демократии — марксистско-ленинское, большевистское, и оппортунистическое, меньшевистское.

О вооруженном восстании докладывали трое;

Акимов {Махновец), один из отцов «экономизма», стоящий, по выражению Плеханова, выше большевиков и меньшевиков и парящий над партией, как дух божий над бездной;

Красин (Винтер) — от большевиков и Череванин — от меньшевиков.

— Большинство революций напоминает сказку о рыбаке и рыбке, — говорил Акимов. — Сначала идет подъем, движение растет, силы увеличиваются, наступает, наконец, восстание, а за ним неизбежно следует грубая, беспощадная реакция... Оказывается, что рабочему революция ничего не дает, и мы опять остаемся при разбитом корыте... Центральная ошибка наша в том, что мы не учитываем всего комплекса сил... Наша борьба не специально социалистическая, не специально пролетарская, в ней имеют право принять участие и другие силы. Государственная дума является моментом выступления таких сил. Дума вышла лучше, чем мы ожидали... Если Дума исполнит свои обещания, то нам будут обеспечены наши минимальные требования... Тогда мы не должны готовиться к восстанию... Делать восстание или даже агитировать за него в этом случае было бы прямо вредно. Против нас поднялся бы тот же Долгоруков, те же либералы... Но возможен второй путь; правительство может разогнать

Думу, Даже и в этом случае я высказываюсь против вооруженного восстания... Капитулирует ли правительство пред Думой или нет, его не нужно трогать, оно само погибнет, само рухнет. Плеханов говорил нам, что правительство сидит только на штыках и что нужно раскачать, расколыхать эти штыки, эту единственную опору самодержавия. Я же говорю: да! правительство сидит на штыках и пусть себе сидит?.. На них ведь долго сидеть нельзя...

— Нужно принять во внимание те невыгодные условия, — говорил Череванин, — в которых находилось правительство в Москве. Невозможность опереться на пехоту, среди которой только что перед этим было брожение, малое количество войск, которым располагало правительство. Нужно затем заметить, что своими слабыми силами правительство распорядилось настолько удачно, что сделало с самого начала совершенно безнадежным восстание. Оно отвело восстание на окраины и заперло его до прихода войск. Мне приходилось слышать от участников восстания, что на третий-четвертый день чувствовалась уже безнадежность его. Что могли делать те несколько сот дружинников, которые скрывались за баррикадами на окраинах? Они могли совершать только партизанские набеги. Затем явились войска и покончили с восстанием... психологическая основа для принятия широкими слоями участия в восстании может возникнуть только на почве систематического вовлечения их в борьбу с правительством, на почве использования легальных возможностей... Мы должны отвести совершенно ничтожное значение той голой пропаганде восстания, в которой так много упражнялись наши товарищи, когда агитировали, например, за бойкот Думы. Такая пропаганда восстания может увлечь только небольшие слои молодежи среди пролетариата, она не увлечет за собой даже массы пролетариата, не говоря уже о крестьянстве и городской буржуазии. Мы не можем также придавать, по развиваемым мною соображениям, того чрезмерного значения технической подготовке восстания, которое придает ей большевистская резолюция. Мы придаем этой подготовке совершенно второстепенное значение. Для нас подготовка восстания есть главным образом подготовка политическая, подготовка путем внесения в сознание широких масс населения неотложности разрешения определенных политических и социальных задач современной революции и воспитания этих масс путем вмешательства социал-демократии и пролетариата во все проявления политической жизни страны.

— В чем мы расходимся? — спрашивал меньшевик Жаков, делегат все от той же солнечной Гурии, и отвечал: — Большевики центр тяжести

относят к технике, мы — к политике. Они думают, что нужна техническая подготовка, чтобы революция победила. Мы же думаем, что народ недостаточно созрел еще политически... Поскольку легализируется наша работа, постольку идет успешное вооружение народа. И наконец, Плеханов:

— История достаточно показывает, что заговорщики не раз смотрели на вооруженное восстание крайне легкомысленно; нам надо отделаться от легкомыслия заговорщиков... только силой народ может вырвать права у тупых сторонников реакции, но эта сила пока еще не достигла надлежащих размеров, ее надо увеличивать путем агитации... нам надо готовить население к нашему военному делу, а этого не сделаешь технической подготовкой; для этого необходима широкая революционная агитация. Раз сосредоточив свое внимание на технической подготовке, мы по необходимости упустим из виду агитационные задачи.

Меньшевикам отвечали большевики. Красин:

— Для победы восстания народа над современным правительством с его армией и полицией, с его административно-бюрократическим аппаратом недостаточно нашей агитационной и пропагандистской работы; как бы она ни была успешна, для этой победы необходим целый ряд материальных условий в области подготовки и организации вооруженного восстания.

В вашей идеалистической постановке вопроса вы забыли, что в период революционных взрывов "оружие критики" должно смениться "критикой оружия". Победа восстания немислима без вооруженных столкновений революционного народа с войсками правительства и без их поражений, хотя бы частичных. Готовить победу одним "усилением агитации", создавая одновременно организации для военно-технической подготовки восстания, — значит, вести пролетариат на убой., обязанность партии не только разъяснять широким массам необходимость восстания, но и организовывать возможно тщательно и серьезно военно-техническую подготовку примыкающих к партии пролетарских групп к выступлению их в момент вооруженной борьбы для внесения инициативы и планомерности не только в первые акты повстанческой борьбы, как I сказано в меньшевистской резолюции, но и в течение всей:—этой борьбы вообще, и в особенности в конце ее, так как опыт; всех восстаний учит нас, что наиболее часто ошибки восставших состояли именно в неумении использовать и закрепить успехи, достигнутые в первые дни борьбы... ^[10]

Москва вполне доказала возможность для повстанцев захватить определенный район города в свои руки и, оградив входы в него

баррикадами-заграждениями, отстаивать его достаточно долго...

Но декабрьские восстания дали нам и отрицательный опыт. Основной и главный недостаток всех их — это отсутствие плана, отсутствие планомерного руководства...

Вооруженное восстание должно перейти на высшую ступень. Наши боевые организации должны поставить перед собой задачу выработки во всех деталях планов, как захватить и прочно удержать восставшим в своих руках тот или иной город. Эта работа требует тщательного изучения всех местных условий и привлечения военных специалистов...

Последующей ступенью должно быть координирование планов вооруженных действий в отдельных местностях в целях подготовки условий для выступлений по возможности в нескольких пунктах одновременно. Ярославский:

— Мы, большевики, говорим о вооруженном восстании, в то время как меньшевики фактически говорят о восстании невооруженном. И правильно было бы, если б свою резолюцию они так и озаглавили: резолюция о невооруженном восстании, раз мы считаем возможным и неизбежным вооруженное' восстание, надо серьезно готовиться к нему. Ведь нам придется сражаться на улицах городов, мы обязаны изучать топографические и стратегические условия в каждом отдельном случае. Мы обязаны точно знать, заранее знать эти условия, чтобы разработать в нужную минуту план действий и внести планомерность в стихийное восстание. Ленин:

— Восстание становится главной, стачка — подсобной формой борьбы. Возьмите резолюцию «меньшевиков». Вместо хладнокровного обсуждения, вместо учета опыта, вместо изучения соотношения стачки и восстания вы видите скрытое, мелочно скрытое отречение от декабрьского восстания. Взгляд Плеханова: "не нужно было братья за оружие" всецело проникает всю вашу резолюцию (хотя большинство русских «меньшевиков» заявляло о несогласии с Плехановым-). Тов. Череванин своей речью бесподобно выдал себя, когда для защиты резолюции «меньшевиков» должен был представлять декабрьское восстание как безнадежное проявление «отчаяния», как восстание, никакой возможности вооружённой борьбы не доказавшее '.

Съезд подходил к концу. От двухнедельных распрей, дразг, попреков и обвинений раскалывалась голова. По вечерам мешком свинцовых опилок наваливалась усталость. А к ночи уходил сон. Его прогонял стук в висках. Дробный, изнуряющий, неотвязный.

И мысли. Тоже неотвязные.

Люди, еще вчера сражавшиеся на баррикадах, сегодня предают поруганию свою же святую борьбу. Добро бы еще это были вожди, литераторы, партийные генералы, находившиеся вдалеке от схватки. Нет, это делали и солдаты революции, опаленные порохом, всего лишь несколько месяцев назад слышавшие свист пуль, грохот снарядов, разрывы бомб.

Во имя чего? И ради чего?

В угоду фракционности. Речистые генералы типа Дана или Мартынова подают команду, и рядовые слепо следуют ей. Вопреки правде событий, участниками и творцами которых только что они были сами.

А меньшевистские генералы и впрямь голосисты. Куда как остры на язык. Все же ловко Мартынов поддел Луначарского, используя всем известную слабость его к театральному искусству.

— Тов. Воинов, возражая т. Плеханову, говорил, что мы представляем себе захват власти так, как он изображается в оперетках: в виде нападения кучки заговорщиков, появляющихся неожиданно во дворце со шпагами и фонарями. Если бы т. Воинов был так же хорошо знаком с историей русского революционного движения, как он знаком в историей опереток, то он пришел бы к другим выводам.

Лихо сказано. Как говорится, умри, Денис, лучше не скажешь. Да вот одна беда — разбитной бойкостью выражений не скрывать лживости слов. Пусть речам иных большевистских членов съезда недоставало лихой броскости, зато в них была неопровержимость марксистского анализа переживаемых событий.

Воинов (Луначарский):

— Общая тенденция меньшевиков заключается в том, чтобы отвернуться от стоящего на очереди призрака революция и направить работу партии по руслу органической работы. Но в чем позиция меньшевиков хуже позиции Акимова, так это в их своеобразном двуличии: призыв к органической работе они стараются протащить под самым революционным флагом... Меня не удивляет эта двойственность, свойственная меньшевизму, этому впечатлительному дитяти; но я ожидал большего от его опытного гувернера, однако ничего не изменилось.

Мы же повторяем и не устанем повторять: если в предстоящих грозных столкновениях народа с правительством партия хочет сохранить свое выдающееся положение, приобрести руководство массами, она должна стать... и военной партией.

Через все свары, на которые так щедры были меньшевики, красной нитью проходила мысль о том, что большевики-де пучисты, что они

испокон века, раз и навсегда одобрили лишь одну форму революционной борьбы — вооруженную.

Еще на IV съезде Красин опроверг это утверждение. — Вывод, к которому мы пришли, — говорил он, — это неизбежность дальнейшей борьбы народа за свое политическое освобождение. В какие формы может вылиться эта борьба? Есть два пути. Первый путь — конституционная, парламентская борьба; второй — непосредственно революционная борьба народа с врагом. Мы никогда не отрицали существования обоих видов борьбы, и утверждение, будто мы отрицаем парламентскую борьбу, основано на недоразумении или на сознательном искажении истины.

Съезд подходил к концу.

На последних заседаниях было принято решение об объединении с польскими и латышскими социал-демократами. "Это слияние, — писал Ленин, — укрепляет Российскую социал-демократическую рабочую партию. Оно поможет вытравить последние следы кружковщины. Оно внесет свежую струю в работу партии. Оно в громадной степени усилит мощь пролетариата всех народов России" ¹.

Съезд принял ленинскую формулировку первого параграфа Устава партии и избрал руководящие органы, В ЦК вошли семеро меньшевиков и трое большевиков, в том числе Красин. Редакцию ЦО составили одни лишь меньшевики.

25 апреля IV Объединительный съезд закончил свою работу.

Большевики уезжали из Стокгольма еще более сплоченными, чем прежде.

"Со съезда, — вспоминает А. В. Луначарский, большевики уехали не разбитые, а торжествующие. Хрюканье Дана (он, обычно насупленный и надутый, за что и прозванный "папским нунцием", теперь сиял, без усталости похваляясь, что большевизм скоро вымрет. — Б. К.) вызывало лишь улыбку".

¹ В. И. Ленин, Полн, собр. соч., т. 13, стр. 60,

139

На русской пограничной станции пахло свежевспаханной землей, распутившимися почками, паровозной гарью. Таможенный чиновник, проходя по платформе, что-то доказывал пожилой женщине в очках и пёстро-клетчатом костюме. Та-моженник горячился, мельтешисто жестикулировал, а женщина со спокойным безучастием слушала его и время от времени лениво пожимала плечами.

Впереди, где железнодорожные рельсы делали крутой поворот, шел ремонт вторых путей. Множество мужиков в лаптях и онучах,

выглядывавших из-под грязно-бурых армяков, трамбовали пути. Тяжелые кувалды, глухо ухая, стукались оземь.

Исконная картина святой Руси. Всенепременная принадлежность родимого пейзажа — человек, работающий работу, что не всегда под стать и машине.

Голь перекатная. Горюшко горькое. Нищета.

Но ничего, теперь уже недолго бедовать им на русской земле. Революция — а она идет в гору и, без сомнения, будет победоносно завершена — навсегда сметет их с родной земли.

Так думал Красин, возвращаясь со съезда домой.

IX

Это было давно. В детстве. Во времена, которые теперь уже казались незапамятными.

Был он тогда малышом, только что выучился грамоте и читал без разбора все, что попадалось под руку. Тем более что чтение не контролировалось. Отец целые дни проводил в отлучках, колеся по уезду, мать хлопотала по хозяйству, дед же любую книгу почитал за благо, ниспосланное людям культурой и цивилизацией.

Как-то, роаясь в дедовой библиотеке, он наткнулся на книжку. С яркой, поблескивающей бойким глянцем разноцветных красок обложки глядел мужчина. Широколицый, приветливый, в крупных роговых очках. Он улыбался. Открыто и добродушно. А руки, обтянутые перчатками, сжимали тонкую женскую шею. Из-под пальцев сочилась кровь. Ее мелкие капельки запеклись в уголках губ и на подбородке мужчины.

Полторы сотни страничек рассказывали о его похождениях, невероятно жутких, от которых вечерами вздрагиваешь при каждом шорохе, но тем не менее назавтра снова и снова тянешься к книжке.

Днем, на людях мужчина жил как все. С утра копошился в садике перед домом. Высаживал нарциссы и анютины глазки. После завтрака отправлялся в ратушу, где служил писцом. По воскресеньям и праздникам посещал кирку. Под вечер спускался в сводчатый погребок, где за кружкой пенистого пива, попыхивая трубкой с головой бородатого гнома, коротал время в неторопливом разговоре с приятелями и знакомыми.

Добропорядочный горожанин. Добрый сосед. И вообще добряк, как все, кто проживал в этом добром старом городке. Одно лишь отличало его — был он одинок. В своем чистеньком маленьком домике жил совсем один. И только старушка служанка приходила к нему по утрам, чтобы после обеда снова вернуться восвояси.

Мужчина в цвете лет — и вдруг один! Странность? Конечно. Но у кого не бывает странностей?

А в общем-то жил он в ладу с городком. И город с ним ладил. Больше того, любил его. За тихий нрав, покладистость и милую незлобивость.

Никому и в голову не приходило, какие жуткие перемены время от времени происходили с ним.

Лишь только наступала ночь, из трубы его домика вылетало облачко дыма. И устремлялось к другим домам. Покружив над крышами, оно

влетало в один из домов, ударялось об пол и оборачивалось волком.

Матерый серый волк выхватывал из постели спящую женщину, прыгал с нею в окно и мчался в подгородный лес.

Покончив с жертвой и закопав ее, волк вновь превращался в дым и сизым облачком влетал в трубу маленького чистенького домина.

А поутру, все такой же улыбчивый и приветливо-добродушный, он, поблескивая на солнце очками, копался в своем садике, сажая анютины глазки и нарциссы.

Оборотень! Вампир! Чудовище, чья пища — кровь жертв его!

Вся эта чушь из лубочной книжонки все чаще приходила Красину на ум. Оборотни были рядом. И не как аляповатый вымысел безымянного сочинителя, кому цена — ломаный грош. А как явь. Отвратительная явь российской жизни, уродливое порождение ее.

И чем дальше, тем больше плодилось их.

Оборотни носили разные личины:

рабочего, простоватого, не слишком искушенного в политике, но всеми фибрами своей пролетарской души тянувшегося к свету революционных идей, а потому непременно участника сходок, подпольных кружков;

либерала, друга революции, врага самодержавия, радушного хозяина, кто, презирая опасность и жертвуя спокойствием, отдает свою квартиру под конспиративные явки, встречи, заседания;

боевика, отчаянного малого, лихого смельчака, в глубоком подполье изготавливающего бомбы и рвущегося пустить их в ход;

политического эмигранта, который, живя в изгнании, связует заграничные центры с подпольной Россией;

революционера-профессионала, комитетчика, железного я несломимого, того, кто всю жизнь посвятил революции и всего себя отдал ей.

Они носили разные личины и клички, но имя у всех у них было одно — провокатор.

Провокаторы были вездесущи и, словно бациллы, проникающие в организм, чтобы изнутри разрушить его, просачивались в революционное движение, на заводы, в партийные организации, комитеты, на конференции и даже съезды.

И всюду творили свое иудино дело. Предательство стало их профессией, продажа товарищей — средством существования, а у иных — в зависимости от ранга и осведомленности — даже средством обогащения. Они предавали и продавали департаменту полиции, у которого состояли на жалованье, тех, с кем жили и дружили, с кем шли плечом к плечу и,

казалось, сражались в одном строю.

При этом стирались грани между честью и бесчестием, человечностью и, бесчеловечностью, моралью и аморальностью.

Аморальность и душевное растрепанье стали нормами жизни их в обществе.

Один из оборотней, тихий, участливый, с умными печальными глазами, провожая товарища, партийного работника, нелегально отправляющегося в Россию, обнимал его на прощанье, вздыхал и говорил, что разлука предстоит недолгая; как только партийное задание будет выполнено и друг вернется назад, пусть сразу же заезжает к нему, его ждет на чужбине родной дом.

Меж тем всего неделю назад именно он написал и отослал в Россию донесение о предстоящем приезде.

Через каких-нибудь два-три дня приехавшего схватят при переходе границы и на долгие годы бросят в тюрьму.

Другой, засадив друга, носил ему передачи, ходил на свидания и там, отвернувшись в сторонку, смахивал со щеки скупую мужскую слезу — жалел товарища: как плохо он выглядит и так тяжело ему достается в застенке!

Третий, суровый и непреклонный, со стылым взглядом беспощадных глаз, посылал людей на вооруженное выступление, заранее предупредив начальство о дне и часе его.

А потом, после гибели этих людей, все с той же жестокой непреклонностью заявлял: ни одно большое дело не обходится без жертв. Когда рубят лес, не жалеют щепок.

И требовал новых и новых людей. Для дела. Своего, грязного.

Те, кто сеял ядовитые семена провокации, собирали щедрый урожай. Он всходил переполненными до отказа тюрьмами, вонючими избами пересыльных этапов, каторгой, виселицами, расстрелами.

Недаром Красин, вспоминая те времена, с горечью восклицал:

— Провал за провалом!

Провалы пробивали брешь за брешью в той крепкой кладке, которую столь долго и с таким тщанием возводил он. Проваливались и боевики, хотя находились в глубоком подполье. Под Новый год провалилась конспиративная мастерская патронов на Малой Охте.

Ее организовал рабочий патронного завода Саша Сергеев (Охтенский) вместе с членом боевой технической группы Сергеем Сулимовым.

В доме, что стоял на углу Мало-Охтенского проспекта и Суворовской улицы, напротив верфи, неподалеку от казарм. Финляндского полка, Саша

снял небольшую квартиру, в которой поселился с двумя боевиками, тоже рабочими.

Сюда тайком доставлялись с завода гильзы и здесь набивались. Вечерами, после работы, в воскресные дни. Под песню, написанную словно специально для такого случая: Сами набьем мы патроны... А раз в неделю в домик на Охте заходили две девицы — Фаня Белая и Матюшенция (таковы были их подпольные клички, ни Саша, ни его товарищи не знали их настоящих имен, да, впрочем, и не пытались узнать).

Часом позже девицы покидали домик, унося с собой корзинки. Такие, в каких обычно носят в прачечную белье. На дне лежали патроны. Все, что было наработано за неделю.

Патроны шли к Сулимову, а он по указаниям Красина передавал их боевым дружинам.

Так почти год, с ранней весны а до разгара зимы, работала мастерская. Без особых происшествий и неприятных неожиданностей. Четко, деловито, бесперебойно. Изготавливая в день по сотне патронов.

Но вот однажды Саша был разбужен в ночи. Из коридора несся шум.

Саша нехотя прислушался и успокоился, решив, что это сын хозяйки пришел домой, подвыпивши.

Он повернулся на бок и готов был уже снова заснуть, как вдруг почувствовал толчки. Кровать его, придвинутая вплотную к двери, резко и часто вздрагивала. Каждую ночь, прежде чем лечь спать, он припирал кроватью дверь, а под подушку клал взведенный маузер.

Под напором снаружи кровать поддалась, и за приотворившейся дверью показались трое городских. В руках у них были винтовки.

Саша вскочил, снова забаррикадировал дверь и стал поспешно одеваться.

Дверь гудела под ударами винтовочных прикладов. Из-за нее неслись голоса:

— Открывай!

— Именем закона, открывай!

— Сейчас... Только вот оденусь, — он лихорадочно натягивал сапог, прямо на босу ногу, но сапог все не лез.

Тем временем мысль работала.

"В комнате мелинит, порох, штук тысяча патронов... Все, теперь повесят... К утру повесят... Как пить дать, повесят... Если бы расстреляли, было бы лучше..."

Не успел он надеть второй сапог, как сорванная с петель дверь рухнула. В светлом проеме ее стоял пристав. В руке он держал

керосиновую лампу. Лампа горела поразительно ярко. Было даже видно, как от стекла вилась к потолку тонкая струйка копоти.

Саша выхватил из-под подушки маузер (он был на прикладе), отскочил в темный угол комнаты и выстрелил.

Пристав упал. Упала и со звоном разбилась лампа. Наступила тьма. Такая же, как за черным замороженным окном.;

В проеме двери, теперь уже темном, возник смутный силуэт нового человека. Саша выстрелил. Человек охнул и осел,

Но тут слева раздался грохот. Это через другую дверь, выходящую в комнату хозяйки, ворвались в патронную мастерскую городовые.

Саша обстрелял их. Городовые пустились наутек и с криками и топотом побежали по коридору.

Он бросился вдогонку, стреляя на бегу.

Когда Саша выскочил на лестницу, ведущую к выходу, она была уже пуста. Городовых как ветром сдуло.

Саша поспешно, перескакивая через ступеньки и прихрамывая (одна нога так и осталась необутой), стал спускаться вниз.

Вдруг на лестнице появился какой-то штатский и кинулся наверх. Первый же выстрел уложил его.

На улице едва мутнел рассвет. В белесой мгле вихляли тени городских.

Городовые бежали к казармам. Видимо, за подмогой. Саша нажал курок. Выстрела не было. Еще раз нажал. То же самое. Кончились патроны.

Он вернулся в комнату, обул вторую ногу, зарядил маузер, схватил патронташ. Терять время на одевание было нельзя. Вот-вот нагрянут городовые. На этот раз вместе с солдатами. Он надел пальто на нижнее белье и вышел на улицу. Улица была тиха и безлюдна.

Саша спустился к Неве и по льду пошел в сторону Смольного монастыря. Проруби густо клубились паром. Мороз, стоявший накануне, к утру покрепчал. Деревья на том берегу пышно распушил иней. Они высились громадными белыми копнами.

Когда берег был почти уже рядом, послышалось визжанье пуль. Городовые с солдатами вели по нему огонь.

Он упал, поднялся, побежал. Снова упал и снова поднялся.

Так бросками и перебежками Саша достиг другого берега и выбрался на набережную.

Пройдя несколько кварталов, он неожиданно набрел на извозчика. Ванек, то ли уже выехавший в город, то ли еще не возвращавшийся домой, дремал на козлах, втянув шею в седой от мороза воротник.

Саша подрядил извозчика и поехал на Невский. Здесь он расплатился и пошел к Пяти Углам, где жил Сулимов.

Город только-только просыпался. На улице никого не было.

Лишь у ворот сулимовского дома дворник мел мостовую. Он был похож на деда-мороза — борода и усы его были белыми.

Улучив момент, когда дворник повернулся спиной, Саша незаметно проскользнул в ворота.

Дверь открыла Мария Леонтьевна Сулнмова (Саша знал ее как товарища Магду), член боевой технической группы.

— Почему так рано? — спросила Магда, было всего лишь шесть часов утра.

— Да вот... вышла маленькая неприятность, — смущенно ухмыльнулся Саша.

Сулимовы накормили его, напоили и одели потеплей. Последнее было особенно необходимо. Его ступни примерзли к подошвам сапог, а маузер, раскалившись от стрельбы, примерз к нижнему белью.

После того как Саша немного отогрелся, его снабдили десяткой, теплой тушуркой и адресом рабочего Емельянова в Сестрорецке.

Здесь он и провел несколько дней, пока приехавший из Питера Сулимов не привез эстонский паспорт с явкой в Пермь и деньги на дорогу.

На Урале Саша пробыл недолго. К осени он уже снова вынырнул в столице, а оттуда перебрался в Финляндию.

Он понадобился Красину для выполнения ответственного и опасного поручения.

Провокатору удалось провалить технического секретаря ЦК Вайнштейна. Финская полиция при аресте его захватила ряд важнейших документов, паспорта, явки ЦК.

Надо было все это вырывать, И без промедления. Пока материалы еще не успели уйти в департамент полиции.

В ту же ночь Саша Охтенский с двумя боевиками, приданными ему в помощь, отправился по адресу, полученному от боевой технической группы. Они пошли на квартиру к полицейскому, у которого, как разведали боевики, находились изъятые при аресте Вайнштейна документы.

Одного из товарищей Саша поставил" перед домом стеречь улицу, второго, проникнув в квартиру, посадил в комнате, где находилась жена полицейского, а сам с револьвером в руке вошел в комнату, где спал полицейский.

Сон у того оказался чутким. Едва Саша появился на пороге, как полицейский встрепенулся и протянул было руку к подушке. Но Саша

проговорил:

— Не успеете. Мой выстрелит быстрее.

Полицейский отдернул руку, а Саша подошел к постели, вынул из-под изголовья браунинг и положил к себе в карман.

— Где документы, захваченные вчера при аресте?

Полицейский молчал,

— Нам нужны только документы. Вы нам не нужны. С финской полицией мы не воюем. Отдайте документы, и мы оставим вас в покое.

— У меня их нет, — через силу, запинаясь, проговорил финн, глаза его беспокойно бегали.

— В последний раз спрашиваю; где документы?

— Не знаю.

Щелчок взведенного курка и дуло пистолета, глядящее в упор, быстро просветили полицейского. Он указал на нижнюю полку этажерки.

Здесь действительно лежал пакет, объемистый и пухлый. Саша быстро просмотрел его содержание. Паспорта, бумаги, записки... То самое, что надо.

Он велел привести жену финна, вернул ему браунинг, предварительно вынув обойму с патронами, и сказал, чтобы ни он, ни жена его в течение получаса не покидали квартиры.

Боевик, оставленный перед домом для наблюдения, потом доложил, что полицейский появился на улице лишь три часа спустя,

Документы ЦК были возвращены партии, Борьба с последствиями провокации отнимала множество сил. Но не меньше, а то и больше сил уходило у Красина на предотвращение провокаций. Для этого нужны были бдительный, все примечающий глаз и трезвый ум, спокойно и беспристрастно оценивающий людей и факты. В атмосфере, зараженной микробами предательства, надо было сохранить голову ясной, а волю твердой, чтобы не захворать провокатороманией — болезнью, довольно распространенной в те времена. Не видеть в каждом третьем предателя, чтобы в сотом не проглядеть того, кто действительно является им. Обнаружив же и точно убедившись, что он таковой, быстро и решительно убирать его с пути.

Среди добытчиков мелинита для подпольных мастерских оружия был сапер-дезертир Федор. Он таскал взрывчатку с правительственных складов в Сестрорецке и доставлял боевикам.

С некоторых пор у Федора завелись деньги. Откуда? Об этом доложили Красину. Он поручил боевику Салныню (в подполье — Гришка) незаметно, но тщательно проверить источники неожиданных доходов

сапера.

Выяснилось, что не так давно Федор исчезал на несколько дней, а вернувшись, стал денежным человеком.

Оказывается, перетаскивая мелинит, он просыпал часть его и, не заметив, растоптал на снегу. Мелинит окрасил подошвы сапог в желтый цвет. По их отпечаткам полиция выследила и арестовала Федора.

Дальше все пошло как по писаному. Жандармы без особого труда установили, что в 1905 году за участие в неудачном усть-двинском восстании сапер был приговорен военным судом к смертной казни, но бежал. Теперь перед ним был поставлен выбор — либо отправляться в Усть-Двинск, то есть на виселицу, либо поступать на секретную службу в полицию.

Либо верная смерть, либо не менее верные деньги — 75 целковых в месяц.

Сапер предпочел второе.

— Немедленно убрать его, — распорядился Красин. — Подальше от здешних мест. Пока не успел нашкодить, — сапер знал много адресов хранения и передачи мелинита.

В тот же вечер Саливнъ зашел к Федору на квартиру.

— Организация, — сказал он, — посылает меня на юг, по специальному заданию. Ты поедешь со мной. Будешь помогать.

Сапер поначалу не дал определенного ответа. По всему было видно, что в дорогу его не особенно тянет. Но на другой день, вероятно побывав в охранке, он ехать согласился.

Это его и спасло.

На вокзале за Гришкой и Федором тянулся хвост, но когда поезд отошел, шпики отстали,

В пути, а он был длинным и сложным, — они добирались поездом до Рыбинска, волжским пароходом до Астрахани и морем до Баку, — Федор несколько раз опускал в почтовые ящики открытки, но Салвнъ не подавал виду, что замечает это.

В Баку он сдал сапера местным комитетчикам и вернулся назад в Петербург.

В другом случае Никитич действовал иначе. Круче и беспощаднее. Он не только обезвредил провокатора на будущее, но и покарал за прошлое.

В легальной партийной типографии, что помещалась сначала на Литейном проспекте, а потом в Казачьем переулке, работал некий Михаил. Вместе с кавказцами, вызванными Красиным из Баку, он выпускал большевистскую литературу.

После наступления реакции полиция типографию прикрыла. Тогда Красин передислоцировал старую гвардию бакинских подпольщиков в Финляндию, и большевистская газета продолжала выходить в Выборге. Отсюда ее тайно транспортировали в Петербург.

Но чем дальше, тем чаще охранка стала вылавливать транспортировщиков. Искусно сплетенная Красиным сеть то и дело рвалась. За всем этим ощущалась чья-то злая и преступная рука. Обнаружить ее было трудно. Но он все же настиг ее.

После разгрома легальной типографии Михаила накрыли жандармы и завербовали. Многочисленные аресты были результатом его черных дел.

Красин вызвал Ваню Стуруа и предложил:

— Убрать провокатора.

"Через неделю, — вспоминает Стуруа, — предателя не стало".

Рассказывают, что когда-то и где-то внук задал деду извечный вопрос:

— Что такое жизнь?

— Жизнь, внучек, — ответил старец, — это щепотка радостей и куча бед... Хотя, — помолчав, прибавил он, — это только кажется. Каждая беда, как только поборешь ее, становится радостью. Чем смелее и решительнее борется — человек с бедами, тем радостнее ему жить.

Беда, огромная, лихая, подобная неоглядному серому небу, сулящему долгое и затяжное ненастье, надвигалась на Красина.

А он даже не пытался бороться с ней. Ибо не допускал мысли о ней. И не один только он. Так же думали многие его друзья.

Слишком большие надежды возлагали они на победу, чтобы примириться с возможностью поражения. Слишком много сил, нервов, крови было истрачено на борьбу, чтобы допустить мысль о неудачном исходе ее.

Тем более что на первый взгляд борьба не казалась проигранной. Ее накал все еще оставался сильным, битвы — напряженными.

Надо было обладать всевидящим взором и беспощадно острым умом вождя и стратега революции, чтобы уже тогда, находясь в самой гуще событий, правильно и точно оценить характер происходящих боев — арьергардных, а не авангардных, отступательных, а не наступательных. Это дано было Ленину.

Ленин бесстрашно взглянул правде в глаза и постиг всю трагическую суть явлений русской жизни тех лет. Он сделал то, что не в состоянии были сделать другие, в том числе и Красин.

Они еще продолжали тешить себя надеждами, что революция идет в гору, они еще уповали на близкий и скорый подъем новой революционной

волны, а Ленин уже заявил:

— Революция закончилась...

Было это сказано А. Шлихтеру осенью 1907 года, когда Владимир Ильич, возвращаясь с конференции в Таммерфорсе, заночевал проездом через Петербург у Шлихтера на квартире.

Да, революция, хотя и незаметно для обычного глаза, хотя и постепенно, но спадала.

А реакция поднималась, крепчая яростно и неукротимо.

Над теми, кто сражался за свободу, чинилась расправа. То было даже не возмездие. То была месть, тупая, злобная, беспощадная. Вовсю свирепствовали военно-полевые суды. Злодействовали каратели, жандармы, судьи, прокуроры.

Над страной встала мрачная тень двух столбов с перекладиной и пеньковой петлей — знаменитым столыпинским галстуком.

"Столыпинский режим уничтожил смертную казнь и обратил этот вид наказания в простое убийство, часто совсем бессмысленное, убийство по недоразумению. Одним словом, явилась какая-то мешанина правительственных убийств, именуемая смертными казнями".

Эти слова принадлежат не врагу самодержавия и даже не какому-нибудь фрондирующему либералу. Их написал верный слуга российской монархии, один из высших государственных сановников, граф С. ГО. Витте.

Характеризуя обстановку в стране, он продолжал;

"Мы находимся в таком режиме, что у нас существуют три положения: военное, чрезвычайное и исключительное. Все эти три положения дают громаднейший произвол власти, и затем различные местности России объявляются одни на военном положении, другие на чрезвычайном, а третьи на исключительном.

Столыпин выдумал еще четвертый вид особого положения. Это когда местность находится в нормальном состоянии и никакое положение неприменимо в полном объеме, а только начальнику города или губернии дается право издавать обязательные постановления. Пожалуй, последний вид особого положения самый худший именно потому, что он не регулируется никакими законами, а потому под видом смягчения состояния, в котором находятся жители данной местности, вводится полнейший произвол администратора".

До какой степени произвол этот доходил, можно судить хотя бы по такому в общем-то малозначительному событию.

Открытие нового отделения столичного Института экспериментальной

медицины почтил своим присутствием петербургский градоначальник Лауниц. Когда после молебна он сходил с лестницы, его убили наповал. Того, кто стрелял, тут же прикончили военные и полицейские. Затем у трупа отрезали голову, положили в банку со спиртом и носили по городу напоказ.

Это в двадцатом-то веке, в стране, которая зовется цивилизованной!

Российская реакция прибегала к средству, излюбленному реакционерами всех пород, всех времен и народов, — к устрашению.

Кое на кого это действовало. Многие попутчики, те, кто в годы подъема косвенно примыкал к революции, так или иначе ее поддерживая, теперь отступились от нее и злобно проклинали ее. Подобно зайцам по весне, они быстро слиняли. Из красноватых стали густо-черными.

Один профессор, к слову сказать, ученый с мировым именем, предложил властям отдать революционерам на откуп Петербург либо Москву. Потом осадить и взять с бою. После чего расстрелять несколько тысяч человек.

— Тогда, — заключал этот добряк, — Россия раз и навсегда избавится от революций.

Трудно выиграть сражение. Но не менее трудно, проиграв, вывести из боя войска. Искусство полководца не только в умении наступать, но и в умении отступать. С минимальными потерями и максимальным сохранением людской силы и боевой техники, без паники и растерянности.

Ленин уводил партию в подполье. Чтобы, сохранив оставшиеся силы, накопить новые и, когда придет черед, вновь пойти в бой — последний и решительный.

Полководец революции разработал мудрую и гибкую тактику сочетания нелегальной борьбы с легальной под руководством партии, ушедшей в подполье.

Меж тем провал следовал за провалом, аресты за арестами. В течение трех с половиной лет Московский и Московский окружной комитеты партии подвергались репрессиям одиннадцать раз. Петербургский комитет арестовывался десять раз. Сия горькая чаша не миновала и Красина. 1 мая 1907 года — надо же такому случиться именно в этот день! — он оказался за решеткой. В Москве. Волею слепого случая. Впрочем, все неприятное происходит в жизни случайно, лишь радости большей частью надо вырывать силой.

Приехав в Москву, он отправился на квартиру к присяжному поверенному Андриканису для встречи с Рыковым (Алексеем) и Саммером (Любичем). А в это время сюда по чистой случайности нагрянула полиция

с облавой. И неожиданно для себя накрыла Алексея и Любича, за которыми уже давно вела охоту. Понятно, что заодно был арестован и Красин.

Очень скоро ему стало ясно, что никакими уликами жандармы не обладают и действуют вслепую.

Поэтому с первого *те* дня ареста он категорически отрицал свою принадлежность к задержанным. Ни Рыкова, ни Саммера он никогда в глаза не видел, столкнулся с ними у Андриканиса совершенно случайно, точно так же как совершенной случайностью явилась для него встреча с приставом, производившим облаву. Приехал он в Москву по делам службы. Эти же дела требуют безотлагательного возвращения в Питер.

Слишком солидным было "Электрическое общество", слишком высоким положение., занимаемое Красиным, чтобы с этим не посчитались. Необоснованный арест видного инженера, одного из крупных промышленных деятелей, персоны заметной, чтимой и высокооплачиваемой, мог обернуться для полиции неприятностью.

Спустя семнадцать дней его выпустили на свободу. Пустяковая отсидка. Мелочь. Факт в биографии настолько незначительный, что о нем можно было бы не вспоминать, если бы не последствия.

Красин ощущал их чуть ли не каждый день, чуть ли не на каждом шагу — и в неотвязных взглядах шпииков, и в их назойливых фигурах, повсюду, без утайки сопровождавших его, и в гороховых пальто, которые теперь уже, не отходя, торчали под окнами его квартиры.

Наконец дошло до того, что у него были произведены обыски, и в служебном кабинете и на дому.

Пока жандармы еще толклись в передней, он забежал из кабинета в детскую, сунул пачку документов в кармашек передника своей маленькой падчерицы Нины Оке и сказал: — Полезай на подоконник и смотри на улицу. Так весь обыск девочка и пробыла на подоконнике, выглядывая из окна.

Она не понимала ни того, что делают чужие люди в их доме, ни того, что ей надо увидеть на улице. Но она знала, раз он сказал — полезай и смотри, значит, так надо делать. Дети всегда и во всем слушались его. Не из боязни, а из любви.

Кончился обыск, жандармы ушли. Он снял малышку с подоконника, расцеловал, угостил шоколадкой.

А документы немедленно переправил в другое, более надежное место.

Обыски мало в чем помогли жандармам — после ареста он, и без того безмерно осторожный конспиратор, удесятирил осторожность. Но во многом помогли ему. Красин со всей отчетливостью понял, что быть на

свободе ему остается недолго, что тюрьма, как говорится, не за горами.

И правда, в марте 1908 года он снова сел. Теперь уже серьезно и опасно. С первых же допросов впереди маячила виселица. Смертельная угроза была настолько очевидна, что проглядывала в каждом вопросе следователя.

Сидеть на этот раз пришлось не в русской тюрьме, а в финской. Арестовали его воскресным днем, на даче в Куоккале, куда он время от времени наезжал из Петербурга, повидаться с жившей здесь семьей, и доставили в Выборг.

Выборгская тюрьма не очень походила на московскую и совсем не была похожа на воронежскую. Здесь не было годами устоявшегося кислого запаха, столь свойственного российским тюрьмам. И кормили тут гораздо лучше. К тому же не возбранялось получать обед из ресторана.

Остальное же было тем же самым. Решетки на окнах. Сетки на лестничных клетках. Параша в углу с ее извечным зловонием. Явственно видный след, выдавленный ногами на плохо асфальтированном полу камеры.

Где-то они теперь, все люди, что нашагали этот ломаный, из угла в угол по диагонали, след? Что с ними случилось? Чем обернулась их судьба?

И допросы. Частые, бесконечные, и днем и по ночам.

Та же замысловатая вязь вопросов. Множественных, внезапных, бессмысленных. Нелогичных для того, кого спрашивают. И точно прицельных для тех, кто их задает.

Та же скучающая снисходительность жандармских интонаций. То же щеголянье мелкими фактами, датами, фамилиями, адресами. Мы, мол, все знаем, от нас не укрыто ничто...

— Неужели вы воображали, что мы слепы? Да мы все ваши поездки и демарши, все, все, видели как на ладони...

Не хватало только знаменитого зубатовского афоризма:

— Ваши атаки на самодержавие — это попытки муравьев лезть на блиндажи современной крепости.

Впрочем, сией жандармской премудростью обычно потчуют молодых, желторотых.

— Вы — пушечное мясо. Заправилы от революции отправили вас на убой, а сами попрятались в кустах... Тан не прикрывайте собственных губителей, не упирайтесь, рассказывайте все, что мы и без того прекраснейшим образом знаем...

Его вся эта антимонополия миновала. И годами ее перерос, и, что, пожалуй, самое скверное, унюхали псы, на чей след напали. Не такие уж жандармы

болваны, чтобы ломать всю эту пошлую комедию перед ним.

Да, похоже, дело табак...

Это в 37-то лет...

Обидно. Весьма и весьма...

Мысль довольно тривиальная... грустная...

Впрочем, такое и в 67 особых радостей не доставляет... Оттого, что мысль не нова, не исчезнуть страшной новизне ее содержания...

Да, плохо дело. Выходит, дело действительно швах...

Серьезность положения понял не только Красин.

Это понял и Ленин.

"Ильич, — пишет М. Лядов, — чрезвычайно тяжело переживает арест «Никитича», он настаивает на том, чтобы были приняты все меры, чтобы извлечь его из тюрьмы".

Меры были приняты. Решительные и энергичные.

В одно из свиданий Красина навестила мать.

Антонина Григорьевна, или «бабушка», как ее называли в семье, была по-обычному сурова и сдержанна. И только руки, сухие, с морщинистой кожей и припухлыми костяшками пальцев, руки пожилой женщины, прошедшей свой век в труде, слегка дрожали, когда гладили буйно поседевшие волосы сына.

В остальном же мать была спокойна. Настолько, насколько может быть спокойна мать, когда видится с сыном в тюрьме.

Он хотел было утешить ее. Но смолк перед ее утешениями.

В речах ее, простых и нехитрых, было столько веры, а в тоне, каким они произносились, столько мудрого спокойствия, что успокоился и он, хотя был невероятно взволнован встречей и встревожен тем, как мать перенесет ее.

Это к ней, к матери, обращены проникновенные слова сына:

"Милая мама! Сколько раз в часы горя и бед, когда отчаяние охватывало сердце и дух колебался, когда начинала закрадываться малодушная боязнь жизни и борьбы — этого вечного завета природы и судьбы нам, людям, — твой образ, вынесенные тобою страдания, твой стойкий дух вставали передо мною и, думая о тебе," о твоей тяжелой, неблагоприятной жизни, о всем, перенесенном тобою и отцом, я находил новую силы терпеть, бороться".

Но даже Красин, хорошо знавший свою мать, не удивлявшийся тому, как «бабушка» в разгар декабрьских боев на Пресне под пулями пересекала линию баррикад, чтобы, минуя заградительные кордоны полицейских и солдат, унести в безопасное место спрятанную в прическе печать ЦК

поразила воле, бесстрашию и самообладанию этой пожилой женщины. Поймав момент, когда тюремщик, стороживший свидание, отвернулся, Антонина Григорьевна спокойно передала сыну пилки, тайком пронесенные в тюрьму.

Красин должен был перепилить оконную решетку камеры, выбраться на тюремный двор, прихватив матрас со своей койки, залечь у стены и прикрыться матрасом, когда боевики подорвут стену, а затем бежать через пролом.

Сигнал к началу побега условлено было подать с горы, что высится над Выборгом. На ее вершине, хорошо видной из окна камеры и от подножья тюремной стены, в решающий момент должен был загореться фонарь.

В назначенный вечер боевики во главе с Александром Михайловичем Игнатьевым и Сашей Охтенским приступили к делу. Игнатьев с подрывниками притаился у стены, Саша отправился на гору.

Однако не успел он дойти до вершины, как учуял неладное. Место, обычно нелюдное, несмотря на не ранний час — 9 вечера, — было странно оживленным. По дороге, ведущей к вершине, сновали люди, а на самом верху, словно на часах, неподвижно стоял человек. Он не спускал глаз с Саши, как бы выжидая, что тот будет делать.

Зажигать фонарик было и безрассудно и опасно.

Саша вынул портсигар, достал папиросу и стал прикуривать. Он дважды зажигал спички, делая вид, что они гаснут. Но, хотя узкие клинышки пламени вспарывали тьму, внизу все оставалось спокойным.

Саша зажег третью спичку. Она прогорела до конца и обожгла пальцы.

Та же самая тишина. Никакого взрыва.

Он стал спускаться вниз, недоумевающий, обеспокоенный.

За спиной раздались шаги. Он надбавил ходу. Участились и шаги. Саша, не вынимая из кармана руки, спустил браунинг с предохранителя.

Внизу, у выхода на большую дорогу, его поджидали двое. Пропустив Сашу, они пристроились с хвоста. И тут же спереди из придорожного кустарника выскочил третий и рванул навстречу, наперерез.

— Полиция! Вы арестованы!

Саша выхватил из кармана револьвер. Выстрелил по ногам. Двое упали,

Он прыгнул в кусты и побежал, проваливаясь по колено то в талый снег, то в ледяную воду под снегом.

Добравшись до рабочего предместья, он переночевал у знакомого маляра, а поутру пошел на розыски своих.

— В чем дело? В чем причина провала? Не иначе кто-то предал.

Но при встрече с Игнатьевым выяснилось, что виной всему не предательство, а зоркость тюремщиков. Застигнув Красина, когда он перепиливал решетку, они подняли на ноги полицию.

Неудача не обескуражила боевиков. Слишком дорога была для партии жизнь Красина, чтобы, смутившись первым провалом, отказаться от намерения спасти ее.

Быстро и оперативно были разработаны несколько новых планов выручки Никитича.

Старые бакинцы — товарищ Семен и Ваню Болквандзе, ныне работавшие в подпольной партийной типографии в Выборге, где печаталась большевистская газета «Пролетарий», должны были инсценировать приезд из столицы важного чиновника прокурорского надзора. Снабженный подложными бумагами, он должен был увезти Красина в Петербург, "для ведения дальнейшего следствия".

На случай, если бы и эта "попытка сорвалась, Саша Охтенский и его боевые друзья готовились к тому, чтобы отбить арестанта силой в поезде, когда жандармы будут препровождать Красина в Питер.

Дело в том, что согласно существовавшим тогда в Финляндии законам арестованный по приказанию департамента полиции на территории Великого княжества Финляндского мог оставаться в финской тюрьме не дольше месяца. За это время петербургская прокуратура обязана была составить и переслать в Выборг обвинительное заключение. Получив его, местные власти отправляли подсудимого в столицу. Не получив, отпускали на все четыре стороны.

Месяц — срок немалый. Но не для царской России с ее извечной волокитой и чиновничьим бюрократизмом. Пока в Петербурге писались и переписывались, оформлялись и подписывались, шли от стола к столу и переходили из кабинета в кабинет бумаги и бумажонки, месячный срок истек. А вместе с ним и право дальнейшего содержания Красина в выборгской тюрьме.

Этим поспешили воспользоваться А. М. Игнатьев и его товарищи. Под их нажимом выборгский губернатор освободил арестованного.

Поздно вечером, когда город уже засыпал, погруженный во тьму, Красин вышел из тюрьмы.

У калитки, смутно сливаясь со стеной, чернело несколько фигур. Плотная, широкая — матери, длинная, нескладная — брата Германа, изящно-элегантная — Игнатьева, с белеющим во мраке пятнышком неизменного крахмального воротничка в полуовале шалевого воротника

шубы.

Короткие объятия. Чуть слышные всхлипывания матери — от радости, что встретились на свободе, и от горести неизбежной разлуки, — и Красин, сопровождаемый Игнатьевым, поспешно удалился. По выражению Германа, "в безвестное пространство". Подальше от тюрьмы и полицейских глаз.

Мешкать было нельзя. Малейшее промедление грозило гибелью.

И действительно, сутки спустя из Петербурга прибыли обвинительные документы. Они были составлены по всем правилам юридически-сысского искусства, со строжайшим и скрупулезным следованием букве закона.

Однако неустанный труд жандармов и прокуроров пропал втуне. Бумаги пришли, а Красин ушел. Безвозвратно. В подполье.

Но и оно, каким глубоким ни было, оказалось ненадежным. Всюду рыскали ищейки. Везде были капканы.

По всему видать, оставалось одно — поскорее убраться прочь, за границу.

Единственное, что он позволил себе, вопреки благоразумию, накоротке повидаться с семьей. Ведь целый месяц он в глаза не видел детей и соскучился по ним смертельно.

Крадучись в ночи, он пробрался из Гельсингфорса, где скрывался от сыщиков, в Куоккалу, наспех обнял жену, поцеловал спящих дочерей — Любу, Катю, Людмилу и падчерицу Нину — они так и не проснулись — и несколько дней спустя уже плыл на утлом суденышке из Або в Швецию, держа путь на Берлин и Париж.

Лето прошло в поездках по Европе для урегулирования партийных дел и предприятий.

К осени он очутился в Берлине.

Наступила пора подумать о выборе более или менее постоянного места жительства. Хочешь не хочешь, а приходилось пристраиваться к какому-либо делу. "Семья моя к этому времени состояла уже из пяти душ, надо было думать о каком-то заработке", — писал Красин.

И он остался в Берлине.

Города что люди, они совсем иные вблизи и в повседневно, чем издали и при взгляде мимоходом.

Прежде, бывая в Берлине наездами, он в общем город не бранил. Конечно, хуже Парижа. И Питеру не чета. Но все же — ничего. Европейская столица. Даже унтергрундбан, сиречь подземная дорога, есть.

Теперь же, обосновавшись на берегах Шпрее, он почувствовал: Берлин гнетет. Хмурыми домами. Хмурыми улицами. Хмурыми людьми. Хмурой узостью всей его жизни.

Он всегда любил простор. В Баку под окнами его квартиры стояли два дерева. Рослые и густолиственные, они застилали панораму строительства, скрадывали зеленоватые горизонты Каспия, набегавшего на Баилов мыс.

Тогда он приказал деревья срубить. Чтобы не отнимали простора.

Теперь глаз повсюду упирался в стены. Из окон своей квартиры, выходившей в глухой колодец двора, он постоянно видел серые унылые стены. И больше ничего.

Проходя по улицам, сдавленным высокими домами, видел все такие же серые стены.

И даже на набережной глаз не вырывался на простор. Угрюмая и неширокая Шпрее текла не спеша, стиснутая серым камнем.

Но самым гнетущим было истинно прусское стремление вогнать в прокрустово ложе узаконений и предписаний каждое проявление человеческой жизни. Предписания, приказания, распоряжения, обязательные постановления следовали аа человеком повсюду. Даже в общественной уборной со стены предписывалось:

— Оправлять платье только в стенах заведения!

Будто кому-нибудь не терпелось сделать это посреди уличной толчеи.

Да, город был ему не мил. Но еще больше жизнь в нем. Потому что была она, в особенности на первых порах, невероятно тяжелой.

Чужбина есть чужбина, переносить ее куда как трудно. Для русского же человека, всеми корнями вросшего в родную землю, какая она ни на есть и кто ею ни владеет, чужбина просто невыносима. Особенно если ты, подобно мореходу, потерпевшему кораблекрушение, выброшен сюда силой. И в ближайшем будущем не видишь возможности вернуться домой.

Конечно, реакция с точки зрения исторической не должна продлиться долго. Но, к сожалению, прав был Михайловский, произнеся в свое время

горькие, но мудрые слова:

— Недолгое с точки зрения истории слишком долго с точки зрения личной жизни.

Или как говорят в народе: пока солнце взойдет, рога глаза выест.

Да, невероятно тяжкая штука изгнание. Когда Ленин прибыл в холодную и мертвую Женеву (во вторую эмиграцию), он признался Крупской:

— У меня такое чувство, точно в гроб ложиться сюда приехал.

Красин жил в Берлине не один. Сюда перебралась и семья.

Это облегчало жизнь. Но это и утяжеляло ее. Большую семью надо было содержать. На это нужны были деньги, деньги и еще много-много раз деньги.

Он поступил на службу. Пошел, как он сам говорил, на выучку к немцам. Стал младшим инженером крупной электротехнической фирмы "Сименс и Шуккерт".

Работать приходилось по восьми часов кряду каждый день. А жалованье шло грошовое — каких-нибудь 250 марок в месяц.

Их с трудом хватало на две недели. Любовь Васильевна была хорошей женой, но неважной хозяйкой. Хотя, надо отдать ей справедливость, она" самоотверженно старалась поддержать мужа, целиком взвалив на себя все заботы по дому.

Чтобы не жить впроголодь, нужно было работать сверх работы. Вечерами и по ночам.

В тридцать восемь лет он, что называется, вернулся на круги своя. Словно начинающий инженер, в погоне за приработком занимался бог весть чем — переводами, составлением технических проектов, «негритянской», как ныне принято говорить, по вечерам работой в русских посреднически-технических конторах.

И все только для того, чтобы кое-как свести концы с концами.

К материальным неурядицам прибавлялось нездоровье. Он чувствовал себя прескверно. Пошаливало сердце, одолевала слабость. Это было реакцией на нечеловеческое перенапряжение нервов и сил за последние несколько лет.

Неспроста, оглядываясь назад, на свое питерское житье-бытье, он сам поражался:

— Совершенно не понимаю, как я мог выдержать эту каторжную нагрузку.

При этом он упускал из виду, — а быть может, делал вид, что упускает, — что нагрузка берлинская была намного каторжнее питерской.

Подъем прежнего времени сообщал силы, помогал справляться с ношей, какой бы непосильной она ни была.

Спад времен нынешних силы высасывал. Подобно спруту, чьи щупальца не оставляют жертве ни единой кровинки.

Тогда само время было за него. Теперь оно было против него. Ибо обернулось безвременьем, И сколько ни бодрился он, оставаясь внешне таким же энергичным и жизнелюбивым,

приветливым и радушным, остроумным и деятельным, как раньше, столыпинское лихолетье подломило и его. Как многих Других.

Разгул реакции посеял жестокую смуту в российских умах. Неудержным и мутным потоком хлынула проповедь ре- *негатства*, уныния, неверия в будущее, распущенности и блуда. "Место политики, — писал М. Ольминский, — заняла якобы эстетика, а на самом деле — интерес только к самому грубому разврату, прикрывавшийся эстетикой стремления разрешить "проблемы пола". Воистину печально время, чьим духовным знаменем стал роман Арцыбашева "Санин".

Буржуазные либералы, вчерашние народные радетели, оплевывали революцию и раболепствовали перед вешателями. Кадеты Струве, Бердяев, Булгаков, в незапамятные времена "легальные марксисты", выпустили сборник «Вехи» — венец позора и бесчестия. Ленин назвал эту книгу "сплошным потоком помоев, вылитых на демократию".

"Веховцы" возносили хвалу царским палачам за то, что они "своими штыками и тюрьмами" спасли буржуазию от "ярости народной", призывая рабочих смириться, отречься от "вредного материализма", "безгосударственности и безрелигиозности".

Боженка все чаще выставлялся как панацея от всех бед. Реакционные философы и литераторы Минский, Розанов, Гиппиус, Философов звали на поиски "нового бога", "новой религии".

Богоискатели проповедовали мистицизм, бездеятельность, примирение с существующим порядком, отказ от революционной борьбы.

Были и богостроители. Из своих. Они считали, что люди должны верить в социализм так же слепо, как в бога. Богостроители — к ним принадлежал Луначарский — действовали в партийной среде, создав новое, особого рода вероучение для рабочего класса, пытаясь примирить марксизм с религией. Плеханов по поводу богостроительских теорий Луначарского писал, что он устраивает на свой фасон "утешительную душегрейку" для интеллигенции.

Ржа реакции разъедала партию. Меньшевики, деморализованные поражением революции, похерили все революционные требования

партийной программы, сдали в архив все революционные лозунги. Стремясь ужиться со столыпинским режимом, они призывали к соглашению с буржуазией, отрицали какие бы то ни было формы нелегальной борьбы и предлагали ликвидировать нелегальную партию.

Ликвидаторы вроде Дана ратовали за отказ от подпольной работы, всячески понося "допотопный тип пропагандистских кружков".

"Наша партия не может идти вперед без решительной ликвидации ликвидаторства", ^[11] — писал Ленин.

Ему пришлось вести жестокую борьбу не только с ликвидаторами-меньшевиками, но и с ликвидаторами наизнанку из рядов большевиков — отзовистами.

Если первые нападали на партию справа, то вторые вели свои атаки слева. Прикрываясь громкими революционными фразами, они требовали отказа от всех легальных форм борьбы. Отозвать социал-демократических депутатов из Думы — вот на чем настаивали отзовисты: бесноватый Алексинский, Вольский, Луначарский и другие,

Разновидностью отзовизма был ультиматизм. Ультиматисты, или "стыдливые отзовисты", как назвал их Ленин, требовали предъявить социал-демократической фракции Думы ультиматум — подчиняться всем директивам партии либо уйти из Таврического дворца (там заседала Дума).

Ультиматистов возглавлял Богданов. Красин шел вместе с ним.

Позднее, оглядываясь на прошлое, холодным и трезвым умом оценивая его, Луначарский писал, что Ленин старался всемерно использовать наступившую полосу реакции "для отдыха, углубления пропаганды, реорганизации сил для подготовки натиска. Гениально перевооружившись, Ленин разошелся с Богдановым и Красиным...

Все эти группы ультиматистов, отзовистов и т. д., за которыми, собственно говоря, скрывалось нежелание считаться с длительным периодом реакции, романтическая вера в то, что не сегодня-завтра опять подымется мятеж, — все это было головное, выдуманное, все это было от прошлого, все это не учитывало живой действительности".

Политическая борьба, начавшись, неминуемо разрастается с неукротимой силой. Тот, кто вступил в борьбу, по мере разрастания ее все дальше и дальше заходит в своих поступках.'

Богданов и Красин начали с разногласий, перешли к выпадам и нападениям и кончили тем, что двинулись в наступление против Ленина и Большевицкого центра.

Для подготовки боевых резервов ими была создана партийная школа на острове Капри. Ленин презрительно назвал ее ерогинским общежитием

для нащептывания десяткам рабочих отзовистского вздора.

Чтобы обеспечить предприятие материально, Красин использовал свои обширные связи. С его помощью и при деятельном участии Горького, пошедшего за отзовистами, удалось добыть деньги, необходимые для школы.' Главный взнос сделали Шаляпин, писатель Амфитеатров, нижегородский пароходчик Каменский, Горький и Андреева.

В каприйскую школу, разумеется, пробрался провокатор. Это был Андрей Романов, кличка в охране — «Пелагея». В своих агентурных сообщениях департаменту полиции он отмечал "нападки и клевету руководителей школы на Большевистский центр".

А на основании донесений другого провокатора начальник сибирского охранного отделения сообщал департаменту полиции:

"По полученным отделением сведениям, проживающий за границей член и кассир Центр. Комитета инженер-технолог Красин — «Никитич» достал для партии около 200 000 р. Источник получения этих денег пода не известен...

Стоя во главе «отзовистов», левого крыла группы большевиков, и сплотив вокруг себя известных Д-ту Пол. Лядова, Алексинского, Марата, Богданова, Максима Горького и Менжинского, Красин в настоящее время ведет энергичную отзовистскую кампанию и из вышеупомянутых денег самовольно удержал 140 000 р., которые и будут использованы на пропаганду «отзовизма», включая и самостоятельную типографию для той же цели.

Правое крыло большевиков во главе с Лениным, протестуя против нарушения партийной Программы и захвата Красиным партийных денег, организует за границей в самом непродолжительном времени съезд большевиков-неотзовистов".

В июне 1909 года в Париже состоялось совещание расширенной редакции большевистской газеты «Пролетарий», фактического Большевистского центра.

Разыгралось решающее сражение. В результате Ленин и ленинцы одержали полную победу. Отзовизм и ультиматизм были окончательно осуждены как течения, подменяющие пролетарскую идеологию мелкобуржуазными тенденциями. "Политически ультиматизм в настоящее время ничем не отличается от отзовизма и лишь вносит еще большую путаницу и разброд прикрытым характером своего отзовизма", — писалось в резолюции совещания и подчеркивалось, что "большевизм, как определенное течение в РСДРП, ничего общего не имеет с отзовизмом и ультиматизмом".

Совещание также осудило богостроительство Луначарского и объявило каприйскую школу центром откальзывающейся от большевизма фракции.

Богданов отказался подчиниться решениям совещания. Он назвал их незаконными.

В ответ совещание заявило, что "снимает с себя всякую ответственность за все политические шаги тов. Максимова (А. Богданова)".

Богданов поставил себя вне рядов большевиков.

Спустя годы, когда Красин вернулся, наконец, к активному сотрудничеству с Лениным, Владимир Ильич, вспоминая былое, говорил Кржижановскому;

— Необыкновенно талантливый, одаренный человек Леонид Борисович, да и постоять за себя умеет. Не всякий рискнет так хлопнуть дверью в нашем ЦК...

В этом сказалась не умильная склонность к всепрощению, противная Ленину и чуждая ему. В этом сказалась высокая, истинно ленинская принципиальность. "Особенностью Ильича, — пишет Крупская, — было то, что он умел отделять принципиальные споры от склоки, от личных обид и интересы дела умел ставить выше всего. Пусть Плеханов ругал его ругательски, но, если с точки зрения дела важно было с ним объединиться, Ильич на это шел. Пусть Алексинский с дракой врывался на заседания группы, всячески безобразил, но, если он понял, что надо работать вовсю в «Правде», пойти против ликвидаторов, стоять за партию, Ильич искренне этому радовался. Таких примеров можно привести десятки. Когда Ильича противник ругал, Ильич кипел, огрызался вовсю, отстаивая свою точку зрения, но, когда вставали новые задачи и выяснялось, что с противником можно работать вместе, тогда Ильич умел подойти к вчерашнему противнику, как к товарищу. И для этого ему не нужно было делать никаких усилий над собой. В этом была громадная сила Ильича".

После разрыва с Лениным Богданов оружия не сложил. Он продолжал нападать на Большевистский центр, приписывая ему все смертные грехи. В выражениях он при этом не стеснялся.

"И в идейном, и в материальном, и в организационном смысле Б. Ц. стал бесконтрольным вершителем большевистских дел".

"Б. Ц. выходил из своего оцепенения только тогда, когда ему нужно было кого-нибудь исключить, кому-нибудь зажать рот, разрушить или по крайней мере опорочить какое-либо начатое партийное дело. Боязнь потерять свое безответственное положение была движущей пружиной всей его деятельности".

С течением времени Красин стал мало-помалу отходить от отзовистов. Ему претила распря, начавшаяся в их среде. Алексинский, сей трактирный трибун, со свистом и гиканьем врывавшийся на заседания большевистской группы, вел себя не менее нахально и буйно и со своими единомышленниками. Находиться рядом с ним было просто неприлично.

Помимо всего прочего, Красину были чужды философские блуждания Богданова, запутавшегося в тенетах ревизии марксистской диалектики.

Когда отзовисты приступили к организации своей новой школы, на этот раз в Болонье, Красин в их деле уже никакого участия не принимал.

— Постепенно получилось так, что он вышел из борьбы.

И от тех отстал и к этим не пристал.

И отошел от партии.

Очень тяжело это — отойти от партии, возраст которой равен твоему партийному стажу. Уйти от партийных дел, всю жизнь являвшихся делом всей твоей жизни.

Он жил в одиночестве, испытывая страдания и боль. В чужом городе, среди чужих. Без друзей. Вдали от тех, с кем был породнен годами совместной революционной борьбы.

Одним из немногих утешений оставалась дружба с Горьким. Теперь они сблизились еще больше, чем прежде. Одна беда — Горький находился на Капри, он — в Берлине.

Оставались письма, долгие и частые. И встречи, редкие, раз в год, когда, получив отпуск, он отправлялся на Капри.

Они бродили по каменистому острову, что вздыбился над лазоревым морем, и разговаривали. Подолгу и неторопливо.

В дымчатой дали курился Везувий, с рыбачьих лодок прилетала звонкая "Санта Лючия", непрременная услада туристских ушей, ветерок нес солоноватые запахи рыбы и морских водорослей.

А они все говорили и говорили. Больше всего о былом, таком близком во времени и таком невообразимо далеком в своем существе. Словно между прошлым и настоящим встали не несколько лет, а целые столетия.

Вспоминалась — Америка, страна "желтого дьявола", куда Горький вместе с Андреевой ездил по поручению Красина. Чтобы собрать денег на нужды революции и партии.

Тогда Красин писал им за океан:

"По кр. мере часть добываемых вами средств должна получить специальное назначение и лишь часть передаваться ЦК на его общие расходы. Иначе из них ни копейки не пойдет на оружие и т. п. вещи... Пока еще жив Никитич, туда-сюда, а если он часом заболит и его место займет

меньшевик, тогда всякая возможность контроля исчезнет".

Ни Горький, ни Андреева в Америке, естественно, полностью не представляли себе размеров борьбы, какую ему приходилось вести с меньшевиками в Центральном Комитете. Пользуясь абсолютным численным превосходством, меньшевики беспардонно и беззастенчиво гнули свою линию.

Да, немало сил поглотила эта борьба...

И все же она не шла в сравнение с нынешним поносом. И бездействием, связанным с ним. Кому другому, а Красину, человеку дела, покой и бездействие были чужды и противны.

Это прекрасно понимал Горький.

"На мой взгляд, — писал он, — для большинства людей дело — ярмо. И даже для многих, зараженных жадностью к наживе, дело все-таки — хомут, а они — волы и рабы. Но есть художники нашего, земного дела, для них работа — наслаждение. Леонид Красин был из тех редких людей, которые глубоко чувствуют поэзию труда, для них вся жизнь — искусство".

Неистребимая тяга к "наслаждению работой" погружала его в дела берлинского издательства Горького. Вместе с его руководителями Ладыжниковым и Аврамовым он деятельно участвовал в работе издательства, связанного с социал-демократами.

Красин отошел от партии, но с партией не порывал. Каждый товарищ, приехавший в Берлин, гонимый, разыскиваемый, преследуемый, находил у него помощь и поддержку. Так было с Козеренко, кого трудная судьба, больного и полунищего, загнала в неприветливую столицу Германии...

И все же Красин задыхался. От недостатка дела.

Ему не хватало отдушины.

И он нашел ее. В деле. В том самом деле, которому были отданы многие годы жизни. Они пролегли сквозь города и веси — Петербург с его Техноложкой; Сибирь с ее дальними путевыми участками и дистанциями; Баку с электростанцией на Баиловом мысу; морозовская вотчина в Орехово-Зуеве; снова Питер...

Годы, сочленившись в лета, не только состарили, но и умудрили его. Умудрили опытом, знаниями, умением.

Все, что накоплялось годами, исподволь, теперь пошло впрок. Мало-помалу он, безвестный эмигрант, в общем обуза для страны, приютившей его, становился сначала полезным, затем нужным и, наконец, незаменимым человеком.

Он выбился в люди. Там, где, казалось, пробиться было немислимо, — на чужбине, в Германии, в технически развитой стране, обладавшей в

отличие от России своими инженерами в избытке.

Он, как говорится, сделал головокругительную карьеру. И что больше всего поражало немцев, не прибегая к тому, что обычно сопутствует восхождению по служебной лестнице, — к подножкам, подсиживанью, ударам в спину или из-за угла.

Он шел прямой дорогой, не выискивая кривых троп, и стал одним из видных инженеров Германии только благодаря своему таланту, воле, уму.

И еще потому, что, несмотря на знания, опыт и седины, не погнушался учением. Благо, как писал он сам, "учиться было чему".

Его всегда отталкивали доморощенные расейские приверженцы кваса, лаптей и кислых щей, те, кто в своем запоздалом славянофильстве горделиво провозглашали: "Мы сам с усам", — и на чем свет стоит честили вредоносную иностранщину.

Он презирал псевдонародное шутовство в стиле блаженной памяти ростопчинских афишек. А гаерские, великодержавно-шовинистические стишки вроде:

Немец-перец-колбаса

Купил лошадь без хвоста... —

вызывали в нем не смех, а отвращение.

Он был марксистом и, стало быть, интернационалистом. Всегда и во всем. Поэтому уважал и ценил другие народы и нации. И не почитал зазорным учиться у них.

Разменяв пятый десяток, Красин стал крупным берлинским инженером, авторитетным, независимым, дорогостоящим. За ним охотились, его добивались. Многие электротехнические фирмы Европы наперебой предлагали ему выгодные места, прельщая баснословно большим жалованьем в 10 000 рублей.

Теперь уже не он искал, а его искали и перед ним заискивали. Лихорадочная погоня за зыбкими заработками сменилась устойчивой обеспеченностью, больше того — зажиточностью.

Он по-прежнему служил в фирме "Сименс и Шуккерт", никуда не переходя, ни с кем не связываясь, пренебрегая большими профитами. Это имело свой, одному ему известный резон. Фирма "Сименс и Шуккерт" была тесно связана с Россией. Оставаясь на старой службе, он рассчитывал вернуться на родину.

Расчеты не обманули: он получил предложение возглавить московский филиал "Сименс и Шуккерт". И с радостью согласился.

Узнав о предстоящем приезде опасного революционера, не так давно сбежавшего за границу, охранка всполошилась. В надлежащие

правительственные инстанции пошла бумага. Особый отдел департамента полиции отписывал начальству:

"...если имеется какая-либо формальная возможность воспретить Красину въезд в Россию, то отдел полагал бы воспользоваться таковой, т. к. пребывание названного лица в России, по мнению отдела, нежелательное.

Но его величество капитал был на Руси всесилен, Тягаться с ним даже охранке было невмочь. Так что министерство внутренних дел разрешило Красину въезд в Россию, правда учредив за ним негласный полицейский надзор. Больше для порядка. Так сказать, для очистки жандармской совести.

В 1912 году он пересек границу. Не тайком и крадучись, не на дрянном парходишке, как несколько лет назад, а в открытую, в вагоне первого класса, ослепительно сияющем медью ручек и поручней, в нарядном краснодеревном купе, куда почтительные проводники бесшумно вносят чай в серебряных подстаканниках, белоснежный рафинад и посыпанное пахучей корицей печенье.

Уезжал беглец, бесправный и гонимый. Приехал крупный инженер, за спиной которого — могучая иностранная фирма, почтенный и почитаемый промышленный деятель, независимый и влиятельный. Что называется, персона грата. Не подступись.

Он восседал в своем просторном и комфортабельном московском кабинете, изящный, сухощавый, прямой. С годами его не раздало вширь, он не оброс брюшком и не обрюзг, а сохранил юношескую стройность и элегантную подтянутость. Лишь клинышек бородки, припорошенный сединой, да морщинки у глаз выдавали возраст.

Он властно командовал в телефон, поигрывая золотым карандашиком; отдавал распоряжения подчиненным, вызванным на прием; проносясь на ретивом лихаче по кривым и узким улицам, объезжал заводы и фабрики.

И промышленная Москва и Примосковье оплетались все более густой электрической сетью.

Дела фирмы так бойко двинулись вперед (за короткий срок ее обороты удвоились, а затем и утроились), что уже спустя год, ему было предложено стать директором общероссийского отделения "Сименс и Шукнерт",

В 1913 году он переехал в Петербург.

Масштаб стал больше. И дел стало больше. Но их толчея не оттеснила людей, с которыми прежде он шел одной дорогой, а ныне был разведен по разным путям. Товарищи, друзья, знакомые, а то и вовсе незнакомые шли к нему. За помощью, за поддержкой, за советом. Многих он даже не помнил в лицо либо вообще знал только понаслышке.

Но помогал он всем безотказно.

К нему пришел Осип Пятницкий. Они виделись лет десять назад, мельком, за границей, при обстоятельствах, не столь уж приятных для обоих. Пятницкий тогда переправлял в Россию нелегальщину. Он выступил решительным противником Никитича, искавшего в транспортировке сотрудничанья с меньшевиками.

Хотя Никитич был членом ЦК, неистовый «Пятница» добился отмены его распоряжений. В этом ему помог Ленин.

Сейчас Пятницкий пришел к Красину. Он сидел в его служебном кабинете, усталый, неприкаянный, лишенный каких-либо средств к существованию. Он искал работы. И Красин дал ее.

— Чего вы хотите? — задумчиво шурясь, спрашивал он. — Только получить заработок или научиться работать? Если первое, то можно остаться в Москве. Если же второе, то надо ехать на монтаж в глухое место.

Пятницкий в свое время был монтером, но дальше электропроводки в квартирах не пошел.

По совету Красина он распростился с Москвой, как ни тянуло остаться в ней, и поехал на строительство цементного завода «Ассерин» под Вольском. Здесь он стал заправским электромонтажником.

Время от времени в красинской квартире на Мойке появлялся — Сергей Аллилуев, давнишний друг и соратник еще бакинских времен. Приходил он обычно поздним вечером, когда весь дом, дочери и прислуга уже спали.

Они запирались в кабинете, и Любовь Васильевна знала — не надо мешать. Хотя в кабинете, в сущности, ничего особенного не происходило.

Аллилуев, тихий, деликатный, застенчивый, пил крепкий душистый чай, похрустывал ванильными сухариками и, мягко покашливая, с неспешной настойчивостью подводил разговор к главному, к тому, ради чего пришел. А приходил он всякий раз за одним и тем же — за деньгами.

"Леонид Борисович ежемесячно выдавал из своих личных средств изрядные суммы. Он всегда был щедр..." — вспоминает Аллилуев.

Деньги эти, или «контрибуции», как их шутя именовал Красин, шли партии.

Партия шила. Ведомая Лениным, она оправилась от поражений, преодолела распри, налилась свежими силами и, окрепнув, во всеоружии пришла к новому революционному подъему.

Могучие валы его, все нарастая, катились по стране. Только лишь в первой половине 1914 года бастовало около полутора миллионов рабочих.

Россия стояла на пороге революции. Но правителям удалось отсрочить

ее приход, кинув страну в кровавую пучину мировой войны. Она разразилась в августе 1914 года.

Война размежевала партии и людей. Раскидала по разным рубежам враждебных и враждующих мнений, понятий, поступков, действий. Одни звали не щадить живота ради веры, царя и отечества. Другие, со стыдливостью отбрасывая два первых звена сей классической формулы, громко ратовали за оборону отечества и нации.

И только большевики не таясь, во всеуслышание объявили войну антинародной, грабительской, империалистической войне.

В ядовитой атмосфере все сгущающегося шовинистического угара Ленин с невиданной смелостью провозгласил лозунги превращения империалистической войны в войну гражданскую и поражения «своего» правительства в войне. Вопреки социал-шовинистам обанкротившегося II Интернационала, лидеры которого позорно проголосовали за военные кредиты, он на весь мир бросил призыв:

Да здравствует международное братство рабочих против шовинизма и патриотизма буржуазии всех стран!

Да здравствует пролетарский Интернационал, освобожденный от оппортунизма!

Хотя Красину казалось, что он совсем ушел от политики, от жизни уйти он не мог. Жизнь, особенно в окаянную пору войны, была от политики неотрывна. Хотел он того или не хотел, жизнь беспрестанно ставила перед ним политические вопросы один острее другого. Нет нужды, что теперь он далек от партийного руководства и не обязан искать решений для других. Для себя все равно он обязан был находить решения.

С кем быть душой и совестью в эти тяжкие для человечества годы?

В чем видеть выход из кровавой беды, в которую ввергают мир?

Размышляя, беседуя с товарищами, читая нелегальную прессу, приходящую из-за границы, он все больше склонялся к тому, что единственно правильна та позиция, что занята Лениным.

И вот тут-то начиналось самое мучительное.

Его терзала раздвоенность. Раздвоенность меж мыслью и делом. Мыслями он был со старыми друзьями, пошедшими войной против войны. Делом же служил несправедливой, империалистической войне.

Вскоре после начала войны он по приглашению известного финансиста и промышленника А. М. Путилова стал директором-распорядителем завода Барановского.

Если уж работать, то работать на совесть. Плохо работать инженер Красин вообще не умел. Естественно, всю свою кипучую энергию он

отдавал заводу. Завод же производил порох.

Теперь ему все чаще приходили на ум страницы «Капитала», где Маркс писал о колеснице Джаггернаута.

Изображение этого индийского божества устанавливалось в дни празднеств на колеснице, а верующие, фанатично стремясь поклониться божеству, бросались под колесницу и гибли, раздавленные ее колесами.

Их участь Маркс сравнивает с участью рабочих капиталистического общества. Капитал, подобно колеснице Джаггернаута, безжалостно губит тех, кто ему служит.

Современная джаггернаутова колесница войны давила и Красина. Именно потому, что он служил кровавому божеству, именно потому, что делом своим способствовал раздуванию военного пожара. Ведь чем распорядительнее был директор, тем больше смертоносной продукции выпускал завод.

Единственным, хотя и весьма слабым, утешением, пожалуй, было то, что боеприпасы, поставляемые фронту, помогали оборонить от смерти многих русских солдат. Впрочем, он понимал — оправдание жалкое и несостоятельное: спасение нескольких тысяч не искупает гибели миллионов. Избежать же этой гибели можно, лишь покончив с войной и с социальной системой, войну порождающей.

Это он утверждал. Разумом.

И это он отрицал. Поступками,

Отсюда мучительный внутренний разлад, доставлявший так много страданий.

Но все они были ничтожной малостью в сравнении с бездной горя, в которую война ввергла страну. Обезлюдели деревни. Почта едва поспевала разносить похоронные уведомления.

Надвигалась разруха. Назревал голод. Перед булочными вились траурные ленты очередей.

.. А на фронте лихие генералы и продавшиеся врагу начальники тысячами клали солдат в землю, чтобы назавтра ту же самую землю отдать неприятелю,

В народе вздымалось недовольство. Грозный рокот все нарастающего революционного приboя не могли заглушить ни шавки, лающие из шовинистических подворотен, продажные писаки из рептильной прессы, ни красномордые, зычно рыкающие громилы из черносотенных союзов "русского народа" и "Михаила-архангела".

Но тупые правители все равно продолжали накручивать ручку пропагандного граммофона.

И граммофон трубил. Хотя и хрипло, надсадно, но трубил.

Как-то, будучи в Москве, Красин, проезжая по городу, вынужден был слезть с извозчичьей пролетки.

Узкий проезд перед Иверской часовней, ведущий на Красную площадь, был забит толпой.

Протискавшись сквозь нее, он увидел громадный портрет царя, колышущийся над головами. Рядом парил Георгий Победоносец, на скаку разя копьем поверженного змия.

Божественное пение. Иконы. Хоругви. Пучеглазые рожи пьяных охотнорядцев, дворников, босяков.

Манифестация "народного гнева", организованная правительством.

А чуть позже сыны отечества и слуги государя гневались уже не на площади, а на Кузнецком мосту. Но теперь в руках у них были не иконы и хоругви, а штуки бархата, ситца, сукна. Погромщики разносили мануфактурный магазин немецкой фирмы «Циндель», а городской на углу невозмутимо стоял на своем посту.

Пошлая инсценировка "народного воодушевления" вызывала омерзение, а ее устроители — презрение. Ибо оти ничтожные глупцы не понимали, что фарсом не остановить развития великой исторической драмы под названием революция. Ее, по выражению Ленина, всесильным режиссером была война.

Война ускорила приход революции.

27 февраля 1917 года русское самодержавие пало.

Свершилось то, за что Красин боролся с юных лет, чему отдал, почитай, всю свою жизнь. Пришел конец поре отчаяния. Настала пора радости.

Радость мчалась по Руси. Телеграфными депешами, горластыми митингами, распахнутыми воротами тюрем, алым цветением лозунгов и знамен, меднотрубными всплесками "Марсельезы".

Отречемся от старого мира, Отряхнем его прах с наших ног...

Победа как вино, она пьянит. А нередко и опьяняет.

Но сладкий хмель, как правило, несет горькое похмелье.

Красин не испытывал ни того, ни другого, ибо трезво оценивал происшедшее. Февральская революция была не завершением, а началом — началом борьбы за победу революции социалистической. Лишь пролетарская революция могла до конца решить коренные вопросы жизни: покончить не только с царизмом (что случилось в феврале), но и с капитализмом и установить диктатуру пролетариата.

" Он слишком хорошо знал тех, кто ухватил власть, чтобы тешиться

ложными надеждами. Во Временном правительстве собрались помещичьи зубры и промышленные тузы, они, понятное дело, не думали поступаться своими интересами.

Сидящий на суку рубить сук не станет. Смешно и наивно было бы представить князя Львова раздающим свои земли крестьянам, а Коновалова, Гучкова, Терещенко вводящими на своих заводах восьмичасовой рабочий день. Вся эта публика наживала огромные барыши на войне и, естественно, требовала "свято выполнять обязательства перед союзниками", продолжать войну до победного конца.

Повторялась известная лафонтеновская притча о Бертроне и Ратоне. Кто таскал Из огня каштаны, остался ни с чем. Каштаны ел тот, кто даже не обжег кончиков пальцев.

Капиталисты и помещики держались у власти благодаря негласной, а затем и гласной поддержке меньшевиков и эсеров, которые пробрались к руководству Советами и видели в них не орган революционной власти рабочих и беднейших крестьян, а придаток Временного правительства.

Чтобы ловчее обманывать массы, решено было создать коалиционное правительство. Лидер меньшевиков Церетели предложил князю Львову ввести в кабинет Пошехонова и Пере-верзева, примыкавших к эсерам, и Прокоповича с Малянтовичем, близких к меньшевикам.

Эта идея, свидетельствует Церетели, пришлась Львову по душе. "Он даже сам назвал несколько новых возможных кандидатов, из которых поразило меня и запомнилось имя Красина. С Красиным я познакомился в 1903 году, когда он был близким сотрудником Ленина. Но в 1917 году Красин стоял совершенно в стороне от большевистской партии и занимал крупное место в каком-то промышленном предприятии".

Львов ошибся. Не только участвовать в обманном антинародном правительстве, но даже косвенно поддерживать его Красин не собирался.

Ошибался и Церетели. К тому времени Красин уже не стоял в стороне от большевиков. Он шелк ним. Подобно притоку, который, то петляя меж высоких берегов, то разливаясь по широким поймам, все же стремится рано ли, поздно впасть в могучую реку.

"После Февральской революции Красин стоял вне нашей организации. Однако он и тогда был близок к большевизму", — вспоминает Авель Енукидзе.

Он и организовал две встречи Красина с Лениным вскоре же после возвращения Владимира Ильича из эмиграции.

Встречи эти сыграли решающую роль в дальнейшей судьбе Красина.

— "Владимир Ильич, — говорит Енукидзе, — никогда не пошел бы к

человеку, если бы не ждал крупных результатов от этой встречи, если бы не придавал громадного значения связи с этим человеком. Эти свидания длились по несколько часов, они не привели к тесной связи, но чрезвычайно много устранили из того, что накопилось за три-четыре года разрыва.

Красин умел свои несогласия с Владимиром Ильичей ставить резко и доводить до конца, как то же самое любил делать Ленин.

В вопросах революции, взятия власти путем вооруженного восстания, во всех важнейших вопросах они договорились до конца, поняли друг друга насквозь и знали, в чем могут сойтись, на что может рассчитывать Ленин, привлекая к работе Красина, и какие разногласия продолжают их разъединять.

Свидания происходили в канцелярии завода Барановского около Большого проспекта в Петрограде. Мы сидели, Ленин обыкновенно лежал на кушетке. Ленин то хохотал, то сердился, но совершенно прямо они говорили друг другу то, что каждый чувствовал. Благодаря этим беседам Красин вернулся к большевикам и стал с ними работать".

Случилось это позже. Полгода спустя. Зимой. Весною же, разговаривая с Лениным в своем служебном кабинете на заводе Барановского, Красин многого еще не понимал и во многом сомневался. Он опасался перехода власти к Советам, считая, что для этого еще не пробил час.

Своими мыслями он делился с Горьким. Они по-прежнему очень дружили. Вместе с Горьким он основал газету под старым памятным и милым обоим названием "Новая жизнь". Однако по мере того, как газета все гуще окрашивалась в меньшевистские тона (ее редактором стал Н. Суханов). Красин все дальше отходил от редакции, пока совсем не забросил ее.

Красин и Горький часто виделись и проводили долгие часы в раздумьях о судьбе революции.

— Не сладят, — говорил он Горькому. — Но, разумеется, эта революция даст еще больше бойцов для будущей, несравнимо больше, чем дали пятый, шестой год. Третья революция будет окончательной и разразится скоро. А сейчас будет, кажется, только анархия, мужицкий бунт.

Горький помалкивал, грустно улыбаясь в усы. Он был согласен с другом и последнее время все чаще вспоминал невеселую сентенцию пушкинского героя:

— Не дай бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

Окончательно вернулся Красин к большевикам после победы Октября.

Убедившись, что "сладили".

Произошло это в трудную пору, когда Советская власть только что родилась, едва встала на ноги и делала самые первые шаги.

XI

Лето от рождества Христова тысяча девятьсот семнадцатое грохотало грозами, "гремело громами, сверкало молниями.

И мчалось событиями.

Такими же грозowymi.

Их бурный поток сносил, как полову, министров, лидеров, вершителей, деятелей. Не стало в правительстве кадетов и октябристов. Ушли Милюков и Гучков.

Пришли эсеры и меньшевики. Керенский, Чернов, Церетели, Скобелев.

А события все нарастали, обнажая и людей и партии. С них сходила позолота.

Эсеры и меньшевики вчера еще клялись революцией. Нынче они душили ее. На фронтах гнали солдат на убой. В Петг рограде расстреливали демонстрантов из пулеметов.

Когда Керенскому предложили арестовать крупных капиталистов, он с негодованием воскликнул:

— Что же мы, социалисты или держиморды?

Но его же правительство отдало приказ об аресте Ленина, разгромило большевистскую «Правду», сажало за решетки большевиков.

Страна катилась к пропасти. Осенью она уже находилась у самого края ее.

В субботу 21 октября, развернув поутру газету "Новая жизнь", Красин прочел заголовок передовой — "МАРАЗМ".

Статья начиналась словами:

"Никогда еще Россия не находилась в таком отчаянном положении, как в переживаемые нами дни..."

А далее автор писал:

"Фактически власть в стране захватил авантюрист... Он господствует в нашей прессе, инсинуирует, клеветает, лжет до самозабвения, ругается, как базарная торговка, и колотит себя в грудь в припадках патриотического исступления.

Интеллектуальное и моральное царство прохвостов знаменует собой гибель страны".

Страну спасли Ленин, партия, пролетарская революция. Ленин и партия большевиков привели трудовой народ к великой победе Октября.

Время безжалостно. И всеильно. Оно стирает из памяти поколений имена, события, даты.

Как писал поэт:

Река времен в своем стремленья Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей...

Что для современника незабываемо, забывается потомком. Отец до последнего вздоха помнит день и число, когда началась мировая война, ибо эта роковая дата предопределяет час его гибели. А сын-школяр лишь десятилетие спустя, отвечая на вопрос учителя, собьется и спутает дату. О внуке и правнучке и говорить не приходится.

Та или иная дата чем дальше уходит в века, тем больше стирается временем. И становится добычей историков, а не достоянием живой памяти людей.

Кто сейчас помнит день, когда первая пирамида Египта воздела к небу свою вершину?

Кто помнит день, когда первый еретик взошел на первый костер?

Кто помнит день, когда первая пуля вылетела из первого ружья и принесла смерть?

А ведь для участников этих событий не было в жизни важнее дат.

И лишь немногому дано избежать забвения и остаться навсегда в живой памяти людской.

Таких дат за всю историю человечества едва ли наберется неполная горсть.

25 октября (7 ноября) 1917 года — дата, которой суждено никогда не померкнуть в памяти людской, ибо с этого дня человечество вступило в новую эру своего существования — эру всеобщего обновления мира, эру перехода от капитализма к социализму. В этот день народы России первыми на земле стали свободными. И указали всем другим народам планеты путь к освобождению.

Завоевать свободу было трудно. Но еще труднее — завоеванное отстоять. Кругом были враги. И вне и внутри страны. Они встретили Советскую власть в штыки.

И пошли против нее со штыками наперевес.

На Ленина, на большевиков, на все новое, только что проглянувшее на свет, обрушивались брань и клевета.

"Что такое большевизм? Это смесь интернационалистического яда с русской сивухой. Этим ужасным пойлом опаивают русский народ несколько неисправимых изуверов, подкрепляемых кучей германских агентов. Давно пора этот ядовитый напиток заключить в банку по всем

правилам фармацевтического искусства, поместить на ней мертвую голову и надписать: яд!"

Так писал Струве, что не удивительно. Весь путь его жизни (марксист, разумеется легальный, — кадет — антисоветчик) вел к таким словам.

Удивительно другое — ему вторили и те, кто, не будучи врагом революции, отнесся к революции враждебно, панически перепуганный ею.

"Рабочий класс должен знать, что чудес в действительности не бывает, что его ждет голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная кровавая анархия, а за нею — не менее кровавая и мрачная реакция.

Вот куда ведет пролетариат его сегодняшней вождем, и надо понять, что Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата".

Это напечатано через две недели после Октября в газете "Новая жизнь". Автор некогда активно и много помогал партии, сопутствовал большевикам, дружил с Лениным, тесно дружил с Красиным.

Но, пожалуй, самым разительным было то, что удары сыпались не только со стороны прямых врагов пролетариата, всяких, как тогда выражались, «бывших» — царских генералов и офицеров, помещиков и заводчиков, саботажников-чиновников, не только со стороны ставших открытыми контрреволюционерами меньшевиков и эсеров, но и со стороны своих. Некоторые партийцы, не веря в силу молодой Советской власти, ратовали за то, чтобы разделить ее с представителями других партий. Они тянули к буржуазному парламентаризму, на деле и по существу отказывались от диктатуры пролетариата..

Когда Ленин и ЦК потребовали от оппозиционеров прекращения дезорганизаторской деятельности, Ногин, Рыков, Милютин, Теодорович сложили с себя звания народных комиссаров и покинули Советское правительство. Каменев, Зиновьев и те же Рыков, Милютин и Ногин вышли из Центрального Комитета партии.

Ленин и ЦК заклеили их, заявив, что "дезертирский поступок нескольких человек из верхушки нашей партии не поколеблет единства масс, идущих за нашей партией, и, следовательно, не поколеблет нашей партии". [\[12\]](#)

Некоторые из дезертиров не только бежали с поля боя, но и глумились над сражающимися.

— Только такие дураки, как вы, еще продолжают работать. Разве вы не видите, что положение безнадежное? — издевательски посмеиваясь, говорил Пятницкому один из бывших товарищей по революционному

подполью,

А время меж тем рвалось вперед, неистово и нетерпеливо, сглатывая дни, недели, месяцы.

Чем дальше убегало время, тем сложнее становилась обстановка. Крепчал голод, росла разруха, разваливалась армия на фронтах.

"Все, — вспоминает М. Кедров, — кричало о полном развале фронтов, о массовом уходе солдат с фронта, не ожидая приказа о демобилизации. Когда, например, подавались составы поездов для увоза в тыл имущества, солдаты форменным образом штурмовали вагоны для себя, облепляли буфера, крыши, приводя часто в негодность весь подвижной состав. Артиллерийские лошади дошли до такого состояния, что не только не могли везти груз, но с трудом стояли на ногах".

Народ смертельно устал от войны, народ жаждал мира.

Борьбу за него Ленин и большевики начали сразу же с победой Октябрьской революции. На следующий день после ее свершения II Всероссийский съезд Советов принял декрет о мире.

Советское правительство не раз предлагало мир и странам Антанты и немцам. Но бывшие союзники России оставались глухи к мирным предложениям.

Тогда Советское правительство вынуждено было вступить в сепаратные переговоры с Германией и ее союзниками.

Переговоры начались в Брест-Литовске и протекали в трудной обстановке.

Но еще труднее была обстановка, складывавшаяся в партии. Против Ленина и мира повели ожесточенную борьбу так называемые "левые коммунисты" — Бухарин, Пятаков, Радек, Бубнов, Осинский и другие. Прикрываясь хлесткими фразами о революционной борьбе с империализмом, они требовали прекращения брестских переговоров.

Их поддержал Троцкий. Выступая с капитулянтских позиций, он предложил "войны не вести, мира не подписывать и армию распустить".

Даже Дзержинский, Фрунзе, Куйбышев и те поначалу не поддержали Ленина.

Тяжно, невероятно тяжело было Владимиру Ильичу. В ту жестокую пору каждый надежный человек был подспорьем и ценился на вес золота.

Возвращение Красина был как нельзя кстати.

Он вернулся в декабре 1917 года. С самого начала брестских переговоров Красин пристально следил за ними. Ибо так же, как Ленин, видел спасение в мирной передышке. Надежд Троцкого и "левых коммунистов" на скорую и спасительную мировую революцию он не

разделял.

— Головоотяпы, — сердито бранил Красин ультралевых. — Вы такого наворотите с вашими «идеями», что потом и за сто лет не расхлебают.

"Красин, — вспоминал А. Иоффе, проводивший мирные переговоры в Бресте, — более всего требовал «реализма». В нашу "ставку на мировую революцию" он и тогда не верил и с самого начала хотел договариваться с немцами "всерьез".

Морозным вечером, когда иззябшие деревья чуть слышно позванивали заиндевельными сучьями, а из поминутно отворяемых входных дверей вырывались клубы пара, он пришел в Смольный.

Часовой подозрительно поносился на хорьковую шубу с воротником из седого бобра, на высокую каракулеву шапку (что еще за буржуй недорезанный заявился?), долго и недоверчиво разглядывал документы, но в здание пропустил: и бумаги и пропуск были в полном порядке.

В одной из бесчисленных комнат бурливого, трезвонящего телефонами и пулеметно стрекочущего пишущими машинками Смольного он разыскал Иоффе. Тот, используя перерыв в переговорах, приехал в Петроград за инструкциями.

— Возьмите меня в Брест, — сказал Красин. — Большое дело там делаете. Быть может, я помогу.

Он, пишет Иоффе, "предложил свои услуги, хотя все его близкие по духу друзья еще с нами не работали и саботировали. По тогдашним временам большое гражданское мужество нужно было для этого".

Красин сделал выбор, решительный и бесповоротный. Теперь он мог бы сказать, подобно одному из любимых литературных героев своей юности:

— Жизнь — это поле битвы, где самые тяжкие ранения постигают дезертиров. Их поражают на бегу, а они сдерживают стоны, чтобы не выдать тайну пристанища, где они бесславно стараются скрыться. Боль от ран, полученных в гуще боя, почти не чувствуется за радостью служения какому-либо достойному делу и вполне вознаграждается уважением к благородным шрамам. Мой выбор сделан! Я не дезертир, а солдат в общем строю!

Красин поехал в Брест. И как только прибыл, сразу же ушел в работу. Целиком, безраздельно. Так, как он работал всю жизнь.

Все свое внимание он обратил на решение вопросов экономических и финансовых, стремясь «выторговать» как можно больше выгод для юной Советской страны.

Недаром в былые, подпольные времена он прослыл "министром

финансов" партии. Недаром в недавнем прошлом управлял крупнейшими предприятиями. Теперь за столом переговоров один из представителей пролетарского государства разбирался в вопросах экономики не хуже, если не лучше, немецких промышленно-финансовых зубров.

Красин досконально знал все тонкости капиталистической экономики и все стороны капиталистического хозяйства. Он постиг их не со стороны, не теоретически, а изнутри, на практике. Ленин с удовлетворением отмечал:

"А Красин *знает* это дело не из коммунистических брошюр!"^[13]

Он разговаривал с немцами на равных. Оттого, пишет

Иоффе, непосредственно наблюдавший Красина в ходе брестских переговоров, "немцы {и их союзники} относились к Л. Б. с большим уважением, сразу заметив, что у него "деловой подход", а не наши "речи с улицы" — как говорили и писали немцы".

Деловитость, точное и доскональное знание предмета, трезвость суждений и оценок, ненависть к звонкой, но пустой фразе — все эти качества Красина и раньше бесконечно импонировали Ленину.

Сейчас он ценил их вдвойне. Ибо сейчас, как никогда, партии нужны были деловые люди, реалисты, созидатели, а не говоруны, вспышкопускатели, критиканы и разрушители, кои за последнее время расплодились во множестве.

Оттого 2 июня 1918 года Владимир Ильич писал Иоффе (тот вел в Берлине переговоры с немцами): "Надеюсь, что Красив и Ганецкий как деловые люди Вам помогут и все дело наладится"^[14].

Дело, которое имел в виду Ленин, было чрезвычайно сложным. Подписанный 3 марта 1918 года в Бресте мирный договор принес передышку. Но недолгую. Уже весной немецкие войска оккупировали Прибалтику, Белоруссию, Украину, вторглись в Крым, двинулись в наступление на Орел, Курск, Воронеж. Предлогом послужило то, что ряд вопросов, связанных с границами Советской России, Брестский договор оставил неурегулированными.

Летом Советское правительство направило в Германию делегацию для новых переговоров, на этот раз о "Дополнительном соглашении" к договору, недавно подписанному в Бресте.

Вслед за делегацией в Берлин прибыл и Красин.

Берлин нынешний мало походил на Берлин прежний, того-времени, когда он видел его в последний раз.

Самодовольную унылость сменило уныние.

Улицы полны были калек — на колясках, на костылях, слепых, безногих, безруких.

У молочных, мясных и бакалейных лавок толклись очереди. Женщины с бледными, испитыми лицами подолгу дожидались продуктов, да так и расходились по домам с пустыми кошелками, злые и печальные.

Вагоны подземки, трамваи, вокзалы были забиты военными; ми, не щеголеватыми и по-прусски надменными и подтянутыми, как прежде, а потрепанными и озлобленными.

Коса войны прошла и по Германии.

То, что приметил острый глаз Красина с первого же дня по приезде, не хотели примечать, а главное, брать в расчет правители Германии. Вопреки невероятной усталости народа они упрямо стремились продолжать войну, а необходимые для этого средства норовили урвать, ограбив Россию.

Ленин, направляя советских дипломатов в Берлин, поставил перед ними ответственную и сложную задачу — умерить империалистические притязания Германии, отстоять жизненные интересы Советской республики, обеспечить мир. Участие Красина в переговорах Владимир Ильич горячо приветствовал. В своем письме Иоффе он писал: "Что «двинули» Красина, это очень хорошо".^[15]

Выполнению ленинского задания Красин и подчинил всю свою деятельность в Берлине.

Была она отнюдь непростой и трудной. Разговаривать приходилось с высшими чиновниками рейха. Ни времени, ни военных неудач и поражений, ни горестей, ни бедствий и страданий народных для них словно не существовало. Они ничуть не переменились и ничему не научились, они были такими же, как десять лет назад, — гладкими, лощеными, спесивыми. И высокомерно-агрессивными.

Чтобы чего-либо добиться, нужны были неисчерпаемое терпение, ум и хитроумие, твердость и гибкость, настойчивость и тактичность и главное — беспредельная преданность делу, которому служишь, тому делу, ради торжества которого не на жизнь, а на смерть боролась окровавленная, голодная, разутая, раздетая Советская Россия.

Среди многих недугов, терзающих человечество, одним из самых распространенных и злосчастных является неконтактность.

Человек отделен от человека только тонким слоем кожи. Но эта преграда толще и крепче китайской стены. Иной раз пройти сквозь нее труднее, чем верблюду пролезть сквозь игольное ушко. Трудно, невообразимо трудно сходятся меж собою люди.

Чтобы преодолеть неконтактность, помимо доброй воли, нужно время.

Чаще всего долгое.

Но оно сжимается до предела, если его наполняют большие события. Тот, кто под проливным огнем вскакивает со спасительной земли и кидается в атаку, мгновенно находит контакт с соседом по цепи. Атакующий сосед становится ближе самого близкого и старого друга.

Ничто так не сближает, как совместная борьба. Найдя свое место в ней, Красин обрел контакты с теми, с кем некогда был разведен спорами и несогласиями.

Красин, как и вся партия, вел борьбу, изнурительную, упорную, но насущно необходимую, — за мир, за то, чтобы заплатить за него возможно менее обременительную цену.

Он вел переговоры и с дельцами, и с дипломатами, и с генералами, утверждая, что интересы Германии лежат не в войне, а в мире, призывая к деловым связям на основе взаимных интересов. Вооружившись фактами и цифрами, он с неустанной настойчивостью доказывал, что вопреки множеству противоречий Германию и Советскую Россию может связать одно звено — взаимовыгодная торговля. Нормальные экономические связи — это то, в чем нуждается и та и другая сторона.

Его внимательно слушали: он говорил дело, да и сам был человеком деловым, хорошо известным немцам. Многие знали и помнили его еще по прошлым годам.

Красин был человеком не только деловым, но и отлично осведомленным, что, впрочем, одно и то же, ибо первое предполагает второе. Он прекрасно знал экономику Германии, ее нужды и потребности, поэтому предложения свои выставлял не наобум и наугад, а точно направляя в цель.

Не удивительно, что, когда он предложил русскую медь, марганец и лен взамен немецкого угля, его предложение вызвало живой интерес.

Подобно опытному военачальнику, который немедленно вводит ударные силы в образовавшийся прорыв, он завязал переговоры с фирмой "Гуго Стиннео.

Переговоры увенчались соглашением, и в Петроград прибыли два немецких парохода с углем. Когда они отплыли обратно, их трюмы были загружены железным ломом, медной стружкой, льном.

Закрепляя и развивая первый успех, он повел переговоры с германским министерством торговли и промышленности. В результате был заключен договор, по которому Россия получала 100 тысяч тонн угля и кокса в обмен на лен, пеньку и другие товары.

27 августа 1918 года советская делегация, наконец, подписала в

Берлине три "Добавочных договора" к Брестскому договору. Хотя условия, на которые пришлось пойти, была тяжкими, главное было достигнуто — мирная передышка продлена.

"Если мы в договоре дали самый крайний минимум того, что могли обещать, если мы «выторговали» у немцев в этом договоре максимум того, что тогда от германцев-победителей можно было получить, — то в этом большая часть заслуг Леонида Борисовича Красина", — вспоминает А. Иоффе.

Когда Красин возвратился из Берлина в Москву, все преграды былых несогласий окончательно пали. И он о них позабыл, и друзья про них не вспоминали. Красин вновь полностью и во всем завоевал доверие партии.

19 августа Ленин писал Э. Склянскому:

"Податель — тов. Леонид Борисович Красин, старый партиец, о котором Вы, вероятно, тоже наслышаны. Примите его, пожалуйста, *тотчас* и окажите ему *полное доверие*". ^[16]

По решению Совета Народных Комиссаров Красин был введен в состав Президиума ВСНХ — Высшего Совета Народного Хозяйства.

Он остался в новой столице, жить и работать.

Москва скалилась пустотой магазинных витрин, окнами домов с фанерой вместо стекол, парадными, забитыми досками.

Улицы были не по-летнему пусты. Редкие прохожие торопились, озабоченные, молчаливые. Даже Столешников, прежде переполненный пестрой фланирующей толпой, был немногочислен. Мимо заколоченных кофеен и конфекционов спешили люди в потертых кожанках, френчах, 'толстовках из мешковины. Сапоги — редкость. Все больше ботсы на деревянных подошвах да обмотки.

Ильинка, это извечно оживленное московское Сити, и та опустела. Лишь изредка, фырча и чихая, проедет старый, полуразбитый автомобиль, направляясь в Кремль, и снова все пусто и тихо.

Даже неугомонная Сухаревка, с ее толчейным, шумным торжищем, затихла и опустела. Ветер гонял обрывки газет да ворошил кучи мусора, наматывая весь этот сор на ржавые рельсы, по которым редкий трамвай со скрежетом и визгом огибал Сухареву башню.

Город притих, голодный и насупленный, по ночам поглощаемый мглой. В серой мгле под лунным лучом вяло поблескивали стекла уличных фонарей, слепых, лишних, ненужных.

Казалось, жизнь в Москве едва теплится и вот-вот угаснет.

Но это было не так. На самом деле город жил. Напряженно, трудно, однако жил.

На окраинах дымили заводы, хотя и не все — многим не хватало топлива и сырья. К станкам и машинам становились люди, изможденные, исхудалые, с ввалившимися щеками. На день они получали осьмушку бурого хлеба из ржаной муки, перемешенной с толченым жмыхом. Но люди работали, работали, не жалея сил и здоровья, ибо трудились не на хозяина, а на себя, на свою родную Советскую власть.

Разъясняя широким массам трудящихся значение и величие победы Октября, Красин писал в те годы:

"Завоевание государственной власти, отмена частной собственности на землю и передача ее в распоряжение трудящихся, уничтожение частной собственности и национализация всех средств и орудий производства — это есть три величайших завоевания народа, которые никакая другая власть в мире не могла дать, и не дала; и не даст никогда трудовому народу и которые единственно могут быть даны трудящимся и удержаны только при советском строе".

На плацах и казарменных дворах шло поспешное обучение красноармейцев. Они кололи штыками чучела, перепрыгивали через окопы и траншеи, целились в мишени — толстолицый капиталист в цилиндре, с неперменной сигарой в углу широко разинутого рта, — ползали попластунски. Чтобы несколько дней спустя уже не понарошку, а взаправду колоть и стрелять иностранных интервентов и беляков, развязавших гражданскую войну.

В райкомах партии и заводских партячейках формировались рабочие отряды для похода в деревню, за продовольствием. Кулаки и спекулянты прятали хлеб, чтобы прикончить революцию голодом. Борьба за хлеб стала борьбой за социализм.

В Кремле с утра и до поздна работал Ленин, направляя шаг молодого Советского государства. Он беспощадно боролся с теми, кто пытался набросить на горло народа удавку голода.

Но Москва жила и другой жизнью, скрытой и опасной. В тихих московских переулках, в барских особняках, казавшихся с фасада вымершими, шла глухая, тщательно припрятанная жизнь. Здесь, в глубинных комнатах, тайком и крадучись, собирались враги революции, плели сеть заговоров, версий, мятежей.

30 августа столицу потрясло известие: террористка Каплан совершила покушение на Ленина, ранив его отравленными пулями.

В те тревожные дни ранней осени восемнадцатого года, I волнуясь за жизнь Владимира Ильича, Красин всем сердцем ощутил свою неотделимость от Ленина, неразрывность своей личной судьбы, судеб

России, партии, революции с ленинской судьбою.

Враг, подняв руны на вождя, просчитался. Злодейская пуля поразила Ленина, но не внесла поражения в ряды ленинцев. Они сомкнулись и стали еще монолитнее. "Покушение, — пишет Н. — К. Крупская, — заставило рабочий класс подтянуться, теснее сплотиться, напряженнее работать".

В напряженном труде вместе с партией и народом находил Красин в ту суровую, беспокойную пору и успокоение и отраду.

Ленин лежал в постели. За его жизнь боролись врачи.

И Ленин шагал в боевых шеренгах, могучий и несломимый. За претворение в жизнь его предначертаний боролись его соратники, в том числе Красин.

Созданная Лениным Красная Армия билась с врагом. Фронт нужно было питать — снарядами, патронами, вооружением, обмундированием, продовольствием. В условиях голода, разрухи, развала транспорта это было делом невероятной трудности. Именно поэтому Ленин и поручил его Красину. Он был назначен председателем Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии.

Дни и ночи, ночи и дни за малым вычетом передышек на сон отдавал он тому, чтобы невозможное сделать возможным — найти в стране, казалось, вконец истощенной и разоренной, средства, насущно потребные фронту. Мобилизовывались все материальные ресурсы, изыскивалась и использовалась каждая возможность.

Но мобилизации одних лишь материальных ресурсов было недостаточно. Необходимо было пустить в ход максимум и ресурсов людских.

Пролетариат, как ни тяжело ему приходилось, работал самозабвенно, не считаясь с невероятными лишениями, презирая и превозмогая их. В Питере, например, рабочие по целым неделям не получали, ни фунта хлеба или картошки, а одни лишь орехи и семечки. В городе почти не было лошадей: часть была давно съедена, часть подохла, часть увезена в деревню, а часть реквизирована на нужды гражданской войны. С улиц исчезли собаки и кошки. Праздничным угощением в рабочей семье был жидкий морковный чай с таблеткой сахарина да картофельная лепешка с льняными выжимками.

И тем не менее пролетариат безотказно трудился, героически выполняя свой революционный долг.

Труднее было привлечь к созидательному труду интеллигенцию. Многие представители ее не приняли новой власти, саботировали все распоряжения, уклонялись от работы. Они боялись разрушительной силы

революции и не верили в ее силу созидательную.

Были и такие, кто избрал путь прямой контрреволюционной борьбы, став участниками многочисленных заговоров.

Привлечь интеллигенцию на сторону пролетариата, поставить ее на службу революции — такова была нелегкая и благородная задача, которую приходилось решать Красину.

— Если буржуазия умела — хотя и не очень ловко — пользоваться силами квалифицированной интеллигенции, — говорил он Горькому, — тем более должны уметь делать это мы. Ильич совершенно согласен со мною, необходимо дать ученым все, что только мы можем дать в этих дьявольски трудных условиях.

Всей своей жизнью интеллигента, всем своим опытом инженера, всем своим существом ярко-талантливого человека Красин был подготовлен к выполнению ответственной и трудной миссии, возложенной на него партией. Подобно Луначарскому, который привлекал, оберегал и собирал художественную интеллигенцию, Красин привлекал, оберегал и собирал интеллигенцию техническую. В этом ему помогали и личные связи, долготлетние и нерасторжимые, и громкое имя одного из видных инженеров, и личное обаяние, и безупречная репутация честного, неподкупного, непоколебимого в своих убеждениях.

То, что он не только пошел за новой властью, но и взвалил "а себя бремя ее, многих убеждало лучше пространных уговоров.

За Красиным вскоре последовал его старый друг Классон. Хотя ряд заграничных фирм пытались прельстить Классона директорским креслом, огромным жалованьем, жирными дивидендами, сытой, комфортабельной и спокойной жизнью за рубежом, он остался в голодной Москве.

Пошел сотрудничать с большевиками и Винтер, солидный инженер, один из крупнейших энергетиков страны, в бакинские времена — молоденький студентик, работавший на баиловской стройке под началом у Красина.

"В 1918 году нелегко было привлечь к работе на службе нового Советского правительства старых академических работников Петрограда, замуровавшихся в своих лабораториях, — вспоминал профессор Осадчий. — К Красину все как один пошли, кого он пригласил. Он лучше всех знал их".

Красин был не просто русским интеллигентом, он был интеллигентом-ленинцем и высоко ценил культуру, накопленную человечеством. Он понимал, что все лучшее из ее нетленной сокровищницы войдет в культуру пролетарскую, которую предстоит строить не на голом месте, а на

незыблемом фундаменте общечеловеческой культуры. Ex nihilo nihil — ничто не возникает из ничего.

Поэтому он с негодованием отвергал модные в те времена ультралевые теории Пролеткульта, крикливо провозглашавшие голое и зрящее отрицание. Пролеткультовцы с их вульгарным нигилизмом, сектантской узостью и нетерпимостью живо напоминали ему пресловутого восточного деспота, приказавшего сжечь все книги александрийской библиотеки.

— Ибо, *заявил при этом деспот*, — если в книгах сказано то же, что в коране, они — лишни, если же другое, они — вредны.

Еще с юности врезалась Красину в память строка на всю жизнь любимого Пушкина:

Духовной жаждою томим...

Томление духовной жаждой — это то прекрасное, что возвышает человека, делает лучше, чем он есть, украшает и облагораживает, бережит и тревожит, не дает застояться, а властно движет вперед.

Пусть сегодня ему не до духовных ценностей, завтра он без них не проживет.

И предчрезкомснабарм Красин, дни и ночи отдавая делам текущим, изыскивая материальные ценности, необходимые фронту сегодня, урывал время и для дел, рассчитанных на день завтрашний.

Как свидетельствует Горький, "По инициативе Красина же учреждена в Петербурге "Экспертная комиссия", на обязанности которой возложен был отбор вещей, имевших художественную, историческую или высокую материальную ценность, в Петербургских складах и на бесхозяйственных квартирах, подвергавшихся разграблению хулиганами и ворами. Эта комиссия сохранила для Эрмитажа и других музеев Петербурга сотни высокоценных предметов искусства".

Заглядывать в завтра, когда сегодня застилает взор множеством забот, неотложных, насущных и тяжелых, способен не каждый. Это дано лишь тому, кто смел, прозорлив и размашисто крылат, кто мерит свои дела не одной лишь узкой меркой текущего года, но и десятилетиями, кто видит будущее в настоящем и не только видит, но и верит в него.

Так в России, объята тьмою, Ленин, а вместе с ним Красин, Кржижановский и другие большевики разглядели свет электричества.

19-октября — в зале заседаний Второго Дома Советов, что помещался в гостинице «Метрополь», Красин открыл первую сессию Центрального электротехнического совета. Он собрал в него элиту электротехнической мысли страны — тридцать профессоров-ученых и инженеров-практиков.

В первый же год революции член Президиума ВСНХ Красин

организовал проектирование крупного электростроительства в нашей республике. Он привлек лучших электротехников, теоретиков и практиков Петрограда и Москвы. Одних поставил к чертежным доскам проектировать районные электростанции. Других назначил в электротехнический совет для рассмотрения и критики работы проектировщиков:

Многочисленная группа ученых и инженеров при активном участии Красина, его однокашника по Техноложке и старого друга по большевистскому подполью, тоже отличного инженера Кржижановского, профессора Шателена и других приступила к составлению общего плана электрификации страны.

Красин и возглавляемая им Чрезвычайная комиссия по снабжению Краевой Армии не ограничивались удовлетворением ближайших нужд, как бы остры они ни были, а стремились решать перспективные задачи развития народного хозяйства.

Красин разглядел и оценил те огромные возможности, какие таит в себе Курская магнитная аномалия. Благодаря Чрезвычайной комиссии начались работы по исследованию ее. Прежде их вел немецкий ученый Лейст, но вскоре после победы Октября уехал на родину и увез все собранные материалы.

После смерти Лейста его карты, планы, вычисления перешли в собственность германского правительства, которое через своих представителей предложило Красину приобрести их. Разумеется, за большие деньги.

Красин отверг предложение немцев и обратился за помощью к русским ученым. Они откликнулись на его призыв.

Летом 1919 года в район КМА выехала экспедиция под руководством академика П. Лазарева. В течение нескольких месяцев в непосредственной близости фронта она вела исследовательские работы и собрала большой и ценный материал. Лишь приближение деникинцев заставило экспедицию прервать работу и возвратиться в Москву.

К зиме восемнадцатого года нашествие Антанты и белой гвардии сплелось с блокадой, хватким удавом стиснувшей страну. К голоду прибавился холод.

Люди мерзли и выбивались из сил, что в завьюженные степях, уходя в разведку, что в давно не топленных кабинетах наркоматов.

Пожалуй, тому, кто в морозную стужу лежал за пулеметом., было даже легче. Как-никак его согревал фронтной паек, а после боя костер или тепло натопленной избы.

Москва же, Питер, Тула, голодные, лишенные топлива, промерзали,

что называется, до мозга костей.

В те дни Красин похудел и осунулся. Пайкового обеда хватало разве что на час-полтора. А там снова и опять поса-сывание под ложечкой, тоскливое и надоедливое.

И все же он не терял бодрости. Проезжая в полуразбитой машине по заснеженной, оледенелой Москве, сидя в промерзшем, чадном от неистово дымящей, но не согревающей «буржуйки» кабинете — на плечах шуба внакидку, на ногах тяжелые боты, — он был неизменно весел и оживлен.

— Как вы думаете, сдюжим? — спрашивал у него один из друзей. — Времена не из легких.

— Что касается меня, я так уверен в победе, что нет даже тени сомнений... Хорошие времена... Будет что вспомнить, — отвечал он и заливался смехом. Вспоминал одного из своих посетителей — иностранного коммерсанта. Приехав в Москву по делам, сей муж только и делал, что глотал опий. Еще бы, дикий мороз, а теплых уборных нет. Вот он и закреплял свой желудок, чтобы действовал пореже.

Вера в победу, в необоримую силу революционного пролетариата, взявшего власть, никогда не покидала Красина. Летом 1919 года, когда над красным Петроградом нависла серьезная угроза, он прибыл в город. И встретился с Горьким. Тот вспоминает:

"— Не знаю товарища, который был бы так надежно наш, как «Никитич», — сказал о нем мой земляк «выборжец» П. А. Скороходов во дни наступления Юденича на Петербург, как раз в тот день, когда отряды Юденича, наступая на Тос-зо, грозили отрезать Петербург от Москвы.

В тот день многие в Петербурге растерялись, подчиняясь панике, а Леонид, стоя у окна в моей квартире на Кронверкском и слушая, как бухает пушка броненосца, ворчал:

— В Гавани, вероятно, крыши сносит с домов и все стекла в окнах к черту летят. Разор!

Кто-то спросил его:

— Отразим?

— Конечно, прогоним. Дураки — убегут, а убытки останутся.

И удивленно передернул плечами:

— Чего лезут, черт их побери? Ведь и слепому ясно, что дело их — дохлое".

Он был прав, дела интервентов и белогвардейцев действительно оказались дохлыми. 1919 год стал годом коренного перелома в гражданской войне. Молодая Красная Армия разбила основные силы внутренней и внешней контрреволюции.

Время, скупое на радости житейских мелочей, расщедрилось в крупном. Жестоние и победоносные бои закончились разгромом Колчака на востоке, Деникина на юге, Юденича на западе и Миллера на севере.

"Советская Россия, — с гордостью и радостью писал тогда Красин, — достигла максимума того, что военная наука считает вообще условием победы".

Радость побед умножалась радостью сознания, что в этих победах толика и твоего труда, напряженного труда и в Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии, и в ВСНХ, и в Совете Рабочей и Крестьянской Обороны — главном военно-хозяйственном центре республики.

Членом Совета Красин стал сразу же после его создания. 1 декабря 1918 года на первом заседании СО, на котором председательствовал Ленин, было принято следующее решение:

"Поручить товарищу Красину ввести третью смену на тульских патронном и оружейном заводах и поручить Комиссариату продовольствия доставить достаточное количество продовольствия в пункты размещения заводов. Об исполнении доложить в среду (3 декабря 1918 года). Увеличить выдачу продовольствия рабочим... постепенно, до размеров красноармейского пайка, при условии доведения производства до максимальных размеров".

В те годы Тула была главной оружейной мастерской страны. Поднять производительность труда туляков — вот к чему звал Ленин. И Красин всю неукротимую силу своей энергии обратил на то, чтобы тульские оружейники работали больше и лучше.

Его деятельность высоко ценилась партией, Лениным. "Неоднократно приходилось беседовать мне с Владимиром Ильичей о Леониде Борисовиче, — пишет Кржижановский, *и при этом всегда констатировать особое расположение Владимира Ильича к т. Красину.* Владимир Ильич высоко ценил многостороннюю красочную талантливость Леонида Борисовича, его кипучую энергию, его волевою самособранность, его особую «находчивую» работоспособность и, наконец, его всегдашний отклик на зов пролетарской борьбы".

По предложению Ленина Красин был введен в состав Советского правительства.

— Сноровка Красина — финансиста партии в денежных делах — толкнула Ленина на мысль о поручении Красину политики внешней торговли, — вспоминает А. Луначарский.

С ноября 1918 года он стал наркомом торговли и промышленности (впоследствии наркомвнешторг), а с февраля 1919 года и народным

комиссаром путей сообщения.

Новое дело, доставшееся ему, было немислимо трудным. Впрочем, это не удивительно. В те времена легких дел вообще не существовало.

На транспорте свирепствовала разруха, жестокая и беспощадная. Железнодорожные узлы были забиты теплушками, классными вагонами, паровозами. Одни из них стояли, ибо давно отходили свое и годились разве что на слом, другие подолгу и безнадежно дожидались ремонта, третьих парализовал топливный голод.

"Если мы не наладим транспорта, — писал Красин, обращаясь к рабочим-железнодорожникам, *то мы не будем в состоянии вывезти продовольствие и топливо с востока и юга в промышленные и политические центры*, мы не сможем воспользоваться плодами победы Красной Армии...

Обязанность каждого сознательного рабочего — неустанно твердить о том, что без подъема транспорта мы не в состоянии будем использовать наших побед. Наш главный враг — империалистические правительства Западной Европы и Америки... — план удушения Советской России строит на изнурительной борьбе, которую мы вынуждены вести. Он базирует ее на том, что, лишив нас продовольствия и топлива, заставит нас сложить оружие и пасть в борьбе... Главная опасность — в разрухе транспорта".

Став наркомом, Красин собрал все технические силы и привлек к делу лучших специалистов страны.

1 сентября 1919 года он открывает заседание созданного им Совета научно-технического комитета НКПС и ставит задачу технического совершенствования и реконструкции транспорта.

Он заказывает за границей новые паровозы и налаживает ремонт старых. Централизует управление железными дорогами, улучшает организацию эксплуатационной службы.

И удивленно передернул плечами:

— Чего лезут, черт их побери? Ведь и слепому ясно, что дело их —дохлое".

Он был прав, дела интервентов и белогвардейцев действительно оказались дохлыми. 1919 год стал годом коренного перелома в гражданской войне. Молодая Красная Армия разбила основные силы внутренней и внешней контрреволюции.

Время, скупое на радости житейских мелочей, расщедрилось в крупном. Жестокие и победоносные бои закончились разгромом Колчака на востоке, Деникина на юге, Юденича на западе и Миллера на севере.

"Советская Россия, — с гордостью и радостью писал тогда Красин, —

достигла максимума того, что военная наука считает вообще условием победы".

Радость побед умножалась радостью сознания, что в этих победах толика и твоего труда, напряженного труда и в Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии, и в ВСНХ, и в Совете Рабочей и Крестьянской Обороны — главном военно-хозяйственном центре республики.

Членом Совета Красин стал сразу же после его создания. 1 декабря 1918 года на первом заседании СО, на котором председательствовал Ленин, было принято следующее решение:

"Поручить товарищу Красину ввести третью смену на тульских патронном и оружейном заводах и поручить Комиссариату продовольствия доставить достаточное количество продовольствия в пункты размещения заводов. Об исполнении доложить в среду (3 декабря 1918 года). Увеличить выдачу продовольствия рабочим... постепенно, до размеров красноармейского пайка, при условии доведения производства до максимальных размеров".

В те годы Тула была главной оружейной мастерской страны. Поднять производительность труда туляков — вот к чему звал Ленин. И Краски всю неукротимую силу своей энергии обратил на то, чтобы тульские оружейники работали больше и лучше.

Его деятельность высоко ценилась партией, Лениным. "Неоднократно приходилось беседовать мне с Владимиром Ильичем о Леониде Борисовиче, — пишет Кржижановский, и при этом всегда констатировать особое расположение Владимира Ильича к т. Красину. Владимир Ильич высоко ценил многостороннюю красочную талантливость Леонида Борисовича, его кипучую энергию, его волевою самособранность, его особую «находчивую» работоспособность и, наконец, его всегдашний отклик на зов пролетарской борьбы".

По предложению Ленина Красин был введен в состав Советского правительства.

— Сноровка Красина финансиста партии в денежных делах — толкнула Ленина на мысль о поручении Красину политики внешней торговли, — вспоминает А. Луначарский.

С ноября 1918 года он стал наркомом торговли и промышленности (впоследствии наркомвнешторг), а с февраля 1919 года и народным комиссаром путей сообщения.

Новое дело, доставшееся ему, было немислимо трудным. Впрочем, это не удивительно. В те времена легких дел вообще не существовало.

На транспорте свирепствовала разруха, жестокая и беспощадная.

Железнодорожные узлы были забиты теплушками, классными вагонами, паровозами. Одни из них стояли, ибо давно отходили свое и годились разве что на слом, другие подолгу и безнадежно дожидались ремонта, третьих парализовал топливный голод.

"Если мы не наладим транспорта, — писал Красин, обращаясь к рабочим-железнодорожникам, *то мы не будем в состоянии вывезти продовольствие и топливо с востока и юга в промышленные и политические центры*, мы не сможем воспользоваться плодами победы Красной Армии...

Обязанность каждого сознательного рабочего — неустанно твердить о том, что без подъема транспорта мы не в состоянии будем использовать наших побед. Наш главный враг — империалистические правительства Западной Европы и Америки... — план удушения Советской России строит на изнурительной борьбе, которую мы вынуждены вести. Он базирует ее на том, что, лишив нас продовольствия и топлива, заставит нас сложить оружие и пасть в борьбе... Главная опасность — в разрухе транспорта".

Став наркомом, Красин собрал все технические силы и привлек к делу лучших специалистов страны.

1 сентября 1919 года он открывает заседание созданного им Совета научно-технического комитета НКПС и ставит задачу технического совершенствования и реконструкции транспорта.

Он заказывает за границей новые паровозы и налаживает ремонт старых. Централизует управление железными дорогами, улучшает организацию эксплуатационной службы.

Живой портрет Красина-наркома набросал Г. Кржижановский:

"Улица голодного пайкового года, года решающих событий на фронте. Просторный, холодный кабинет, завешанный картами железных дорог. Стройная фигура Красина, склонившаяся над грудой депеш, со всех сторон взывающих о беде, о величайшем напряжении сил. Артерии боев — линии ожесточеннейших боев. Телефонные звонки. Напряженно стало его лицо и в лучах оживленного подъема.

— Так, так, Владимир Ильич, это совпадает и с моим планом, постойте, проверю... Да, и бригады и составы подготовлены. Значит, двинем... Есть... Все... Да, да... Через десять минут у вас.

Ничего не поделаеть, друже, поговорим в другой раз, старик вызывает. Хотите, подвезу?

Несемся по длинным коридорам. Отряд с винтовками в руках у дверей. Выстраиваются.

— Приходится разве, Леонид Борисович?

А что вы думаете, батенька, ведь война, — улыбается Красин.

Автомобиль — хрипучая раздряга тарахтит нас к Кремлю".

Сюда теперь стали все чаще обращать свои взоры правители капиталистических стран. Хотели они того или нет (большую частью не хотели), сама жизнь понуждала их поглядывать на Кремль.

Красная Россия становилась той общепризнанной реальностью, которую никаким непризнаниям не дано заслонить.

В декабре 1919 года Красин прибыл в Юрьев. Во главе советской делегации по мирным переговорам с Эстонией.

С эстонцами он встречался и раньше — два с половиной месяца назад, когда осенью начались в Пскове переговоры между двумя странами. Однако, тогда, едва начавшись, они тут же и закончились, будучи прерваны. Вернее, отложены на неопределенный срок по настоянию эстонской стороны.

Выступая на юрьевской конференции, Красин говорил:

— Произошел не только перерыв переговоров, но эстонская армия за это время приняла участие в походе на Петроград, предпринятом армией так называемого Северо-Западного правительства, под предводительством царского генерала Юденича. Исход попытки Юденича завладеть Петроградом в настоящее время достаточно хорошо известен. Менее известны, — в его голосе зазвучали ирония и сарказм, — нынешнее местопребывание Северо-Западного правительства и предположения о способах управления северо-западной Россией.

27 ноября Советское правительство получило извещение от правительства Эстонии о назначении начала мирных переговоров на 2 декабря и постановило командировать в Юрьев — Тарту делегацию, председателем которой я имею честь быть. Мы сожалеем о крови, пролитой за эти два с половиной месяца, и о погибших жизнях. Мы следуем предложению эстонского правительства, не только исходя из мудрого правила "лучше поздно, чем никогда", но и потому, что правительство Советской России останется неизменно верным в возвещенном им принципе отрицания войны между народами с первых дней своего существования...

Мы пользуемся настоящим случаем, чтобы еще раз заявить на весь мир, что рабочие и крестьяне Советской России, ни на минуту не выпуская из рук винтовку, не останавливаясь ни перед какими жертвами в отстаивании завоеваний пролетарской диктатуры, готовы во всякий данный момент приступить к мирным переговорам...

Война не может тянуться бесконечно. Кроме того, война не только не

разрушила, а, наоборот, укрепила Советскую власть, увеличив во сто крат выдержку, дисциплину, спаянность революционных рабочих и крестьянских масс России. В процессе войны не только создавалась, выросла и окрепла Красная Армия, в процессе войны рабоче-крестьянская власть нашла методы и способы восстановления промышленности, увеличения дисциплины во всех отраслях мирной работы, поднятия производительности труда...

Восстановление мирового обмена и транспорта после опустошительной войны — задача невыполнимая без участия крупнейшей поставщицы сырья всего мира — России, представляющей также крупнейший в мире потребительский рынок для сбыта всякого рода товаров...

Переговоры в Юрьеве были нелегкими. Эстонцы действовали несамостоятельно, то и дело с опаской озираясь на могущественные западные державы. Чтобы избежать их гнева, они использовали излюбленный в таких случаях метод проволочек. Иной раз казалось, словопрениям нет и не будет конца.

Но Красина невозможно было взять измором. Настойчивый, терпеливый, он с железным упорством проводил свою линию, устремленную к завоеванию прочного и справедливого мира.

В — конце концов мирный договор с Эстонией, или, как назвал его Красин, "первый мирный трактат РСФСР", был подписан.

Произошло это 2 февраля 1920 года.

Оценивая значение мирного договора с Эстонией, Красин писал:

"Наши представители получили возможность обосноваться в Ревеле. Ревель явился, таким образом, если не окном, то все-таки некоторою щелью в Европу, и через Ревель были сделаны первые попытки пополнить наше снабжение за счет европейских товаров".

Подписывать договор Красину не пришлось. Он ранее был отозван в Москву.

Советское правительство посылало на Запад делегацию в составе: Красин — председатель, Литвинов и Ногин — члены, Клышко — секретарь и других, для переговоров о возобновлении торговли со странами Антанты. 16 января 1920 года ее верховный совет был вынужден принять решение о снятии экономической блокады с Советской России.

Советы выходили на международный рынок.

Внешняя торговля! Дело это было чрезвычайно важным, новым, неизведанным. Поэтому прежде, чем приступить к нему, Красин немало часов провел с Лениным — в беседах, размышлениях, советуясь, получая

указания.

Позже, вспоминая об этих встречах, он писал:

"Вначале отношение Владимира Ильича к нашей внешней торговле или, вернее, к нашей способности практически справиться с ее задачами было несколько скептическое. Когда я развивал Владимиру Ильичу план о том, что пароходы с нашим сырьем десятками и сотнями пойдут за границу, что развитие вашего экспорта обеспечит нам правильный приток иностранной валюты и что через каких-нибудь 5 лет мы добьемся постоянного перевеса вывоза над ввозом, т. е. активного торгового баланса, Владимир Ильич, по своему обыкновению прищутив один глаз, искоса поглядывал на меня и безнадежно махал рукой, роняя иногда своей милой незабываемой, слегка картавой скороговоркой: "какие уж мы торговцы". Этот скептицизм основывался не только на том отечески насмешливом недоверии, которое Владимир Ильич всегда проявлял, когда кто-нибудь из большевиков при нем начинал распространяться, о своих практических достижениях, но и на оценке объективных внешних условий; Владимир Ильич с глубочайшим недоверием относился к капиталистическому миру и в любую минуту ожидал с той стороны каких угодно затруднений и каверз. Блокада Советской России хотя и была официально снята январским постановлением верховного совета в 1920 году, но в действительности она еще продолжалась, и сомнения в возможности беспрепятственной внешней торговли были более чем уместны. Скептицизм Владимира Ильича заходил так далеко, что он одно время даже сомневался, сможем ли мы закупать за границей товары на наше золото. Однажды он даже в полушутливой форме спросил меня: "Да сумеем ли мы израсходовать наше золото на закупку полезных и нужных товаров? Смотрите, как бы нам не опоздать". Разумеется, я успокоил Владимира Ильича уверением, что касается расходования золота, то опасности в опоздании тут никакой не будет, а, напротив, придется принимать драконовские меры, чтобы не слишком быстро расходовать золотой запас. Несомненно, этот золотой скептицизм Владимира Ильича отразился в некоторых постановлениях Совнаркома, в частности при отъезде моем за границу в марте 1920' года...

Золотая блокада, с которой нам пришлось столкнуться при наших первых закупках за границей, состоявшая в том, что по сговору буржуазных правительств и банков ни одна фирма и ни один банк не соглашались брать в оплату заказов нашего золота, является лучшим доказательством того, насколько прав был Владимир Ильич в своих опасениях по поводу внешней торговли. Эта золотая блокада причинила нашей республике потерю около 45 млн. руб. и была изжита только ко

времени подписания торгового соглашения с Англией в марте 1921 года".

XII

Пятьдесят. Полсотни. Полвека.

Впрочем, полных пятидесяти еще нет. Пока. До круглой даты остается с полгода. Но что они значат, эти несколько скоротечных месяцев?

Хочешь не хочешь, а ежели новый год настал, значит, вплотную придвинулось и пятидесятилетие.

1920–1870 = 50.

Элементарная арифметика.

Да, пятьдесят лет жизни. И как быстро они пролетели! Как писал Гораций:

Eheu! fugaces, Postume, Postume, labuntur amri.

Увы! о Постум, Постум, мчатся быстрые годы.

До тридцати они еще шли неспешной чередой. Долгие и емкие. А вот как разбил четвертый десяток, так они и замелькали. Будто вагоны встречного поезда, что проносятся на всех парах мимо окон твоего вагона.

Не успел оглянуться, и вот он уже наступил, пресловутый преклонный возраст.

Что ни говори, а после пятидесяти жизнь идет на склон,'

Хотя, если отрешиться от цифр и попытаться позабыть о них, этого склона, пожалуй, и не почувствуешь. Разве что по ночам, когда на дворе сыкотно и поламывает кости.

А в остальном все как было. словно тебе всего лишь сорок, а то и тридцать. Та же неумная тяга к труду, то же стремление своротить горы, та же бодрость и энергия, та же неистощимая работоспособность, та же цепкость памяти, та же сила, те же желания, бурные и неукротимые.

Впрочем, лета, как и другие невзгоды жизни, неизбежны. К ним надо относиться с юмором. Только с помощью его и можно сносить их груз.

Пошучивая, он говорил Кржижановскому:

— Знаете, входим в такие годы, что пора и на покой... Не служба — чин, а так, по почету... Вроде как бы "градским головой"... Надеваю на себя «цепь» и... позвольте, граждане, открыть заседание...

При этом глаза лукавились усмешкой. Он знал, несмотря на пятьдесят, до покоя еще далековато. Лет пятнадцать, а то и все двадцать. И слава богу, что

Не может сердце шить поноем... Покоя нет!..

...Покой нам только снится Сквозь кровь и пыль...

Единственно, что действительно обидно, — прежде времени родился на свет, и бурная молодость страны не совпала с твоей молодостью.

Значит, надо тем больше дел вместить в остаток лет, отмеренных судьбою наперед...

25 марта 1920 года от московского перрона отошел поезд. Он вез советскую делегацию.

И Красин и его товарищи ехали не представителями Советской власти, а кооператорами, посланцами Центросоюза.

Заправила Антанты не пожелали впрямую сноситься с ненавистным и непризнаваемым ими Советским правительством. Они разрешили своим вассалам торговать, но не с Советским государством, а с "русским народом" и все дела вести только через кооперативные организации.

Так что доверенность — мандат Центросоюза поручал делегации наладить контакты с заграничными кооперативными организациями, фирмами и промышленными предприятиями, частными лицами и правительственными органами.

"Правительственный характер делегации был очевиден для всех, — писал Красин, — но идея блокады. России до такой степени еще владела умами европейских политиков, что они не представляли себе возможным переговоры с представителями России иначе, как под кооперативной вывеской".

Вместе с тем в портфеле Красина рядом с мандатом Центросоюза лежал и правительственный мандат, выданный Советом Народных Комиссаров ему, как особо уполномоченному Советской республики с правом заключать от имени Советского государства всякого рода договоры и соглашения.

Поезд шел по стране. Под сиплый свист паровоза и ленивый стук колес его мотало на скверных, изношенных путях. За окнами плыли невспаханые поля, оголенные леса, перелески, серые деревеньки со свешеобструганными крестами погостов.

На станциях и полустанках простаивали помногу в ожидании топлива либо воды.

И каждая стоянка оглушала гулом и криками,

От вагона к вагону металась по платформе люди, норовя штурмом взять состав. Им, истомленным долгим и безнадежным ожиданием, озлобленным, голодным, поедом съедаемым вошью, было невдомек, что этот поезд, и желанный и ненавистный, отведенный не им, а "товарищам комиссарам", едет за их же благом, ибо истерзанной войной, нищетой и разрухой стране-, как кровообмен человеку, необходим товарообмен с

другими, богатыми, а не разоренными странами.

В поезде шла жизнь, деловая и напряженная. Красин никогда и нигде не терял времени, попусту. В том числе и в пути. Потому ему была неведома дорожная тоска — тягостная тоска безделья.

Он снова и снова изучал документы, делал выписки и заметки, готовился к предстоящим выступлениям, проводил совещания с членами делегации.

В Петрограде пришлось сделать остановку. Финны, шведы, англичане никак не могли столковаться, как и кому доставить советских делегатов в Швецию.

Вынужденную задержку Красин использовал для встречи со старыми друзьями — Горьким и Андреевой.

Горький повел его и Ногина в Эрмитаж — продемонстрировать плоды деятельности созданной по инициативе Красина "Экспертной комиссии". В хранилищах Эрмитажа они осмотрели богатое собрание картин, старинной мебели, гобеленов, фарфора. Эти художественные ценности, находившиеся ранее в барских дворцах и особняках, были спасены комиссией от расхищения.

Вечером он и Ногин были в гостях у Горького.

— Эх, друзья мои англичане, — с улыбкой поглядывая на новоявленных дипломатов, говорил Горький Красину и Ногину. — Погляжу на вас: вы не сэры, а просто весьма серы! Приедете туда — сейчас же отправляйтесь к портному. Честное слово, даже покойный Саввушка Морозов не выдал бы под такие костюмы ни гроша. А ведь вы за миллионами едете! И в таком затрапезном виде.

— Светлая голова у вас, Максимыч! — сказал Красин. — Совет ваш принимаю: задержусь по делам в Гельсингфорсе, приведу гардероб в порядок. А Виктору Павловичу устроит это в Стокгольме Литвинов, он уже там.

Встреча с Финляндией была обставлена с помпой. От самой границы поезд сопровождала финская воинская часть и офицер английской армии капитан Френч.

То ли почетный эскорт, то ли заурядный конвой. Как хочешь, так и понимай. Скорее, последнее.

Наплевать. Не мешали бы работать.

А работы все прибавлялось, В Выборге в поезд сели представители финского правительства и деловых кругов. С ними пошли беседы — о будущих мирных переговорах и экономическом сотрудничестве.

Неделю спустя после выезда из Москвы делегация 31 марта прибыла в

Стокгольм.

Умение быстро ориентироваться в новой обстановке сослужило Красину добрую службу и здесь. Он с поразительной быстротой разглядел в экономике Швеции то, что ему нужно было увидеть.

Шведам не хватало рынков сбыта. Экономическая блокада России порядком потрепала и их.

Своими наблюдениями и выводами он поделился с Лениным:

"Трехнедельное пребывание в Швеции и Дании убедило нас с полной несомненностью в настоящей необходимости, по крайней мере для этих стран, возобновления торговых сношений с Россией".

Жизнь подтвердила правильность его слов. Полуторамесячные переговоры закончились подписанием 15 мая в Стокгольме договоров не только с частными фирмами, но и с правительством, В Швеции удалось разместить большое количество заказов на машины, промышленное оборудование, паровозы, насосы для разрушенных железнодорожных водокачек, телефонные и телеграфные аппараты. В Стокгольме было учреждено советское торгпредство.

Это был успех. Несомненный. Конечно, Швеция не бог весть какая великая птица. Ее товаров, разумеется, не хватит, чтобы насытить русский рынок. Но договоры со шведами — манок для других, более крупных и мощных держав. Шведский пример покажет им выгоды возобновления торговых сношений с Россией.

А главное, эти договоры — первая брешь в стене экономической и политической блокады. Пусть брешь еще невелика. Лиха беда начало.

Еще не кончились стокгольмские переговоры, — хотя по всему уже было видно, что дело идет на лад, — а 7 апреля Красин уже прибыл в Копенгаген. Здесь предстояло решить задачу посложнее — провести переговоры с представителями верховного экономического совета Антанты, специально приехавшими в столицу Дании.

Первые же встречи не дали ничего хорошего. Не принесли никаких результатов и последующие встречи. Ни Красин, ни Литвинов, несмотря на всю его дипломатическую ловкость, напористость и хитроумие, как ни бились, не могли сдвинуть дела с мертвой точки.

Антанта не была расположена к миру. В то время как ее экономические представители, сидя за одним столом с советскими делегатами, растягивали канитель бесплодных разговоров, руководители деловито вооружали и укрепляли врагов Советской России — панскую Польшу и барона Врангеля.

В Копенгагене лились речи, длинные и суесловные, а на Украине

гремели орудия и строчили пулеметы, большей частью французской и американской выработки.

25 апреля белополяки вторглись в нашу страну и повели широкое наступление.

Копенгагенское сидение закончилось внезапно. Представители Антанты вдруг потребовали переноса переговоров в Лондон. При этом Литвинову было отказано в разрешении на въезд в Англию.

Сию тактику разгадать было нетрудно. По-русски она зовется: не мытьем, так катаньем. Не так, так этак" сорвать переговоры — вот к чему стремились западные державы.

Что делать? Уступить — значит поступиться. Не поступаться — значит уступить. Уступить в главном — пойти на срыв переговоров, а стало быть, отступить от того, за чем поехали на Запад.

Надо было принимать решение, трудное, неприятное, но необходимое, И Красин принял его.

— Ехать в Лондон. Ехать без Литвинова. Вести в Лондоне переговоры без него.

Литвинов согласился с таким решением. Оно было единственно разумным.

Согласился и Ленин.

Делегация отбыла в Лондон.

Был ли месяц, проведенный в Копенгагене, напрасным?

Размышляя над этим вопросом, Красин приходил к выводу: нет. Кое-что все же удалось сделать, кое-чего удалось добиться. Если же отвлечься от того, что главное осталось невыполненным, то следовало признать: «кое-что» было не таким уж малым.

За время "копенгагенского сидения" удалось договориться с итальянскими кооператорами о развитии взаимной торговли и обмене представителями; заключить с датчанами ряд контрактов на поставку России сельскохозяйственных машин, электрооборудования и других товаров; наладить деловые контакты с представителями многих частных фирм.

Словом, удалось усилить в деловых кругах Европы тягу к русскому рынку.

"Красный торговец" Красин был прежде всего политиком, он добивался того, чтобы торговля прокладывала путь политике.

В Лондоне все началось сначала. Потянулась старая канитель. Представители Антанты вели себя не лучше, чем в Копенгагене.

Француз Авеноль был так же агрессивен. Англичанин Уайз по-

прежнему, словно маятник, качался из стороны в сторону, в решающие моменты, однако, всегда склоняясь к французу. Только итальянец Джаннини не выказывал особой враждебности. Но первая скрипка принадлежала не ему. Ею прочно завладел Авеноль. Он и определял всю музыку. Мелодии ее были явно антисоветскими.

Снова и опять толочь воду в ступе Красин не мог и не хотел. И он решил начать двусторонние переговоры с английским правительством. Тем более что все резоны к тому существовали. Главный из них — насущная потребность англичан в торговле с русскими. Именно Россия до революции поставляла Англии огромное количество хлеба, масла, яиц, нефтепродуктов, леса, пеньки. Наряду с этим она была широким и емким рынком сбыта английских товаров.

Это понимали некоторые английские политики. Тогда, разумеется, когда ненависть к большевиками не туманила их рассудка.

— Исключение России с рынков сырья и продовольствия вызвало высокие цены, стало причиной нищеты и голода... Россия давала перед войной четверть всего мирового экспорта пшеницы... 4 /б выращиваемого во всем мире льна производилось в России, около трети ввозимого Великобританией масла шло прямо или косвенно из русских источников.

[\[17\]](#)

Эти слова принадлежат Ллойд-Джорджу, тогдашнему премьер-министру Великобритании.

Он же, выступая в палате общин, признавал:

— Теперь совершенно ясно каждому непредубежденному человеку, что невозможно уничтожить большевиков силой оружия.

В конце концов Ллойд-Джордж также решил начать двусторонние переговоры.

Первая встреча состоялась 31 мая. Была она не из приятных.

Когда Красин вошел в кабинет, там уже находились премьер-министр, министр иностранных дел Керзон, министр торговли Хорн, министр финансов Бонар Лоу и парламентарий консерватор Хармсворс.

Простая благовоспитанность требовала, чтобы тот, кто пришел, поздоровался. Так Красин и поступил. Он протянул руку каждому из присутствующих и обменялся рукопожатиями.

Но когда очередь дошла до Керзона, протянутая рука повисла в воздухе.

Министр иностранных дел Великобритании стоял подле камина, с руками, заложенными за спину, и даже не пошевелился.

Конфузная и недостойная сцена была прервана Ллойд-Джорджем.

— Керзон, будьте джентльменом! — с укором и раздражением произнес он.

Только после этого «твердолобый» лорд нехотя пожал руку ненавистному большевику.

Керзон не был одинок. Такими же злыми врагами молодой Советской республики были и его друзья по партии и коллеги по кабинету министров — консерваторы. Они только и помышляли, что о гибели Советов. Разве что Керзон был грубее других в проявлении своих чувств.

А либерал Ллойд-Джордж? Он был, конечно, деликатнее, стелил мягче. Но линию гнул ту же самую, твердую. Его правительство поддерживало белополяков и, не скупясь, снабжало оружием, боеприпасами, обмундированием барона Врангеля, когда тот начал 6 июня свой наступательный поход из Крыма.

После того как Красная Армия сплеча рубанула и по панской Польше и по Врангелю, этим, как выразился Ленин, двум рукам международного империализма, Керзон направил Советскому правительству нахальную ноту (Владимир Ильич характеризовал ее как "сплошное жульничество ради аннексии Крыма..."^[18]) с ультимативным требованием остановить наступление на Варшаву и заключить перемирие с Врангелем при условии отхода его войск в Крым.

Вместе с тем Ллойд-Джордж не мог сбросить со счетов интереса английских деловых кругов к торговле с Россией. Тем более что на Англию надвигался экономический кризис.

"Английское правительство, — писал Красин, — колебалось между искушением уничтожить Советскую власть путем открытого насилия, интервенции, блокады, войны и между соглашением с Советской властью и переносом борьбы с ней в другую плоскость, в плоскость торговых и экономических отношений".

Две силы с двух противоположных сторон действовали на английского премьера. И он был озабочен поисками равнодействующей. Она заключалась в том, чтобы и переговоров не рвать и соглашения не заключать; в Лондоне топтаться на месте и выжидать исхода русских событий, на полях же сражений всемерно помогать врагам Советской России.

Эту тактику раскусил. Красин. Он писал в Москву:

"Черчилль, Керзон противодействуют всякому соглашению. Ллойд-Джордж не заинтересован в немедленном его заключении и предпочитает выжидать развязки на фронтах".

Сей седовласый джентльмен с внешностью пресвитерианского

проповедника, вкрадчивыми манерами модного врача и ясно-синими глазами младенца выдвигал одно за другим требования, большей частью необоснованные и невыполнимые. То это касалось прекращения вымышленной антибританской пропаганды, то возвращения из России английских военнопленных, то уплаты долгов царя и Керенского, то возмещения убытков, нанесенных англичанам национализацией промышленности в России.

Дни шли за днями, месяцы за месяцами.

А дело стояло.

Переговоры тянулись на перекладных. По дороге, изрытой рытвинами и ухабами. С крюковыми объездами и возвращениями вспять, к тем местам, что, казалось, давно уже оставлены позади.

Долгомесячное пребывание в Лондоне было чревато всяким — и мертвым затишьем, и вялым оживлением, и взрывами, грозившими разметать в прах все, что с таким трудом удалось собрать воедино.

Порой даже доходило до того, что ждать следовало не заключения договора, а возобновления войны и интервенции.

В августе, когда красные войска наступали на Варшаву, Ллойд-Джордж пригласил советских делегатов и с непривычной для него твердостью объявил:

— Наступил момент, когда Англия должна выполнить свои обязанности относительно Польши. Она становится на сторону Польши... Отдан приказ относительно выхода флота, о возобновлении блокады...

Но гнев английского пролетариата, поднявшего свой голос в защиту Советской республики, сорвал агрессивные намерения правительства.

В те дни, беседуя с простыми англичанами, читая газеты, Красин, как никогда прежде, ощутил великую и необоримую силу пролетарского интернационализма. О нем он писал взволнованно и образно:

"Сотни миллионов пролетарских сердец всего мира бьются в унисон с сердцами советских рабочих и крестьян, которые впервые в истории мира отняли у дворян и капиталистов управление государством".

Митинги, демонстрации, собрания сотрясали страну. Со всех концов ее неслись требования:

— Руки прочь от России!

Под дружным натиском пролетариата правительству пришлось отступить и продолжать переговоры.

И они потянулись вновь. Красин уезжал в Москву — за инструкциями и советами, для встреч и консультаций с Лениным. Были они многочисленными и частыми — лишь за короткий отрезок времени,

меньше месяца, Ленин беседовал с Красиным пять раз. Он принял его 27 января, 11, 12, 16 и 18 февраля 1921 года.

Красин возвращался обратно в Лондон, а жидкая и прерывистая нить переговоров все сучилась.

Только на исходе зимы, 16 марта 1921 года, Леонид Красин, с одной стороны, и Роберт Хорн — с другой, подписали англо-советское торговое соглашение.

Наконец-то он смог послать в Москву долгожданное сообщение:

"Торговый договор РСФСР с Британской империей под писан сегодня в редакции, доложенной мною в Москве, с некоторыми благоприятными для нас изменениями".

В притче о святом Денисе рассказывается.

Ему отрубили голову, а он взял ее в руки и пошел своим путем. Так и прошел святой Денис несколько верст обезглавленный.

Когда простой крестьянке поведали о свершившемся чуде, она сказала: — Первый шаг был самым трудным.

Почему же правительство Ллойд-Джорджа, столь долго уходя от соглашения, все же подписало его?

Тому было немало причин. Главная, как писал Красин, "конечно, прежде всего победа Красной Армии..."

...В борьбе за утверждение и охрану Советской власти от нападения капиталистических наемников российскому революционному пролетариату и крестьянству пришлось выполнить работу богатыря русской сказки: поочередно, друг за другом слетали головы многоголовой гидры — за Корниловым, Красновым, Дутовым следовали Колчак, Юденич, Деникин и Врангель".

Советский боец, победив в гражданской войне, обеспечил победу советского дипломата в мирных переговорах.

Да, это была победа, значительная и знаменательная.

Англо-советское соглашение было значительнее обычного торгового соглашения. Договор знаменовал, по словам Красина, "фактическое признание Советского правительства крупнейшей капиталистической державой, главой и предводителем всей капиталистической коалиции".

Наконец-то цепь блокады оказалась разорванной. И не просто, а в одном из самых мощных звеньев.

В концерте европейских стран Великобритания задавала тон. Не случайно, что следом за ней и Германия, и Норвегия, и Австрия, и Италия вскоре также подписали соглашения с Советами.

Успех, каким значительным он ни был, не опьянил Красина. Трезвый

политик, он всесторонне и объективно оценил англо-советское соглашение. Поэтому направленная им в Москву депеша была не победной реляцией, а программой борьбы:

"Мы боролись почти целый год за заключение этого договора; теперь нам предстоит новая упорная и трудная борьба за фактическое осуществление возможности снабжать республику — крестьян и рабочих — произведениями заграничной промышленности и сбывать наши сырые продукты западным странам. Британское правительство купцов, судовладельцев, промышленников не может изменить своей враждебной позиции по отношению к Советскому государству. Поэтому оно старалось обеспечить себе в договоре возможность во всякий момент разорвать его под предлогом неисполнения Советской Россией гарантий о неведении враждебных действий и пропаганды...

Новые пути, новые задачи и новые опасности открываются перед Республикой Советов".

После заключения договора Красин остался в Лондоне.

Он уже привык к городу. К его спокойной деловитости, без суетни и раздражительной толчеи. К задумчивой тишине набережных, где, глядя на реку, невольно вспоминаешь прелестные строки Томаса Грея:

...Темза древняя струится Серебряной тропой.

К щедрой зелени парков и скверов. К тенистому, погруженному в вечную Дрему кладбищу со скромным холмиком, под которым покоится тот, чьи беспокойные мысли бессмертны в своем непрерывном движении.

И город привык к нему. Недаром он, посмеиваясь, не без гордости рассказывал впоследствии Кржижановскому:

— Обнаглел, батенька, до последней степени, рискнул согласиться на лекции в Кембридже... Юным лордам рассказывал о социализме и советских трудах... Ну, думаю, устроят мне какофонию! Ничего, вывезло... Факельцуг устроили мне на проводах...

Когда же он проходил по улицам, особенно рабочих кварталов, его узнавали. По портретам в газетах и шустрый кадрам кинохроники, мелькающим на белых полотняных квадратах.

Узнавали и приветствовали. Кто взмахом руки, а кто дружеской улыбкой либо красной гвоздикой, подаренной на ходу.

Его узнавали, потому что стремились узнать, и приветствовали, потому что стремились послать свой привет стране, которую он представлял.

Теперь Красин был официальным представителем Советской республики в Англии и одновременно торгпредом ее.

В его деятельность жизнь властно вносила коррективы. Были они существенны и неоспоримы.

Он ранее предполагал закупить в Англии промышленные изделия, необходимые для восстановления народного хозяйства. А пришлось тратить драгоценное золото на покупку хлеба, семян, жиров.

Многие губернии России терзал голод — порождение жестокой засухи и неурожая.

"Когда я летом 1921 года приезжал из Лондона в Москву, — вспоминал Красин, — я пришел к Владимиру Ильичу в его кабинет, я застал его в тревожном настроении, он все время поглядывал на знойное, раскаленное небо, очевидно, в ожидании, не появится ли, наконец, долгожданное дождевое облако, и много раз спрашивал меня: "А сможем ли мы закупить за границей хлеб, пропустит ли хлеб в Россию Антанта?"

Весь наш импортный план был опрокинут, и по возвращении в Англию пришлось в больших размерах организовать закупку хлеба и семян, разумеется, за счет золотого запаса, так как вывоза у нас в то время еще почти никакого не было. Владимир Ильич лично следил чуть ли не за каждым отходящим из-за границы пароходом и буквально бомбардировал нас телеграммами и записками, умоляя сделать все возможное, чтобы скорее помочь голодающим районам".

"Красину

Я тоже боюсь, что мы зря проедем или проторгуем весь наш небольшой золотой фонд. За бережливость отвечаете Вы. Улучшение положения рабочих и крестьян абсолютно необходимо. Для обмена на хлеб надо получить известный фонд товаров из-за границы быстро; это политически необходимо; сообразуйтесь с этим и извещайте меня чаще" [\[19\]](#)!

"Вас надо бить.

- 1) Опоздали с заказом хлеба. У нас положение архишвах.
- 2) Не использовали всех источников (Швеция и др. хоть *на малые количества*).
- 3) Нет точной информации: что можно достать *вблизи* хотя бы по очень высокой цене и очень немного.

Подтяните все это в наркомате *сугубо-*". [\[20\]](#)

"Если не купите в январе и феврале 15 миллионов пудов хлеба, уволим с должности и исключим из партии. Хлеб нужен до зарезу". [\[21\]](#)

(Текст пошедшей в Лондон телеграммы был смягчен, в ней вместо "уволим с должности и исключим из партии" стояло: "партия вынуждена

будет принять самые решительные меры").

Торговля с Англией более или менее налаживалась. Но в решении политических вопросов по-прежнему был застой. Правительство Великобритании не желало делать ни шага вперед по пути к признанию Советского государства. Все попытки вступить с Ллойд-Джорджем в переговоры ни к чему не приводили. Старый хитрец уклонялся от встреч, ссылаясь на недосуг и перегруженность делами.

Так продолжалось с осени до зимы. Но Красин не отступал. И настойчивость в конце концов победила уклончивость. 16 декабря Ллойд-Джордж принял его.

Они сидели в кабинете на Даунинг-стрит, просторном и комфортабельном, со старинными часами на мраморном камине, глубокими кожаными креслами и дубовой панелью вдоль стен.

В окна заглядывала лондонская ночь, сырая и снежная, тяжелые хлопья лениво садились наземь. В камине, то вспыхивая, то затухая, вились оранжево-синие ленты пламени, а они все сидели и все беседовали. Тихо, неторопливо, спокойно. Три пожилых джентльмена — Ллойд-Джордж, сэр Роберт Хори и Красин, одинаково респектабельные и одинаково элегантные. Пожалуй, только Ллойд-Джордж несколько выделялся — мешковатой старомодностью своего сюртука.

Со стороны все это выглядело мирной беседой старых и добрых знакомых.

На самом же деле то была схватка, жаркая и напряженная. Каждая фраза, несмотря на ее округлость, походила на удар рапиры, остро отточенной, опасной, метко направляемой в цель.

Ллойд-Джордж не отказывался помочь России встать на ноги. Он за помощь. Он даже выработал план ее оказания. Суть плана сводилась к следующему. Создается международное объединение частных финансистов Англии, Франции и Германии. Этот консорциум, в котором главная роль отводится немецким предпринимателям, экономически помогает России. Взамен получает контроль над несколькими русскими железными дорогами. Только и всего. Не так уж много. Не правда ли? Зато это устраивает всех — и англичан, и французов, и немцев. С ними уже достигнута договоренность.

Да, это устраивало всех. Кроме Красина и России. Он не мог допустить, чтобы Антанта поправляла свои пошатнувшиеся дела за счет грабежа Советской республики. Он не мог допустить хозяйничанья иностранных капиталистов в своей стране. Он не мог допустить иностранного контроля над русскими железными дорогами.

Что сей контроль означает, Россия уже познала во времена Колчака, когда американцы контролировали Сибирскую железную дорогу. Кто и чем поручится, что предлагаемый новый контроль не обернется прибытием в Россию сенегальских или других французских войск либо организацией новых антисоветских заговоров внутри страны?

Ллойд-Джордж молчал. К ручательствам такого рода он не был расположен,

Тогда Красин от политики перешел к экономике.

Чем бросать сотни миллионов на ветер, растрчивая денежки на убыточные предприятия Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля, куда прибыльнее было бы вложить крупные средства в экономическое возрождение России. Кредиты должны предоставлять не частные синдикаты, в возможности которых трудно поверить, а правительства.

Ллойд-Джордж парировал.

Новые кредиты — новые долги. Ничто не вечно под луной. В том числе и Советское правительство. Вдруг оно падет? Что тогда? Придет к власти новое. Революционное ли, контрреволюционное — неважно. И откажется от долгов старого так же, как большевики отказались от долгов царя и Керенского. Где гарантия, что такого не случится?

На это последовал ответ:

— Советская власть самая прочная из всех, какие знала Россия. Ждать ее падения — пустая трата времени. Прочность Советской власти — твердая и надежная гарантия... Ну, а если, паче чаяния, и произошел бы подобный невероятный метаморфоз, — тут Красин язвительно усмехнулся, — с кем другим, а с контрреволюционным правительством вы наверняка столкнулись бы о признании всех и всяческих долгов за все времена...

Они разошлись, так ни о чем и не договорившись. Хотя все же выяснили, чего добивается каждый.

Красин добивался признания Советского правительства.

Ллойд-Джордж добивался того, чтобы этого не произошло.

Красин представлял социализм.

Ллойд-Джордж — империализм.

Империалисты же, потерпев поражение в интервенции, не сложили оружия, а переменили его. Их военные действия, по словам Ленина, "приняли форму менее военную, но в некоторых отношениях более тяжелую и более опасную для нас", а именно — экономического и политического давления. Отказывая в кредитах, они уповали на голод и разруху, считая, что они доконают Советы и страна вновь подпадет под власть капитала.

Жизнь показала, что их расчеты построены на песке. Все усиливающийся кризис неумолимо толкал капиталистические страны к установлению экономических связей с Россией.

"Есть сила большая, чем желание, воля и решение любого из враждебных правительств или классов, эта сила — общие экономические всемирные отношения, которые заставляют их вступить на этот путь сношения с нами", ^[22] — указывал Ленин.

И действительно, в начале января 1922 года верховный совет Антанты постановил созвать всеевропейскую экономическую конференцию, пригласив на нее и Советскую Россию.

7 января итальянский премьер-министр Луиджи Факта — ему было поручено разослать приглашения — уведомил Москву, что конференция состоится в Италии, и официально пригласил правительство РСФСР участвовать в ней.

Советское правительство приглашение приняло. В состав его делегации вошли народный комиссар иностранных дел Чичерин, фактический глава делегации (председателем ее ВЦИК назначил Ленина, но трудящиеся, опасаясь за его жизнь, сочли невозможным выезд Ленина за границу, и ЦК РКП(б) специальным постановлением решил передать председательские полномочия Чичерину), член коллегии НКВД Литвинов, полпред в Италии Воровский, Красин, Иоффе, Рудзутан и другие.

Решением Политбюро ЦК РКП(б) была создана комиссия по подготовке к конференции. Председателем ее был утвержден Чичерин, а одним из членов — Красин. Поэтому он покинул Лондон и прибыл в Москву.

Дни здесь выдались горячие. Февраль подходил к концу, а на 8 марта было назначено открытие Генуэзской конференции (впоследствии его перенесли на 10 апреля). Времени в обрез, работы по горло. Как говорил Ленин, Красин был занят "...дипломатическими делами перед Генуей, делами, которые требовали отчаянной, непомерной работы..." 1.

Собирались по два раза в неделю. Обсуждение вели по 5–6 часов кряду. Домой удавалось выбраться только глубокой ночью.

Но он нисколько не уставал, потому что работа спорилась.

Всей подготовкой к конференции руководил Ленин. Работать же с ним было и радостно и легко.

Он мыслил настолько широко, что ничуть не стеснял мыслей другого. Напротив, всячески помогал им выйти на простор.

Работать с Лениным значило не принаравливаясь к нему, а сотрудничать с ним. Поиски решений были совместными, а не так, чтобы

он решал, а другой, выжидая, помалкивал (не ровен час промахнешься и не попадешь в тон).

Работать с Лениным значило искать, думать, творить, а не поддакивать. Если его взгляд расходился со взглядом другого, Ленин спорил — горячо, резко, непримиримо, в ходе самого спора еще глубже убеждаясь и еще крепче утверждаясь в правильности своей позиции.

И в конце концов побеждал. Доводами, аргументами, доказательствами, точно выверенными, до конца продуманными, а потому неопровержимыми.

Он побеждал силой авторитета, а не авторитетом силы.

Оттого работа с Лениным была и наслаждением и великой школой.

На редкость приятно было работать и с Чичериным. Это о нем писал Владимир Ильич:

"Чичерин — работник великолепный, добросовестнейший, умный, знающий. Таких людей надо ценить. Что его слабость — недостаток «командирства», это не беда. Мало ли людей с обратной слабостью на свете!"^[23]

Хотя с Чичериным Красина не связывало множество лет личного знакомства, как с Лениным, они быстро и хорошо сошлись.

Да иначе и быть не могло. Слишком близко походили они друг на друга, чтобы испытывать трудность отчужденности.

И тот и другой были по-государственному умны, высокообразованны, размашисто-масштабны. И того и другого отличала способность быстро схватить суть явления, распознать его глубинный смысл, сделать верные, нацеленные на перспективу выводы. И тому и другому были присущи трезвая деловитость и романтическая беззаветность в исполнении долга перед партией и страной.

Чичерин был глубоко симпатичен Красину и в личном, чисто человеческом плане.

Ему импонировала деликатность и милая скромность этого застенчивого, несколько замкнутого человека, предпочитающего мягкий сумрак освещенного настольной лампой кабинета, книгу и рояль шумным залам с ослепительным сиянием люстр и юпитеров.

Обычно немногословный, сторонящийся трескучих слов и цветистых фраз, он, выйдя на трибуну международных форумов, захватывал аудиторию, большей частью настороженно враждебную, силой своего красноречия-

Фрак дипломата сидел на нем так же изящно и ловко, как серенький костюм из недорогого материала, который он обычно носил.

Достойной уважения была и вся история жизни Чичерина. Выходец из старинной и родовитой дворянской семьи, он всего себя отдал народу, партии и революции.

В преддверии конференции Красин много и основательно размышлял о том, что ожидает советскую делегацию в Генуе, как ей вести себя там. Плодом этих раздумий явились "Тезисы по вопросам в связи с конференцией в Генуе", которые он представил на рассмотрение Ленина, Чичерина и подготовительной комиссии. «Тезисы» утверждали необходимость безусловного признания Советского правительства, взаимности имущественных претензий, монополии внешней торговли.

Советские дипломаты отправлялись в Италию во всеоружии. Как говорил Ленин: "Мы выработали в ЦК достаточно детальные директивы нашим дипломатам в Геную. Директивы эти мы выработывали очень длительно, несколько раз обсуждали и переобсуждали заново".^[24]

27 марта делегация выехала из Москвы и 6 апреля прибыла в Геную, Красин приехал чуть позже, в самый канун открытия конференции — 9 апреля.

По Италии разливалась весна беспечной синевой небес, цветением мимоз, пьянящей сладостью воздуха. Ночами в растворенные окна красинского номера влетали беспокойные шорохи весны и звуки музыки, смятенной, печальной и нежной. Это Чичерин у себя в номере, отдыхая, играл Моцарта. Был он не только превосходным пианистом, но и музыкальным писателем и весь свой досуг отдавал неразлучному спутнику жизни — любимому Моцарту. Писал о нем монографию.

Поселили советских делегатов не в самой Генуе, а километрах в 30 от нее, в курортном местечке Санта-Маргерита, пригороде Рапалло. Тем самым итальянские правители рассчитывали отгородить большевиков от внешней среды. Впрочем, и эти меры оказались недостаточными. В придачу, были приняты меры классически полицейского толка. Роскошный "Палаццо империале" — резиденция советских делегатов — строго охранялся. Сюда даже не допускались журналисты.

Однако эта «блокада» просуществовала недолго. После решительных и энергичных демаршей Воровского она была снята, и отель забурлил посетителями.

Интерес к советским делегатам был огромен, а симпатии к стране, пославшей их, того больше. Каждый день почта доставляла в "Палаццо империале" ворохи приветствий итальянских пролетариев.

Даже буржуазная "Дейли геральд" и та писала:

"Ни один человек из какой-либо далекой неизведанной страны в

средние века не вызывал большего интереса, чем эти несколько человек, составляющие советскую делегацию в Генуе".

10 апреля ровно в 3 часа дня в переполненный "Зал сделок" генуэзского дворца Сан-Джорджо вошла советская делегация и заняла свои места.

Генуэзская конференция начала работу.

Первую речь произнес ее председатель Факта. Следом за ним говорили француз Барту, Ллойд-Джордж, японец Исни, немец Вирт. Их речи состояли из медоточивых фраз и общих рассуждений. Высокопарно говорилось и об идеалах мира, и о всемирной справедливости, и о необходимости экономического восстановления Европы.

Затем на трибуну взошел Чичерин.

— Оставаясь на точке зрения принципов коммунизма, —

заявил он на чистом французском языке, оказавшем бы честь и самому Барту, — российская делегация признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового социального строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими эти две системы собственности, является повелительно необходимым для всеобщего экономического восстановления...

Советское правительство предлагало правительствам и торгово-промышленным кругам всех стран вступить в деловые отношения на основе взаимности, равноправия и полного и безоговорочного признания.

В ответ на юридическое признание Советской России, предоставление ей нового займа и возмещение убытков, причиненных интервентами и белогвардейцами, оно готово было признать долги царского правительства и возместить потери бывшим иностранным собственникам в России.

— Российская делегация, — говорил Чичерин, — намерена предложить всеобщее сокращение вооружений и поддержать все предложения, имеющие целью облегчить бремя милитаризма, при условии сокращения армий всех государств и дополнения правил войны полным запрещением ее наиболее варварских форм, как ядовитых газов, воздушной войны и других, в особенности же применения средств разрушения, направленных против мирного населения.

После выступления советского дипломата "надышанный толпою воздух зала, где в продолжение четырех часов не смолкали речи, словно прорезал электрический разряд", — писал Эрнест Хемингуэй, в те времена безвестный репортер канадской газеты "Торонто стар".

Однако добрая воля Советов не встретила поддержки западных

держав.

На первом же заседании политической комиссии 11 апреля Чичерину, Красину и Литвинову был предъявлен меморандум экспертов Англии, Франции, Италии и Японии. Он требовал уплаты всех долгов как царского, так и Временного правительств, возврата национализированной иностранной собственности, отмены монополии внешней торговли.

Это был нажим, грубый и бесцеремонный. С целью закабаления Советской страны и установления в ней, как выразился Красин, "режима капитуляций".

Советские дипломаты вступили в борьбу. Была она острой и ожесточенной.

15 апреля Чичерин, Красин и Литвинов приехали на виллу Альбертис, резиденцию Ллойд-Джорджа. Здесь они встретились с руководителями делегаций западных держав.

Хотя Ллойд-Джордж всячески подчеркивал, что встреча "абсолютно неофициальная", протекала она в атмосфере все сгущающейся напряженности.

Чичерин с самого начала, во избежание кривотолков и ложных надежд, заявил, что принятие меморандума поставило бы русский народ в невозможное положение. И далее с непоколебимой твердостью прибавил, что не подпишется под документом, который требует возвращения частной собственности и накладывает на Россию тяжкое бремя долгов.

Если уж считать, то считать. Если вести речь о долгах, то следует говорить и о деньгах, которые задолжала Антанта России. А они, право, немалые — 39 миллиардов золотых рублей.

И советские дипломаты предъявили свои контрпретензии за ущерб, причиненный интервенцией.

Контрпретензии советской стороны союзники безоговорочно отвергли.

Встреча на вилле Альбертис закончилась тем, что Ллойд-Джордж от имени своих партнеров потребовал:

удовлетворить претензии иностранных собственников на имущество, национализированное в России;

выплатить довоенные долги (правда, соглашаясь при этом на их некоторое сокращение и отсрочку выплаты процентов);

дать не позднее 20 апреля ответ на все предъявленные требования.

Это был ультиматум, жесткий и непреклонный. Диктат вместо переговоров.

Нанося свой удар, руководители Антанты не подозревали, что их ждет контрудар.

Мощный и ошеломительный, он был нанесен советскими дипломатами на другой же день после встречи на вилле Альбертис. Хотя подготовлялся задолго и исподволь.

16 апреля в Рапалло Чичерин и министр иностранных дел Германии Ратенау подписали советско-германский договор.

РСФСР и Германия отказывались от всех взаимных претензий и восстанавливали дипломатические отношения друг с другом.

Рапалльский договор смешал все карты в пасьянсе, который руководители Антанты раскладывали столь долго и столь старательно. Они, не жалея сил и времени, сколачивали единый антисоветский фронт, а он оказался прорванным.

Рапалльский договор продемонстрировал миру, что Советское правительство готово нормализовать отношения с другими государствами, но нормализация возможна только на основе равноправия.

19 мая Генуэзская конференция закончила свою работу.

Красин покидал Италию с легким сердцем. Советские дипломаты везли в Москву успех, и немалый.

Делегация, как отмечалось в специальном правительственном постановлении, "правильно выполнила свои задачи, отстаивая полную государственную независимость и самостоятельность РСФСР, борясь с попытками закабаления русских рабочих и крестьян, давая энергичный отпор стремлению иностранных капиталистов восстановить частную собственность в России".

В Москве Красину удалось пробыть недолго. В июле он снова отправился в путь.

И снова в чужие края.

На сей раз в Голландию. В Гаагу.

Здесь шла международная конференция.

Как прекрасен мир в безграничной широте его многообразия!

И как уродливы те, кто пытается миром править, в узкой ограниченности их однообразия.

В Италии, где он только что побывал, море мягко плещется о берега, теплое и ласковое. А в Голландии в его хищных седовато-сизых бурунах выкупаешься разве только "в обнимку с самоваром", как ловко выразился Кржижановский, тоже прибывший на конференцию.

Недаром с редких пловцов не сводят глаз дюжие молодцы из спасательной команды в брезентовых бушлатах и в широченных прорезиненных шароварах.

Природа разная, а правители будто сшиты по одной мерке. Они, так же

как итальянцы, поместили советских делегатов в роскошной гостинице и окружили плотным кордоном полицейских и шпиков.

Караулят. Следят. Бдят.

В общем не фешенебельный отель «Схъэвенниген», а "Советская тюрьма", как его окрестил тот же Кржижановский.

И представители западных держав ведут себя так же, как в Генуе. Хотя там были политики, а тут дельцы, Физиономии разные, а нутро одно — империалистическое.

И линия поведения тоже одна. Требуют возврата всей иностранной собственности. Иначе никаких кредитов.

В общем катят конференцию под откос. Несмотря на терпимость и разумные уступки советских делегатов.

Какова же отсюда мораль?

Раз они перекрывают путь к многосторонним соглашениям, мы пойдем по пути соглашений двухсторонних.

"Гаага с математической верностью доказала необходимость сепаратных соглашений с отдельными странами или наиболее влиятельными капиталистическими группами".

К такому выводу пришел Красин, вернувшись из Голландии.

На это он ориентировал и Наркомвнешторг.

Его делами, приехав в Москву и осев в ней, наконец, более или менее надолго, он занялся теперь вплотную, непосредственно, неотрывно.

XIII

После отсутствия — долгого ли, краткого — вид родных мест радует.

Воистину, Когда ж постранствуешь, воротисься домой, И дым отечества нам сладок и приятен!

Он радовался. Всему, что еще смолоду было таким близким и таким знакомым. Зубчатой узорчатости стен Кремля, путаной неразберихе кривых переулков Замоскворечья, что там, внизу, зеленеет садами и садиками полусонных дворов, золотистому сиянию могучего купола Христа Спасителя.

Он радовался Москве.

А еще больше ее преображению, неслыханному и невероятному.

Город переменялся. Будто в сказке. Совсем недавно еще полумертвый, он бурлил теперь жизнью.

По узкой Мясницкой бежал широкий поток извозчиков, автомобилей, черных — казенных — и опоясанных желтой полосой, с надписью «прокат» — частных.

Кузнецкий мост сверкал зеркальными стеклами витрин, золотом и серебром новеньких вывесок:

"Парикмахер Польш",

"Мужские моды",

"Парижская парфюмерия".

На Петровке огромные, во всю тыльную стену многоэтажного дома буквы возвещали миру:

"Дрова! Лучшие на всем белом свете дрова —

Яков Рацер!" Яркие афиши зазывали: "Кабаре "Не рыдай", конференсье Гурко".

И толпа. Уличная толпа. Она струилась вверх по Тверской, от Охотного к Страстной, оживленная, веселая, кое-где даже нарядная.

Почти не видно следов былого запустения. Разве только то там, то здесь на улицах попадется асфальтовый котел с чумазыми, в рваных лохмотьях ребятишками. Днем они шныряют по вокзалам, по Сухаревке либо по Смоленскому рынку, а к вечеру оседают в асфальтовых котлах на ночлег.

Третьего дня он был в Большом на "Спящей красавице" с неподвластной годам Гельцер.

Когда принц Дезире прикоснулся к ней — принцессе Авроре, она и все

ее царство, скованные окаменелой неподвижностью, ожили.

Поразительно, как старая наивная сказка детских лет, соприкоснувшись с реальностью и озарившись светом новых времен, — вдруг может приобрести совершенно иной и неожиданно новый смысл.

Нэп — гениальное детище Ленина, плод его неслыханно смелой мысли — преобразил жизнь. Родившись в жестокой борьбе, для выигрыша которой нужна была ленинская воля, он явился могучим броском вперед, от разрухи и голодного истощения к нормальной жизни.

Хотя многие в своем трагическом непонимании считали его бегством вспять.

Надо было обладать ленинским умом, чтобы постичь диалектику необходимости временного отступления ради пере-группировки сил для нового наступления.

Никакой кавказский джигит не сумел бы оборотить на полном скаку коня и продолжать бег без того, чтобы не сломить хребта и себе и коню.

А Ленин с ходу и круто повернул громадную страну, не устрасаясь разрушительной силы инерции, а поборов и преодолев ее.

У некоторых на крутом повороте закружилась голова.

У одних в левую, у других в правую сторону.

Первые, с отвращением поглядывая на невесть откуда взявшихся молодчиков, нахрапистых, гладких, откормленных, бойко зашибающих деньгу и в безудержном купецком разгуле просаживающих ее в ночных ресторанах и кабаках, на бегах и скачках, по тайным игорным домам и притонам, на их дам, дебелых и вульгарных, нагло сверкающих золотозубыми улыбками и брильянтами немислимо обширных декольте, угрюмо спрашивали:

— За что боролись? За то, чтобы вся эта сволочь снова выползла на свет?

И, оправляя выцветшие, штопаные-перештопаные гимнастерки под старым армейским ремнем, прибавляли:

— Нет, пропадает революция... гибнет...

Вид нэпачей действительно внушал омерзение. Но эмоции в политике — наставник не надежный.

Вторые, ослепленные и умиленные снизошедшим благодеянием, забывали, что нэп — это не мирное сожительство разных классов, а непримиримая классовая борьба. Для этих людей, осуждающе писал Красин, нэп "есть не что иное, как полная реставрация старого экономического строя и возвращение к безудержному, основанному на всеобщей конкуренции и на невмешательстве государства в экономические

отношения капитализму"-.

Частичное допущение частной торговли внутри страны они пытались распространить и на экономические связи с внешним миром.

Подкоп велся под монополию внешней торговли. Противники монополии презрительно окрестили ее системой «глав-запора», считали вредным пережитком военного коммунизма и предлагали заменить таможенными тарифами.

Тому, что было заложено Лениным и с таким трудом и упорством возводилось Красиным, грозил слом.

Монополия внешней торговли за все эти тяжкие годы стала для Красина делом жизни. Ее он отбивал в жарких схватках за рубежом — на международных конференциях, за круглым столом переговоров, при встречах, официальных и неофициальных. Ей посвящал уйму времени, мыслей, дел. За ее развитием пристально, не спуская глаз, следил отовсюду. Где бы он ни был в Англии, Финляндии, Италии, — взор его был обращен к Москве, к высокому серому зданию на углу Ильинки, где помещался Наркомвнешторг. Он следил за его работой, руководил ею, направлял ее. Многочисленными статьями, письмами, телеграммами, инструкциями.

Все они проникнуты заботой о развитии монополии внешней торговли, ибо: "Монополия внешней торговли представляет собою крепкую ограду, которую пролетарское государство поставило по всей своей границе как защиту против экономической интервенции (вмешательства) со стороны капиталистического мира...

Без монополии внешней торговли Советская власть вообще не в состоянии была бы строить и проводить какой-либо самостоятельной экономической политики, так как вся страна при отсутствии этого ограждения и при широко раскрытых дверях для западноевропейского капитализма, несомненно, весьма быстро утратила бы свою экономическую самостоятельность.

ч Если мы допустим хотя бы малейшее отступление от принципа единства руководства внешней торговлей, то уже в самом близком будущем получится такая путаница, из которой не будет никакого выхода".

"Принципом нашим должно быть, чтобы каждый истраченный золотой рубль не только приносил пользу стране, но непременно возвращался бы в Наркомвнешторг в виде сырья или товаров, по реализации которых можно выручить полтора или два таких рубля. Всякое иное расходование золотого фонда, этого единственного пока ресурса внешней торговли, есть чистейшее преступление".

"Вожди капиталистического мира прекрасно понимают, что

разрешение всем и каждому ввозить в Россию всякий хлам и вывозить оттуда сырье, продовольствие, домашнее и прочее имущество не только позволит обогатиться отдельным иностранцам, но и будет служить могучим оружием для разрушения Советской власти и ниспровержения той рабочей диктатуры, которая все еще не дает спокойно спать западноевропейскому и американскому буржуа".

Так он писал в защиту монополии.

А так он защищал написанное.

Когда, находясь в Лондоне, Красин узнал, что некое итальянское торговое общество самочинно, в обход Наркомвнештор-га, посылает в Россию груженный товарами пароход "Лотер Волен", он направил в Москву депешу с энергичным приказом не впускать судно ни в один советский порт.

И тут же письменно попросил Воровского, который был тогда в Италии, принять решительные меры к тому, чтобы подобные происшествия впредь не повторялись.

"Если мы с мест отправки, — пояснял он, — не будем предупреждать таких «аргонавтов», то последние остатки нашего сырья будут растащены в обмен на непригодный или малопригодный товар".

— Он раньше всех и глубже всех понял, какую глубокую опасность для судеб революции представляет дезорганизирующее и разлагающее проникновение к нам иностранного капитала, — вспоминал Б. Стомоняков, давний боевой друг по большевистскому подполью и близкий соратник по советской работе. — Он яростно защищал монополию внешней торговли от нападков капиталистического мира, влияний стихии нэпа и непонимания в собственных рядах. Он, как Ленин, не мыслил индустриализации страны и успешного строительства социализма без опоры на монополию внешней торговли.

"Преодолевая гигантскими усилиями все затруднения, встречавшиеся на его пути, — пишет А. Микоян, — он создал одну из самых мощных цитаделей против натиска мирового капитала и вместе с тем сильнейший рычаг в деле строительства социалистического хозяйства Союза — монополию внешней торговли, и этим он претворил в жизнь идею Ленина.

Он доказал, что под охраной монополии внешней торговли могли не только восстановиться у нас промышленность, сельское хозяйство и транспорт, но и реконструироваться все наше хозяйство по линии индустриализации страны. В самые тяжелые моменты нашего строительства монополия внешней торговли охраняла самостоятельность нашего развития, устойчивость нашей валюты и излечивала те раны,

которые наносились нам недостаточной организованностью нашего хозяйства и выявлявшимися затруднениями. Носителем идеи монополии внешней торговли и проведения ее в жизнь был Леонид Борисович Красин".

И вот сейчас все, что создавалось с таким трудом и собиралось по крупицам, находилось под ударом.

И удар этот наносился не извне, а изнутри, не врагами (к их ударам он уже давно привык), а своими же товарищами.

Жизнь есть жизнь. Кому не свойственно заблуждаться? Кажется, еще Белинский обронил:

— Только дурак не ошибается.

Самодовольство и самоуверенность не позволяют ему идти на подобный риск.

Заблуждение терпимо, если его стараются преодолеть. Но оно вредоносно, если его возводят в закон. И не столько возводят его, сколько низводят других до беспрекословного подчинения пагубному закону.

Враги монополии были людьми влиятельными и сановитыми. В их руках была сила, и они властно пустили ее в ход.

Бухарин, Сокольников, Пятаков — они-то и были главными противниками — воспользовались заболеванием Владимира Ильича и его отсутствием и провели на октябрьском 1922 года Пленуме ЦК РКП(б) предложение, направленное на подрыв монополии внешней торговли. Красин образно и метко сравнил его с дырой в воздушном шаре. Воздушный шар, говорил он, наверняка упал бы наземь, если бы в его оболочке проделали небольшую дырку, в пол квадратных аршина.

Итак, поражение. Полное и безнадежное. Шутка ли сказать — решение Пленума ЦК1

Он один, а против него большинство.

В таких случаях и други и недруги едины в оценке случившегося. Одни сочувственно, другие с торжеством произносят:

— М-да, разбит... Наголову разбит... Красин действительно был разбит. Наголову.

Но не потерял головы. И не опустил рук. Слишком многое было поставлено на карту, чтобы сдаться без боя, последнего и решительного. Ведь "Отказ от государственного регулирования внешней торговли был бы вопиющим противоречием как раз по отношению к тому новому курсу экономической политики, которым облыжно хотят оправдать уничтожение монополии внешней торговли".

И Красин ринулся в бой, неравный и опасный, где, казалось, все и всё

против него.

Всё, кроме правоты. Правота была с ним.

И Ленин тоже был с ним. Показывая пример и указывая ориентир к действиям в обстановке невероятно сложной и трудной.

Красин вспомнил, как это было. Хотя было это очень давно. Лет десять назад. По календарю. На самом же деле, по жизни было это столетия назад, в незапамятные времена, и ныне выглядело бы событиями древней истории, если б не жгучая боль раскаяния при воспоминаниях о тех годах.

Тогда вместе с Богдановым он шел против Ленина.

После того как отзовисты покинули партию, кто-то упрекнул Ильича в том, что он остался один, чуть ли не на голом месте.

На что Ленин спокойно ответил:

— Что же, бывают такие моменты, когда массы по тем или другим причинам убегают с поля битвы, и тогда плох тот вождь или тот генерал, который, оставаясь в единстве, не может защитить свое знамя. Бывают такие моменты, когда надо оставаться в единстве, чтобы сохранить чистоту своего знамени.

Один из таких моментов сейчас наступил и для Красина. Именно сейчас он остался в единстве.

"Положение было очень опасное, — вспоминает он, — почти безнадежное, и к кому же в таком случае идти, как не к Владимиру Ильичу?"

Владимир Ильич с начала октября 1922 года, как известно, возобновил председательствование в Совнарком, но все время похварывал. Пойдя к нему, я узнал, что у него флюс и что он не выходит из квартиры. Однако уже на другой день сам Владимир Ильич, с присущей ему величайшей во всех делах, даже в мелочах, заботливостью, сам позвонил мне по телефону и назначил время для разговора. Когда я подробно изложил всю ситуацию, Владимир Ильич развел руками и признал положение очень серьезным — "надо действовать". С этого момента я понял, что монополия внешней торговли спасена".

Ожидания не обманули его.

13 декабря Ленин направил членам ЦК письмо "О монополии внешней торговли", в котором писал:

"На практике Бухарин становится на защиту спекулянта, мелкого буржуа и верхушек крестьянства против промышленного пролетариата, который абсолютно не в состоянии воссоздать своей промышленности, сделать Россию промышленной страной без охраны ее никоим образом не таможенной политикой, а только исключительно монополией внешней торговли..."

Если же мы будем разговаривать о "таможенной охране", то это значит, что мы будем засорять себе глаза насчет опасностей, указанных Красиным с полной ясностью и ни в одной своей части не опровергнутых Бухариным".^[25]

С мнением Ленина согласились все члены ЦК. За исключением одного Зиновьева.

Собравшийся 18 декабря Пленум ЦК РКП(б) отменил постановление, вынесенное в октябре. А несколько позже XII партийный съезд еще раз подтвердил незыблемость монополии внешней торговли.

Теперь можно было работать спокойно, без нервозности.

Да, нервозность кончилась. Окрики, наскоки, вызовы в инстанции, беспечные указания, угрозы проработки — все это прекратилось раз и навсегда.

Что же касается спокойствия, его не было. Да и не могло быть. Работать спокойно он не мог, ибо всю жизнь работал упоенно.

В беспокойно-напряженном ритме труда, когда ежедневно сталкиваешься со множеством дел одно другого важнее и неотложнее, когда незамедлительно, оперативно и смело надо решать огромной сложности вопросы, находил он и упоение и успокоение.

"Работал он так, — вспоминает В. Туров, один из его близких сотрудников, — читает бумагу, слушает посетителя и тут же отвечает по телефону. Он никогда не откладывал дела, чтобы потом написать, а тут же: от кого зависит, с кем поговорить? и сразу же к телефону".

Проволочка, оттяжка, перекантровка на чужие плечи, с одной лишь целью — спихнуть ответственность на другого — были ему ненавистны. Всей этой чиновно-бюрократической премудростью был он сыт по горло еще при старом режиме. Еще тогда, в блаженной памяти царские времена, его воротило от нее. Теперь — тем более.

Работая четко и быстро, он был чужд торопливости. Если проблема, которую предстояло решить, была непроста, он долго и сосредоточенно думал над ее решением. Одним словом: "Festina lente" (спеши медленно), — как учили древние.

Но он не терпел тех, кто, работая, и не торопился и не думал, у кого все рабочие добродетели ограничивались одной лишь тугодумной неторопливостью.

Для него не существовало сторонних дел. Все, что было связано со строительством новой жизни, было его делом, родным и кровным. Вне зависимости от того, касалось ли Оно крупного, малого.

Он проезжает в автомобиле по Москве. Машину кидает тан, что только

трещат рессоры. И сразу же, приехав в наркомат, он пишет в Моссовет о необходимости безотлагательного ремонта мостовых — требует, настаивает, советует, ссылаясь на практику больших зарубежных городов.

Он узнает, что группа инженеров добилась крупного успеха — провела обстоятельное обследование горючих сланцев и научилась практически изготавливать из них различные полезные продукты: ихтиол, черный лак, мыла, парафины, сернокислый аммоний и др.

Эти работы, по его мнению, важные и перспективные, нуждаются в энергичной поддержке со стороны государственных органов. Но почти не получают ее.

Обо всем этом он спешит уведомить Ленина. И успокаивается лишь после того, как Владимир Ильич направляет в Президиум ВСНХ письмо, в котором пишет:

"Ввиду того, что эти работы, по свидетельству т. Красина, являются прочной основой промышленности, которая через десяток, другой лет будет давать России сотни миллионов, я предлагаю;

1. Немедленно обеспечить в финансовом отношении дальнейшее развитие этих работ.

2. Устранить и впредь устранять всяческие препятствия, тормозящие их..."

Среди "маршалов Ильича" (это звонкое определение принадлежит А. Луначарскому) Красин занимал свое, ему присущее место. Он был и революционером-энтузиастом, быстро загоравшимся мыслью и чувством, целиком отдававшимся великой идее, и практиком-строителем, трезвым хозяйственником, широко сведущим в экономике, науке, технике, умевшим выискивать необходимые средства для претворения этой идеи в жизнь.

В те годы командный состав учреждений и предприятий резко делился на две разновидности — руководителей, или комиссаров, на ходу, спешно осваивавших новое, не очень известное, но порученное им партией дело, и специалистов, или, как выражались тогда, спецов, отлично знавших предмет, ко далеко не всегда желавших отдавать свои знания победившему народу.

Красин счастливо и по тем временам редко сочетал в едином лице эти две ипостаси. Он был и комиссаром и спецом.

Не случайно Ленин, как свидетельствует Я. Ганецкий, всякие серьезные хозяйственные планы обсуждал с Красиным. Во время болезни он часто призывал к себе Красина и подолгу беседовал с ним.

В общении с Ильичей, под его непосредственным руководством проходил Красин школу советской государственности.

Потому он был беспощаден к бюрократам, норовящим утопить живое дело в потоке бумажек и отписок; к скороспелым вельможам, про которых народ презрительно говорит "из грязи да в князи", страдающим опасным и ненавистным Ленину недугом "*комчванством*"; к *трусам*, больше всего на свете пекущимся о своем престиже и положении; к холодным и равнодушным чинушам, для которых собственное благополучие — все, а благо народа — расхожая фраза.

У Ленина учился Красин рыцарскому отношению к людям, революционной, партийной объективности в оценке их.

Он, по словам Авеля Енукидзе, никогда из личных соображений не менял отношения к человеку. Он знал, что некоторые товарищи к нему плохо относятся, но на работе абсолютно забывал о личных отношениях с ними и всегда с открытым лицом мог встретиться со всяким неприятелем и противником. У него не было никакой злопамятности. Он по-рыцарски относился к людям, в которых верил; защищал и отстаивал работников, даже жертвуя своим престижем.

Интересы общего дела были для него выше всего. Ради них он готов был пойти на самый большой риск.

На заре Советской власти, когда страна кишела заговорами, когда многие интеллигенты не только не приняли революции, но пошли против нее, встав на путь саботажа и вредительства, Красин не побоялся взвалить на свои плечи груз — огромной ответственности за людей, чьи знания и опыт были необходимы социалистическому строительству.

В конце 1918 года Всероссийский союз инженеров — хотя он бойкотировал Советскую власть — обратился к Красину с просьбой: принять экстренные меры для обеспечения безопасности инженеров, арестованных в качестве заложников.

Время было суровым, классовая борьба — беспощадной. И тем не менее он взял на поруки всех заложников, кто впрямую не был связан с контрреволюционерами.

Инженеры были освобождены и пошли работать с большевиками.

"Среди его писем и записок, — свидетельствует Г. Кржижановский, — множество писем защитного свойства — за человека, за неугашение его духа — по адресу целого сонма работников техники и науки"

Его радовало, когда человек, наконец, находил свое место в новой жизни.

' *Люди живут в коробочках*, я старался помочь им из этих коробочек выйти, — говорил он.

Он любил дело, которому отдавал свои дни, и любил людей. Ибо

каждое дело, будь оно малым или большим, живет только в людях и с помощью людей. Без них самое великое и самое возвышенное дело мертво.

Оседлая жизнь в Москве оказалась короче, чем он предполагал. К концу года пришлось вновь отправиться в странствия.

Финляндия, Швеция, Германия. Встречи, беседы, переговоры.

Пестрая череда лиц, знакомых и незнакомых, бесстрастных и улыбчивых, угрюмых и угодливых, приветливых и холодно-безразличных.

Финансисты, предприниматели, промышленники, коммерсанты, политики, деловые люди, дельцы, маклеры, какие-то скользкие личности, журналисты и фоторепортеры, напористые, бесцеремонные, неистребимые.

И вдруг в перемежающемся калейдоскопе физиономий — знакомое милое лицо, измененное, но не искаженное годами. Он не видел ее со времен первой революции, но узнал тотчас. Фаня Черненькая — Фаня Кассесинова, молоденькая девушка, почти девочка, пришедшая тогда к нему, чтобы отдать свое состояние партии.

С той поры Фаня прошла солидную школу большевистского подполья и работала теперь в торгпредстве в Финляндии.

Встреча с Красиным и обрадовала и огорчила Фаню. Обрадовала потому, что ему, "крестному отцу", она была обязана тем, что из кисейной барышни стала большевичкой.

Огорчила оттого, что вид его пугал.

За эти годы Красин не то чтобы постарел, что само по себе было бы естественным. Он резко переменялся. Особенно для человека, давно не видевшего его.

Лицо — изжелта-бледное. Кожа — пергаментная, иссеченная мелкой сетью морщинок. Усталые, больные глаза.

Е общем вид человека, которого исподтишка точит недуг.

Впрочем, все это только с первого взгляда. Потом, когда минуты первой встречи миновали, ей показалось, что она ошиблась. Красин был, как прежде, энергичен и оживлен, остроумен и весел. И неистощимо бодр.

Правда, изредка он вдруг тускнел, смолкал, как бы вслушиваясь во что-то невеселое, глубинное, скрытое от всех, кроме него одного, но через минуту-другую встряхивался и становился прежним Никитичем, упругим, сильным, молодым...

Последней страной, где он побывал уже после Нового года, была Англия.

Здесь многое переменялось. К худшему. Вместо коалиционного кабинета Ллойд-Джорджа к власти пришло правительство консерваторов во главе с Бонар Лоу. Оно сразу же взяло курс на внешнеполитическую

изоляцию Советской России и подготовку новой интервенции.

Все попытки Красина по приезде в Лондон разрядить напряженность потерпели неудачу. Старый знакомец Керзон — министр иностранных дел и в новом правительстве — даже не соизволил принять его. Учивость по-прежнему не являлась главной добродетелью лорда.

Так ни с чем и пришлось вернуться домой.

События меж тем нарастали и к весне приняли угрожающий оборот. 8 мая 1923 года английское правительство направило в Москву ультимативный меморандум с требованиями немедленно отозвать из Персии и Афганистана советских представителей, якобы ведущих антибританскую пропаганду, выплатить денежную компенсацию семьям арестованных в России английских шпионов, освободить британские траулеры, задержанные за незаконную ловлю рыбы в советских территориальных водах, и др.

Для выполнения всех этих требований устанавливался жесткий срок — десять дней. В противном случае, грозил Керзон, разрыв торговых отношений,

Пресловутый "ультиматум Керзона" вздыбил страну негодованием. Повсюду прошли демонстрации и митинги протеста. Трудящиеся, чтобы укрепить обороноспособность Родины, провели сбор средств на строительство воздушного флота.

В те дни появились спички, на коробке которых был изображен самолет с громадным кукишем вместо пропеллера. А внизу стояла подпись: "Наш ответ Керзону!"

Советское правительство решительно отклонило все провокационные требования. Вместе с тем оно предложило созвать англо-советскую конференцию для обсуждения спорных вопросов и урегулирования отношений.

В Лондон был послан Красин, и он спешно вылетел из Москвы.

Облако, большое, серое, рыхлое, наплыло на самолет. Квадратные иллюминаторы словно облепило ватой, в кабине стало сумрачно и тускло, как под вечер.

Но сумерки длились недолго. Вскоре вновь пришел день. И опять завиднелась земля.

Тянулись ниточки дорог: потемнее — шоссейных и посветлее — проселочных. Ползли букашками легковые и жуками грузовые автомобили. На лугу паслось стадо: пестрые, меньше игрушечных коровки, и пастух, едва приметный глазу лилипут.

Да и все, что лежало внизу, походило скорее не на грешную старушку

Европу, а на Свифтову Лилипутию.

Казалось, в городишке, что возник вдали, вот-вот появится Гулливер и пойдет перешагивать через красные черепицы крыш и остроконечные шпили церквей.

Но Гулливер так и не появился. А может быть, просто не успел. Ведь не прошло и минуты, как городок пропал с глаз — потерялся за хвостом отчаянно рычащего самолета.

Впереди уже стелилось море, в удивительном, всегда поражающем ум и чувства непрерывном беге волн.

Но еще более поразительным был бег времени. Время мчалось намного быстрее, чем этот быстрокрылый биплан.

Что такое полстолетия?

Для человека — львиная доля всей его жизни. Для истории — ничтожная доля песчинки.

Меж тем он, совсем не ровесник Мафусаила, а всего лишь человек, входящий в пожилой возраст, стал очевидцем и соучастником невероятных, поразительных, чуть ли не сказочных перемен—Он ездил на перекладных..... ~

И он летит аэропланом.

Он просиживал вечера над книгой, слепя глаза под скудным пламенем свечи либо керосиновой лампы.

И он ходит по городам, чьи улицы ночью светлы, как днем,

Он в числе первых на Руси понес в массы марксизм.

И он — свидетель того, как марксизм стал массовой, нераздельно господствующей идеологией.

Он стоял у истоков партии, когда она лишь зарождалась.

И он видит партию могучей, зрелой, победившей и правящей.

Все это уместилось в рамках одной, не такой уж продолжительной жизни.

Да, бурный век, с неукротимо стремительным бегом времени.

Лондон захлестнул делами, встречами, переговорами. Красин виделся с политическими деятелями, промышленниками, представителями торговых фирм. Повсюду и всем доказывал, что Англия не меньше Советского Союза заинтересована в мире и согласии, что разрыв отношений причинит равный ущерб как той, так и другой стороне.

"Я, — писал он жене 18 мая 1923 года из Лондона, — приехал сюда в понедельник вечером и сейчас же был взят в переплет и нашими людьми и корреспондентами. Рекламу газеты создали совершенно невообразимую, и твой Татарин все эти дни был в Лондоне самым популярным персонажем.

На другое же утро имел разговор с Ллойд-Джорджем и Рам-заем Макдональдом, а с 3 часов был в парламенте, где обсуждали наш вопрос и выступали за нас и рабочая партия (Макдональд) и либералы (Лл. — Джордж и Асквит). Тревога, и возбуждение в Англии большие. Большинство, несомненно, против разрыва с нами, и все-таки Керзон достаточно силен, чтобы разорвать... Каково будет дальнейшее, т. е. начнут ли англичане нас отсюда вытуривать или ограничатся тем, что политики уедут, а красные купцы останутся торговать, покажет будущее...

Вчера я был у Керзона, персональный прием был очень любезный, даже необычный для этого сухаря, но по существу я добился малого".

"*23 мая Красин посетил министерство иностранных дел Великобритании и передал меморандум Советского правительства. В нем выражалась добрая воля и готовность во имя сохранения мира сделать ряд уступок по второстепенным вопросам. Вместе с тем отвергались все необоснованные обвинения и отклонялись требования, которые ущемляли суверенитет Советского государства.

Твердость Советского правительства, поддержка английского пролетариата, стремление деловых кругов Сити к нормализации отношений с Советским Союзом сорвали антисоветские планы Керзона. Его ультиматум был бесславно похоронен в архивах истории, а заодно и расчеты на новую интервенцию против СССР.

В Москву Красин возвратился со щитом.

XIV

На Москве кричали гудки. Долго, горестно и тревожно. Их голоса, сливаясь в один протяжный крик, рвали и не могли разорвать тишину. Тяжелая и неподвижная, она сдавила город. Так же, как сдавил его мороз, неслыханный и немилосердный. И никакие костры, хотя их жгли во множестве, не были в силах с ним совладать. Как не в силах был мороз совладать с людьми, которые все шли и шли Москвой.

В тот день на улицы вышел чуть ли не весь город. Но Москва была тихой. Над ней нависло безмолвие — безмолвие горя. И ни гудки остановившихся фабрик, заводов и паровозов, ни уханье пушек, что отдавали прощальный салют, ни хруст снега под сотнями тысяч ног не могли порушить тишины.

Тишина, мороз и горе сдавили Москву.

Москва хоронила Ленина.

Красная площадь словно разом поседела. Стены Кремля припорошило снегом и инеем. Минин и Пожарский стали белыми. Даше пеструю шапку Василия Блаженного высеребрили холода.

Огромная в своей непомерности площадь сжалась. Так тесно было на площади от людей. И среди массы непокрытых голов — седая голова Красина.

Несколько дней назад, студеным утром, он вместе с другими членами ЦК нес на руках обтянутый красным кумачом гроб. Пять верст. От Горок до станции Герасимове Меж заснеженных полей. Следом за крестьянскими розвальнями, с которых возница посыпал зеленым ельником путь.

"Вся эта неделя, — писал Красин близким, — как какой-то сон. И горе и скорбь невыразимая, но и сознание чего-то неизъяснимо великого, точно крыло истории тогда коснулось нас в эти жуткие и великие дни. Два года болел Ильич... и врачи не давали никакой надежды на сколько-нибудь полное выздоровление, подчеркивая все время возможность катастрофы в любой момент, — и все-таки когда утром на другой день после смерти мне по телефону сообщили это, весть была неожиданна, как удар молнии среди ясного неба. За несколько часов до смерти В. И. у меня был один из врачей, живший в Горках, и передавал о значительном улучшении в физическом состоянии В. И., хотя тут же прибавлял, что случайное разрушение какого-либо сосуда может вызвать дальнейшее прогрессирование паралича и даже смерть. Так и вышло... Надо еще удивляться, как при так далеко зашедшем

разрушении В. И. мог читать газеты и не только понимать других, но и давать им разные указания, а в особенности следить систематически за газетами и вновь выходящими книгами. Мука В. И. состояла в неспособности самому припоминать слова и говорить что-либо. Он был буквально в положении человека, на глазах у которого происходят понятные ему события, надвигается какое-нибудь несчастье, и он видит это все и знает, как этому помочь или как это предотвратить, но у него нет способа общаться с людьми, он не может им ни написать, ни крикнуть о том, что видит и знает!..

Всю свою жизнь, вплоть до мельчайших и второстепенных деталей, вроде выбора квартиры, В. И. располагал так, как это политически было целесообразно, как было лучше для борьбы и работы. И умереть он сумел с наибольшим возможным в данный момент и при данных обстоятельствах политическим результатом... А смерть как раз в день последнего дня заседаний съезда Советов РСФСР и накануне открытия съезда СССР?.. Разве не явилось глубокого политического значения фактом, что эта смерть совершилась в такой момент, когда тысячи уполномоченных со всей земли делегатов могли... видеть его во гробе, стоять на часах у его могилы, присутствовать на похоронах? А эта грандиозная манифестация паломничества сотен тысяч людей всякого звания в Дом Союзов, где три дня ждал В. И., пока разогреют и взорвут землю на Красной площади для могилы. Точно чтобы испытать всю эту людскую лавину, стекавшуюся к Дому Союзов, завернул мороз в 24–28 градусов. И люди по 4, по 6 часов ждали очереди в бесконечных колоннах, опоясывавших улицы и площади центральной части Москвы.

Да, умел В. И. жить, умел он и умереть".

Красин провожал не только вождя и учителя, он провожал и лучшую часть своей жизни — молодость и зрелость, проведенные вместе с Ильичей.

Годы, ушедшие в прошлое, были нелегкими, отношения не всегда простыми, а подчас напряженными. И оттого — драгоценными. 1

Тому, что было трудным, а в конце концов обрело общий знаменатель, нет цены. В многолетнем общении с Лениным, в совместной борьбе и дружбе с ним, — а Ленин был верным и беспощадно взыскательным другом, — Красин переменялся, стал лучше и мудрее, чем был.

Он провожал не только друга, ровесника и наставника, он провожал создателя и руководителя партии и Советского государства.

— Никогда еще после Маркса история великого освободительного движения пролетариата не выдвигала такой гигантской фигуры, как наш

покойный вождь, учитель, друг. Все, что есть в пролетариате поистине великого и героического, — бесстрашный ум, железная, негибкая, упорная, все преодолевающая воля, священная ненависть, ненависть до смерти к рабству и угнетению, революционная страсть, которая двигает горами, безграничная вера в творческие силы масс, громадный организационный гений, — все это нашло свое великолепное воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового мира от запада до востока, от юга до севера, — писал в те скорбные дни Центральный Комитет Коммунистической партии, обращаясь ко всем трудящимся.

Как же быть дальше, как жить и работать без него? Этот вопрос волновал всех. "Товарищи рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки!

Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д. — всему этому он придавал при жизни такое малое значение, так тяготился всем этим. Помните, как много еще не устроено в нашей стране. Хотите почтить имя Владимира Ильича — устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов и т. д. И самое главное — давайте во всем проводить в жизнь его заветы", — отвечала на этот вопрос Надежда Константиновна Крупская.

"И как любили мы Ильича, так мы должны любить друг дружку, и когда сольемся все вместе, тогда только процветет наша Россия большими пушистыми цветами", — отвечал на этот вопрос простой рабочий человек, горняк Богачин, четверть века проработавший в каменноугольной шахте.

"Наш вождь, наш Ленин учил нас при жизни и приказывает теперь из гроба исполнить его завет и там, где погибает видный, незаменимый боец, ставить на его место коллективную силу", — отвечал на этот вопрос Красин.

Сила, о которой он писал, прибывала.

В ленинском призыве, влившем в партию свыше двухсот тысяч лучших сынов рабочего класса.

В еще более тесном сплочении трудящихся вокруг партии и партии вокруг Центрального Комитета.

В мудрой и правильной политике ЦК.

Его членом Красин был избран XIII партийным съездом.

Коллективный разум народа — Коммунистическая партия и ее Центральный Комитет вели страну без Ленина по ленинскому пути.

Успешно восстанавливалось народное хозяйство.

Неуклонно рос, приближаясь к довоенному, уровень промышленного и

сельскохозяйственного производства.

Значительными были успехи и в области международных отношений.

1924 год стал годом признания Советского Союза почти всеми крупными капиталистическими государствами, начиная с Англии и Италии и кончая Францией.

Это была победа мирной политики Советов, результат роста силы страны.

Победил твердый курс ленинской внешней политики, о котором Красин писал:

"Наша программа — мир между всеми народами и скорейшее восстановление нашей экономики... —

Мы никому не кланяемся, мы не зависимы ни от каких лиг и других объединений, мы руководствуемся только интересами рабоче-советского государства и великого мирового движения, которое оно собою представляет".

Этим курсом Красин шел, не сворачивая в сторону, не отступаясь, твердой большевистской поступью.

Он точно выверял и досконально знал силы, как свои, так и чужие, а потому в столкновениях с противниками был спокоен, стоек, непоколебим.

Если на пути вырастали преграды, они преодолевались. Уверенно и искусно. За счет все той же твердости.

Всякий раз, когда на международном горизонте вспыхивали конфликты, он руководствовался сам и призывал других руководствоваться формулой, высказанной им на XIII партийном съезде и встреченной бурными аплодисментами:

— Мы должны полностью подтвердить все наши требования, мы должны категорически заявить: "Никаких уступок", — и при надлежащей твердости и выдержке мы победим, как мы побеждали в других, более опасных и более серьезных конфликтах.

В те дни внимание страны устремилось к Берлину.

3 мая здешняя полиция ворвалась в советское торгпредство и учинила погром. Под предлогом поисков некоего Боценгардта, вскоре разоблаченного как провокатор, полицейские взламывали шкафы, открывали портфели, рылись в бумагах. Было арестовано несколько работников торгпредства.

Под угрозой оказалось право экстерриториальности торгового представительства.

В ответ на провокацию берлинской охранки Советское правительство прекратило все сделки с германскими фирмами.

Удар был сильным. Но вся тяжесть его, как доказывал Красин, падала не на Советский Союз, а на Германию, ибо ее интересы страдали куда больше, чем наши.

— В области экспорта, — говорил он 26 мая 1924 года, — Германия представляла для нас главный интерес, как рынок для нашего хлеба. Но и здесь заинтересованность германского правительства больше, чем наша. Недаром в прошлом году германское правительство первое предложило нам обеспечить за Германией 30 миллионов пудов ржи. Германия более нуждается в нашем хлебе, нежели мы в ней, как в рынке. Во-первых, в предстоящем году вывоз хлеба из Америк сильно сократится, и наш хлеб еще более нужен Европе, чем в прошлом, и во-вторых, — и это самое главное, — за наш хлеб Германия платит нам своими фабричными изделиями, а за американский она должна платить долларами, то есть золотом. К тому же мы свой хлеб можем вывозить и вывозим и в другие страны — в Англию, Францию, Голландию, Италию, Скандинавские страны и пр. Германия бьет себя, а не нас.

Это был язык экономики, общепонятный, веский, убедительный язык, которым Красин владел издавна и в совершенстве.

29 июля 1924 года в Берлине был подписан протокол о ликвидации германо-советского конфликта. Германское правительство признало действия полиции незаконными, выразило сожаление о случившемся и заявило о своей готовности возместить нанесенный материальный ущерб.

Когда год уже был на исходе, Красин прибыл в Париж. К приходу поезда площадь перед Северным вокзалом заполнил народ. Парижские пролетарии пришли приветствовать первого посла первого в мире пролетарского государства.

Он вышел, и навстречу понеслись аплодисменты, а еле дом «Интернационал». Парижане пели боевой гимн солидарности трудящихся, повергая в смятение ажанов и шпикивов, во множестве рассеянных по площади.

Когда Красина назначили послом, или, как тогда принято было говорить, полпредом, во Франции, он знал, что в Париже ему уготованы не пряники. В хоре антисоветских держав голос Франции был самым зычным. Недаром она последней в Европе признала СССР. Да и после признания между двумя государствами оставалось множество вопросов, спорных и наболевших.

Словом, сомневаться в недоброжелательности французских правителей не приходилось, и еще в Москве он готовил себя к тяжкому труду.

К чему он не был подготовлен и чего не ожидал, даже в самых радужных предположениях, это к тому, что встретит во Франции столько друзей, Верных, стойких, бескорыстных. Друзей своей страны.

Число их росло неуклонно, изо дня в день, от месяца к месяцу.

Он вновь убеждался в том, что зарево Великого Октября отбрасывает свои могучие отсветы и на Францию, что симпатии и любовь трудящихся к Советскому Союзу крепнут и множатся.

И, находясь на чужбине, он чувствовал себя счастливо, так, как чувствуешь себя на родной земле, среди своих.

Случилось это 4 июля 1925 года, на открытии советского

234

павильона Международной выставки декоративных искусств и художественной промышленности.

После торжественной церемонии Красин и представители французского правительства направились к павильону.

У входа стояла толпа. Интерес к советскому павильону был огромен. Парижские пролетарий с нетерпением ожидали его открытия.

Красин приветственно помахал букетом алых гвоздик — эти цветы только что преподнесли ему французы, строившие павильон.

В ответ раздались возгласы, сперва разрозненные, а потом все более и более дружные и мощные:

— Да здравствуют Советы!

Шедший рядом с ним председатель правительственной комиссии по русским делам сенатор де Монзн возмущенно отвернулся.

— Да здравствует советский посол! — гудела улица. Тогда де Монзи проговорил в ярости и гневе:

— Это политическая демонстрация... Это повторение того, что было в декабре на вокзале... Я пришел сюда присутствовать на художественной демонстрации, а не на политическом митинге...

И ретировался с выставки под свист толпы.

Буржуазные газеты постарались раздуть этот инцидент, раструбив на весь мир о политическом скандале при открытии советского павильона, хотя скандальным было лишь одно — поведение французского государственного деятеля.

Утром, просматривая за чаем газетную сводку, подготовленную пресс-атташе, Красин усмехался. Вспомнилась древняя притча, рассказанная еще Плутархом. Один воин, выступая в поход, услышал карканье воронов, остановился и положил наземь оружие. Потом поднял его и продолжал свой путь. Но тут воронье закричало пуще прежнего. Воин опять оробел и

снова остановился. В конце концов он все же преодолел страх перед дурным предзнаменованием, решительно зашагал вперед и крикнул;

— Каркайте, сколько хотите. Меня вы все равно не съедите.

Поведение нынешних правителей Франции вызывало недоумение. Они напоминали своих далеких предшественников — Бурбонов, которых, как известно, революция ничему не научила. Уроки недавней истории явно не пошли впрок и нынешним. Полный провал интервенции словно выветрился из их памяти.

По этому поводу Красин писал:

"Неужели полагают, что Советское правительство при дипломатических переговорах пойдет на те уступки, к которым его хотели и не могли принудить вооруженной силой?"

Правда, при переговорах никто не стучал кулаком по столу... не угрожал, не прибегал к тактике выламывания рук. Все выглядело в высшей степени благопристойно. Министры улыбались. Любезно и медоточиво. Об одном из них Красин после первой встречи сказал:

— Стелет довольно мягко, посмотрим, каково будет спать...

И вместе с тем все они твердо стояли на своем —? требовали уплаты царских долгов (по сему поводу некий доморощенный острослов каламбурил в белогвардейской газете: "Долг платежом красен, да Красин платить не согласен"), не признавали контрпретензий Советского Союза, затягивали переговоры.

Вскоре после прибытия в Париж Красин встретился с Эррио, в те дни премьер-министром Франции. Советский посол поставил вопрос о возвращении военных кораблей Черноморского флота вывезенных Врангелем и интернированных французами в Бизерте.

Эррио пообещал возвратить корабли, но так и не сдержал своего обещания.

Спустя несколько месяцев его кабинет пал, "и мы, — писал Красин 11 апреля 1925 года в Москву. — ждем с часу на час назначения нового министерства. Наше положение будет, вероятно, потруднее, но и сейчас было оно неважно, ибо агония мин-ва приводила к тому, что ни по какому делу ничего определенного нельзя было добиться, все думали на тему "быть или не быть", а когда в доме пожар, то о цвете обоев уже мало разговаривают. Кабинет Эррио закончил свои дни довольно позорно. Уступал и уступал во имя «единения», сдав все позиции, растоптал и оплевал все, чему поклонялся, и, получив пинок сената, вылетел, вместо того чтобы послать всех этих старичков ко всем чертям и вести с ними борьбу всерьез. Разница с Керенским лишь та, что тут нет Ленина, который

всю эту компанию мог бы взять за шиворот. Кто будет формировать новый кабинет, еще неизвестно, но, вероятно, мин. индел будет Бриан, эта старая и хитрейшая лиса, и ухо с ним придется держать остро".

Менялись кабинеты, менялись министры, одни уходили, другие приходили, а политика оставалась той же, И проблемы теми же — нерешенными.

После Эррио в кресло премьер-министра сел Пенлеве, несмотря на аналогичные обещания, также ничего не сделал.

Переговоры шли и шли, а корабли все стояли на приколе в бизертском порту.

На таком же приколе французские политики стремились удержать и развитие франко-советских отношений. Нужны были невероятная выдержка, терпение и настойчивость, чтобы достигнуть хотя бы полувершковых сдвигов на пути к сближению двух стран.

Красин этими качествами обладал. И пользовался ими искусно. Поэтому кое-чего он все же добился. Главным образом в области торговли, что само по себе было уже немалым. Ибо, как сообщал он из Парижа в Москву, "каждая новая сделка или соглашение с отдельными фирмами чрезвычайно укрепляют нашу общую политическую позицию, создавая прочную базу для успешного ведения и самих политических переговоров".

Организованное им торгпредство разместило среди французских фирм большое количество заказов на крупные суммы. Еще более значительным был экспорт советских товаров во Францию.

В изнурительных и затяжных переговорах посол Красин вел себя так, как подобает советскому дипломату ленинской выучки. Он не улещивал ложными посулами и невыполнимыми обещаниями, не вселял приятных, но обманчивых иллюзий, не уговаривал с помощью цветистых, но ничего не значащих фраз.

Он оперировал фактами, суровыми и непреложными, как сама жизнь.

Пусть эти фанты и казались неприятными партнеру по переговорам, не считаться с ними он не мог, как не мог не считаться с самой реальностью, выражаемой ими. Резкой и прямой постановкой проблемы Красин понуждал собеседника соразмерять мысли и дела с объективной реальностью, которая существует вне зависимости от желаний, симпатий или антипатий людей.

Встретившись с министром иностранных дел Брианом, отнюдь не расположенным к большевикам, Красин говорил:

— Конечно, самое лучшее, с точки зрения любого капиталистического правительства, было бы нас победить и уничтожить, и капиталистические

правительства весьма добросовестно старались это сделать в предыдущие годы, но этот опыт оказался неудачным, и постепенно большая часть правительств Европы пришла к неизбежному выводу о необходимости так или иначе найти модус для взаимных правильных регулярных отношений... Не мы выдумали существование капиталистического строя и классовых противоречий в его недрах, не мы изобрели борьбу классов, не мы изобрели борьбу труда и капитала, — мы лишь внимательно изучили вашу жизнь, усвоили принципы и опыт рабочего класса Западной Европы и по мере наших сил и разумения приложили эти принципы к разрешению наших внутренних задач. В результате получилось Советское рабоче-крестьянское государство, с наличием которого необходимо считаться всякому правительству любой другой страны.

Он говорил о неизбежной необходимости мирного сосуществования государств с различными социальными системами.

И зримым подтверждением верности слов его был красный флаг с серпом и молотом, развевавшийся в самом центре Парижа, на улице Греннель, над зданием посольства Союза Советских Социалистических Республик.

Посольство шило и работало нормально, размеренно, деловито.

Рано поутру полпред начинал свой рабочий день — просматривал почту, подписывал бумаги, трудился над документами, направляемыми в Москву, вызывал сотрудников, давал задания, проверял исполнение. Затем в его кабинете появлялись посетители. И шли непрерывной чередой: государственные деятели, промышленники, депутаты парламента, журналисты, ученые.

Однажды в полпредство явилась депутация мелких держателей русских бумаг. Красин немедленно принял ее.

Председатель с самого начала просил рассматривать — депутацию не как кредиторов России, а как представителей двухмиллионной, по его выражению, группы французских середняков и бедняков, владеющих русскими облигациями и обращающихся к народным массам Советской республики с просьбой войти в их положение и согласиться как-нибудь компенсировать те потери, которые им пришлось понести.

В ответ Красин сказал:

— При революции, которую делает великий народ, естественно, бьется посуда и трещат оконные стекла, Ваше правительство причинило нам несравненно большие убытки, чем мы вам. Если вы говорите, что ваше положение тяжело, то ведь положение нашего крестьянства в тысячу раз тяжелее... Русский крестьянин и русский рабочий, вынесшие десятки

белогвардейских выступлений, будут возмущены, если им сказать, что нужно платить за то, что брал царь... Если бы Советское правительство признало царские долги, его сбросили бы моментально.

— Советское правительство очень сильное правительство, — возразил ему председатель депутации.

да>согласился Красин, — оно сильно потому, что опирается на широчайшие крестьянские массы, которые именно не признают царского наследия и ведут самостоятельную политику в этом отношении. Речь может идти, очевидно, об известном соглашении, поскольку французское правительство найдет возможным оказать существенные услуги в деле предоставления нам долгосрочных кредитов. Мы отказываемся от такой формы признания долгов, которая приближается к признанию нами царских долгов. Но мы готовы на известные соглашения при условии значительного долгосрочного кредита. Мы можем пойти при этом на известное увеличение суммы долга, чтобы разница была употреблена на компенсацию мелких держателей.

То, что он сказал, было и гуманно и справедливо.

С представителями западного мира советский полпред общался не только в стенах посольства, но и за пределами его. Красин меньше всего походил на кабинетного затворника, мрачного, недоверчивого, опасливого. Он считал, что путем личных контактов скорее всего достигнешь желаемого.

Он не страшился обвинений в «обуржуазивании», довольно ходких в ту пору, а справедливо полагал, что в общении с ним скорее «осоветится» тот или иной буржуа, чем "обуржуазится" он, старый большевик.

Встречаясь на завтраках, обедах, в салонах с политиками, учеными, предпринимателями, художниками, артистами, он нес и распространял правду о своей стране, о делах и днях, чаяниях и планах своего народа.

Он был не только полпредом Советского Союза, но и пропагандистом советского образа жизни, умным, тонким, тактичным. Так что даже самые беспардонные писаки, чьей специальностью было сочинение побасенок о "руке Москвы" и вездесущих "агентах Коминтерна", не решались обвинить его в коммунистическом подстрекательстве и вмешательстве во внутреннюю жизнь страны.

"Речистый, живой, изящно вежливый, он производил неизгладимое впечатление, очаровывал" (А. Луначарский).

Его влекло к людям. И людей влекло к нему. Поэтому через каких-нибудь несколько месяцев он стал одним из популярнейших людей Парижа. На Монмартре шансонье распевали песенку о его приезде в Париж. В

магазинах игрушек бойно торговали кукольными фигурками, изображавшими monsieur Kras-sine.

Двери самых влиятельных домов были для него открыты. Он стал желанным гостем. К нему тянулись и его уважали даже те, кто не соглашался с ним. Настолько велика была сила его обаяния, настолько значительной и интересной личностью его.

Жить для Красина значило не существовать, а творить жизнь, формировать ее. А это было невозможно без изучения жизни, без связи с ней, без проникновения и, так сказать, вшивания в нее.

Он вживался в Париж, истово и повседневно. Его можно было встретить и в "Гранд опера", и в ассоциации финансистов, и в Лувре, и на Блошином рынке, и в фешенебельном ресторане, и в шоферском бистро, и в кабинете министра, и в рабочем клубе, и в мастерской художника, и в лаборатории ученого.

Он слушал, что говорили другие. И другие слушали, что говорил он, мило пошучивая, то и дело ввертывая в свою далеко не безупречную французскую речь, отдававшую славянизмами, остроумное, находчивое слово; не назойливо, а так, само по себе, в ходе беседы, блистая эрудицией и умом.

Он стремился постичь и постепенно постигал жизнь великого и бессмертного города, его мысли и чувства, сложные, многообразные, противоречивые.

Путешествуя в жизнь, он не признавал ограничений. Даже если они диктовались разумом и предосторожностью.

Первое время после его прибытия в Париж друзья опасались провокаций. И не без оснований. Город кишел белоэмигрантами, злобными и озлобленными, готовыми на все, только бы дать выход своей ненависти к Советскому Союзу.

У ворот посольства была задержана какая-то полупомешанная женщина. В ее сумочке оказался револьвер. Женщина призналась, что хотела застрелить посла.

А несколькими днями позже на него было совершено покушение, и он лишь чудом избежал трагической участи, которая постигла его старого друга Вацлава Воровского, павшего от пули белогвардейского убийцы.

Тяга к живой жизни была в Красине настолько сильна, что он презирал опасность смерти. И хотя, писал он, товарищи "буквально не дают мне выходить на улицу, опасаясь всяких худых инцидентов. Я обычно удираю все-таки...".

Впрочем, это относилось к первым парижским неделям. Дальше все

стало спокойнее. И даже самые оголтелые белогвардейцы больше не поднимали на него руку.

Опасность пришла с неожиданной стороны. Оттуда, откуда ее меньше всего ждет человек, если он по натуре боец. Всю жизнь сражаясь, он привык видеть врагов перед собой: И упускает из виду врагов внутри себя. А они рано ли, поздно, особенно с возрастом, напоминают о себе. Грозно и безжалостно напоминают.

Незримые, небольшие, казалось бы, ничтожные, они на самом деле всемогущи. Сильнее их пока еще нет никого на свете.

Достаточно одной важной частице сложного и множественного человеческого организма сдать, как тут же возникает зловещая угроза. Она растет и разрастается, пока, наконец, необоримая природа не одерживает верх в неравной схватке.

Красин давно уже чувствовал себя неважно. Но относил это за счет годов — как-никак шестой десяток!

И за счет обычного недомогания, которое время от времени докучает человеку.

И за счет усталости. У него всегда дел было непочатый край.

Но теперь по утрам, за бритьем он все чаще хмуро поглядывал в зеркало: лицо — серовато-белое, под глазами — набухшие мешки; скулы заострены и иссечены бороздами морщин, щеки ввалились и тоже в морщинах...

Нет, надо больше бывать на воздухе, больше спать, больше есть...

Что еще больше?..

Наступал день, переполненный трудовыми заботами, и он забывал обо всех этих «больше». И забывал о врачах, которым все собирался показаться. Правда, о врачах он вообще редко вспоминал, считая свое здоровье могучим, сибиряцким.

Однако вдруг он почувствовал головокружение, настолько сильное, что едва устоял на ногах.

Головокружение не напугало его. Он решил, что это случайно, от утомления.

Но вскоре все повторилось. А потом еще. И еще и еще.

Начались приступы рвоты.

И тут он понял, что с ним творится неладное, что он болен, серьезно и опасно.

К этому времени он уже был в Москве, куда его отозвали за новым назначением. Правительство направляло Красина в Лондон, полпредом в Англии.

Анализируя свою деятельность в Париже, Красин говорил в беседе с корреспондентом "Правды":

— Первыми моими шагами были организация аппаратов полпредства и торгпредства, а также генерального консульства и открытие торговых сношений. Я стремился, кроме того, выяснить общие отношения политических, общественных и деловых кругов Франции к тем вопросам, которые будут предметом наших переговоров... Несмотря на неблагоприятную атмосферу, которая была создана нарочито организованной кампанией печати, и на крайне тревожное положение министерства, нам все же удалось установить более или менее нормальные отношения с различными слоями французского делового и политического мира и выяснить некоторые вопросы, которые возникнут в порядке переговоров.

Врачи поставили диагноз. Был он беспощаден. Лейкемия — злокачественное белокровие.

Но он не дал уложить себя в больницу, наивно веря, что дома и стены лечат.

Хотя, по правде сказать, то была не вера, а хитрость. Тоже наивная. Он знал, что больница отнимет возможность работать. Дома же он был сам себе хозяин.

Его квартира стала филиалом наркомата. Сюда приезжали сотрудники. На доклад, за указаниями, по его телефонным вызовам.

Он встречал их улыбкой, смешком, стараясь казаться веселым и бодрым, хотя большую часть времени проводил в постели.

— Напрасно они вас там задерживали, — говорил он Ту-рову, которому родные потихоньку в коридоре рассказывали о состоянии и самочувствии больного, — ничего особенного. К завтраму пройдет. А на случай, если я завтра не смогу прийти в наркомат, прошу вас, расскажите, как обстоит дело с заказами на сельхозмашины...

Как только ему хоть немного легчало, он вопреки протестам домашних покидал постель и отправлялся на службу — работать. Помногу, лихорадочно, запойно.

"Наркомвнешторг тогда слился, с Наркомторгом, — вспоминал В. Туров. — Красин ходил на заседания коллегии, ложился на кушетку в кабинете А. Д. Цюрупы и обязательно выступал в прениях".

Долго так продолжаться не могло. У природы свои законы, нерушимые. Через несколько недель он уже не был в силах подниматься с постели.

Теперь в его комнате стоял печальный запах лекарств, было сумрачно

от зашторенных окон и тихо. Так тихо, как бывает только там, где жизнь убывает.

А в соседней комнате, за стеной, жизнь прибывала — совсем еще юная жизнь. Она заявляла о себе то звонким смехом, то плачем, то щебетом. Или вдруг, распахнув настежь дверь, врвалась в искристом сиянии зимнего дня, непоседливая, неугомонная, на быстрых крепких ножках, с пухлыми ручонками, перетянутыми в запястьях.

Она взбиралась к нему на постель, прижималась к колючей бороде, вскрикивала, хохотала.

Он гладил шелковистые волосы, улыбался, закрывал глаза от нестерпимо острого чувства нежности... И жалости...

Дочка, малышка, ей шел лишь третий год.

Когда она родилась, ее назвали Тамарой, но после смерти Ленина, в память о нем он стал звать ее Леночкой. И это имя прочно прилепилось к ней.

Мать Леночки — Тамара Владимировна Жуковская скрасила последние годы Красина, расцветив их молодостью, радостью, счастьем.

На склоне лет на него снизошла благодать, редкостная и бесценная. Его одарили тем, что обычно достается только молодым. Его полюбили, сильно и нежно.

И он любил. Вновь. Юношески упоенно.

Все было хорошо. Одного не было — здоровья. Здоровье все ухудшалось.

Тем не менее он и слышать не хотел о больнице, а лечился на дому: сам себе делал анализы крови и, отставив в сторону микроскоп, писал, словно врач, составляющий медицинский бюллетень:

"У пациента такая-то температура, общее состояние такое-то, количество кровяных шариков столько-то.

Л. Красин".

Число кровяных шариков с каждым анализом угрожающе уменьшалось. В конце концов ему пришлось смириться и лечь в больницу.

Больница даже для тяжело больного человека совсем иное, чем дом. Здесь он попадает в другой, совершенно не похожий на обычный мир, живущий по своим, непререкаемым законам. Человеком полностью управляют другие люди, всевластные и всесильные в отношении его, но, увы, далеко не всесильные в отношении болезни. Им он целиком подчинен, им обязан повиноваться беспрекословно, их должен всегда и во всем слушаться. Весь свет суживается для него до размеров небольшой комнаты, или, в лучшем случае, до длинного, сверкающего унылой больничной

чистотой коридора. То, что происходит за стенами и что видно из окон, всего лишь живые картинки чужой, мало понятной и недоступной жизни: люди, которые спешат по своим делам, трамваи, извозчики, автомобили, бесшумно несущиеся в неведомую и для тебя непостижимую даль, снег, падающий с неба на крышу и землю. Этот большой мир, существующий совсем рядом и вместе с тем в таком далеке, что и подумать страшно, входит в твою жизнь лишь румяным от мороза лицом сестры, только что заступившей на дежурство, да рассказами родных и друзей, которые пришли тебя навестить.

И все же в больнице он раздвинул тесные рамки палатного мирка, преодолел ограниченную замкнутость чувств и представлений, свойственных больному, которые обычно овладевают им и не только физически, но и морально подчиняют недугу.

Он мыслью вырвался в большой мир, став по-прежнему и снова активным участником и творцом жизни. Его раздумья были устремлены вперед, к тому, что предстояло сделать в Лондоне. Он написал доклад "О взаимоотношениях СССР с Англией" и переслал в Политбюро ЦК РКП(б) — для рассмотрения и выработки указаний и директив.

В этом докладе был набросан общий план деятельности полпредства, намечены главные направления в его работе.

Пришел новый, 1926 год, и Красин покинул больницу. Но не для того, чтобы уехать в Лондон, куда ему не терпелось прибыть. А чтобы вновь попасть в руки докторов. На сей раз французских.

Его лечили долго и тщательно, сначала в Париже, а потом на средиземноморском побережье, близ Ниццы, применяя все имеющиеся у медицины средства.

Откинувшись в шезлонге, он вдыхал солоноватые запахи моря, глядел в лазурную даль, необъятно просторную, колышущуюся, вечно живую, постоянно желанную, и вполголоса читал стихи все того же Пушкина:

Пора, мой друг, пора покоя сердце просит, — Летят за днями дни, и каждый час уносит Частичку бытия...

Удивительно, стихи были печальными, а он не печалился. Он верил — впереди работа, жизнь.

И как будто бы не ошибся.

К осени ему стало лучше. С лица исчезла бледность, и даже появился загар, Помогли бесчисленные переливания крови. Хотя поначалу он совестился того, что его питают кровью других людей.

"Тяжело. Чувствуешь себя каким-то вампиром", — как бы оправдываясь, писал он одному из своих давних друзей.

Он окреп и, казалось ему, выздоровел. Теперь можно было распрощаться с Парижем и ехать в Англию, к месту службы.

28 сентября Л. Б. Красин, советский посол в Великобритании, прибыл в Лондон.

Ровно в назначенный час, минута в минуту, он спустился по большой парадной лестнице, что вела со второго этажа, где помещалась его квартира, вниз, в официальные комнаты полпредства.

Стройный, подтянутый, в безупречно сидящем темном костюме, он выглядел превосходно. Словно никогда не болел. Благо стоячий крахмальный воротничок, подпирая подбородок, скрадывал худобу лица.

В глазах играли живые огоньки, на щеках — легкий румянец.

Стремительной, пружинящей походкой Красин прошел в зал приемов, где его уже ждали.

Здесь собрались журналисты Лондона. Они пришли проинтервьюировать советского посла.

Большинство знало Красина еще по прежним годам. Многих и он знал. Так что контакт с аудиторией установился быстро. Англичане любят юмор, а он владел им свободно. Каждая из его шуток, изящных, добродушных, остроумных, вызывала одобрительный смех.

Затем он перешел к главному — к задачам, своей будущей деятельности. Эти задачи, заявил он, заключаются в том, чтобы добиваться взаимопонимания двух великих народов и установления истинно дружественных отношений между двумя великими державами.

Достижению этой цели он с первых же лондонских дней подчинил все дела, как свои, так и работников полпредства.

С ними он сразу нашел общий язык, ибо разговаривал языком доверия, доброжелательности, уважения.

Красин, вспоминает И. Майский, ныне академик, а тогда советник полпредства, "произвел на меня большое впечатление... умный, деловой, энергичный, с широким размахом и глубоким пониманием английской психологии. Работать с ним было настоящее удовольствие — он дружественно относился к своим сотрудникам и не стеснял их инициативы, а, наоборот, скорее поощрял ее".

11 октября Красин нанес официальный визит министру иностранных дел Остину Чемберлену, джентльмену с тяжелой челюстью боксера и непременным моноклем аристократа.

Меняются времена, и меняются люди. Далеко не всегда в сути своей, но почти всегда в манере поведения. Пришли новые времена. Советский

Союз уже был не таким, как несколько лет назад. Он стал намного сильнее. С его возрастающим авторитетом нельзя было не считаться. Поэтому Чемберлен, не меньший ненавистник большевизма, чем Керзон, при встрече с советским послом повел себя совсем по-иному. Он был куда любезнее и учтивее Керзона.

Приветливо улыбаясь, Чемберлен заверил Красина в том, что желает содействовать ослаблению англо-советского напряжения.

Правда, тут же, словно сожалеючи, пожимая плечами, присовокупил, что сильно сомневается в возможности достижения этого.

Рассказывая о своей встрече с министром иностранных дел, Красин, усмехаясь, говорил Майскому:

— Все на свете относительно и познается путем сравнения... По сравнению с Керзоном Чемберлен был сегодня со мной очарователен, даже обещал приложить руку к улучшению отношений с СССР... Но что это даст на практике — посмотрим. Постараюсь нажать на людей из Сити...

Так он и поступил и, не откладывая дела в долгий ящик, 15 октября встретился с директором Английского банка Монтегю Норманом.

Банкир в отличие от министра не дарил улыбок и не расточал любезностей. Он был суховат и сдержан. Но разговаривать с ним было проще. Норман был деловым человеком и отлично разбирался в экономике не только Англии, но и послевоенной Европы, зная все ее нужды назубок.

Он внимательно и с интересом слушал Красина, время от времени согласно кивал головой.

Красин доказывал, что экономическое восстановление Европы после мировой войны возможно только при условии вовлечения России в европейский товарооборот и что для быстрого развития народного хозяйства СССР необходим английский заем, взаимовыгодный для обеих стран.

Под конец беседы, продолжавшейся два часа, Норман признал:

— Без России европейское восстановление невозможно.

Тогда Красин спросил:

— А каковы шансы получения займа в Лондоне?

На что последовал знакомый, давно навязший в ушах ответ:

— В настоящее время никаких! Надо предварительно урегулировать вопрос о старых претензиях.

Говорить с банкиром было легко, договариваться трудно. Руководствуясь интересами экономики, он вместе с тем оглядывался на политику. А ее диктовали консерваторы.

Красина первая неудача не огорчила. И не обескуражила. По опыту он

знал, что путь к соглашению долог, извилист, тернист.: Чтобы с успехом пройти по нему, нужны терпение и время.

Терпения у него, как всегда, было предостаточно.

Но времени уже не было. Совсем не было.

С середины октября здоровье Красина ухудшилось. Он уже не мог покидать полпредство. Те, кому был нужен он и кто был нужен ему, приезжали сюда. Он беседовал с ними в служебном кабинете, на первом этаже, с трудом сходя вниз.

Однако позже он уже был не в состоянии спуститься по лестнице и все свое время проводил наверху. Здесь принимал сотрудников, читал бумаги, отдавал распоряжения, диктовал письма и телеграммы.

"Потам и это стало ему трудно, — вспоминает И. Майский. — Он слег в постель, но продолжал интересоваться делами. Мне стоило немалых усилий свести число докладов до крайнего минимума. Из Москвы шли самые настойчивые указания — не жалеть средств на лечение полпреда, сделать все возможное и невозможное для его спасения".

Но спасти его уже было нельзя. Никакими средствами в мире.

Он лежал на кровати, изглоданный недугом, без единой *~ кровинки в лице. За окном исходила тоской, дождем и туманами лондонская осень, а он будто не замечал ее. Мысли были не здесь, не в слезящемся Лондоне, а в далекой и дальней России. Но не в той, что сейчас тоже Стиснута осенью, а в иной, летней, просторной, привольной.

Пред ним вставали необозримые степи, колышущиеся травами: и благоухающие мятой, могучие реки, чьи стремнины таи славно рассекают саженьками, долгие рассветы и короткие ночи бескрайнего южного моря.

Мысленным взором он видел все то, что ему уже не суждено было увидеть воочию.

Близился праздник — 9-я годовщина Великого Октября. Без малого десятилетие жила и здравствовала Страна Советов

4 ноября Красин закончил статью для праздничного номера «Известий» — последнюю статью в своей жизни.

Она проникнута оптимизмом, неисчерпаемой верой в торжество дела Ленина, патриотической гордостью тем, что "Советская республика — ничтожный красный островок среди заливавших ее волн белогвардейского моря, уверенно идет вперед, мужает, крепнет".

"Мы можем, — писал он, — с гордостью указать на неоспоримый факт, что к девятой своей годовщине Советский Союз подошел к полному восстановлению всех своих хозяйственных ресурсов до довоенного уровня...

Наша бедная и некультурная страна быстро идет по пути превращения в богатую и культурную страну. Мы идем при этом путями, указанными нам Лениным, путями, направленными к организации социалистического производства. На этих путях мы догоним и перегоним капиталистическую Европу".

Расставаясь с жизнью, Красин думал не о себе, а о тех, кто будет строить жизнь дальше.

"Уже идет гигантская молодая поросль, идет смена, которая не только полностью возьмет на свои плечи, но и во многом разовьет и усилит нашу работу. Будем же бодры и радостны!.."

Мужественный и сильный человек, Красин и на пороге смерти не переставал думать о жизни, новой, обновленной, вечной, неодолимой.

"Жизнь ведь и вообще чертовски хороша, — писал он Луначарскому, — а наша жизнь, в наше время — удивительна. Когда болеешь, когда почувствуешь на своем лице дуновение последнего часа, тогда особенно ярко это понимаешь".

7 ноября на праздничном приеме в полпредстве было многолюдно, но тихо. Все разговаривали вполголоса, зная, что наверху лежит тяжелобольной.

Поздно вечером, после того как иностранные гости разъехались, Красин попросил оставшихся советских товарищей спеть старые революционные песни.

"На большой лестнице полпредства, расположенной поблизости от спальни, сели все, кто хоть как-нибудь умел петь. Собралось не меньше ста человек. Образовался импровизированный хор, который одну за другой исполнял "Замучен тяжелой неволей", "По пыльной дороге телега несется", "Смело, товарищи, в ногу", «Варшавянку», "Красное знамя" и другие... Несколько раз у Красина спрашивались, не устал ли он. Не прекратить ли пение. Но Леонид Борисович неизменно отвечал: "Нет, нет, пойте, пойте, мне так хорошо". Только поздно ночью закончился этот своеобразный концерт, которого я никогда не забуду", — свидетельствует И. Майский. И далее добавляет:

"Помню, за три дня до смерти Красина я застал его в полузабытьи, с закрытыми глазами и едва слышным дыханием. Вдруг он как-то дрогнул и вполне отчетливо, громко произнес:

— С болезнью надо бороться твердо, упорно, по-большевистски".

Воля к борьбе не оставляла его. Но сил для борьбы уже не оставалось. 24 ноября силы окончательно покинули Красина. Задолго до прихода зари, в 4 часа 40 минут утра, он умер.

Печальная весть быстро достигла Москвы. 25 ноября «Правда» вышла с траурным аншлагом на всю первую полосу:

СКОНЧАЛСЯ ТОВ. Л. Б. КРАСИН

Центральный Комитет партии писал в своем сообщении:

"В товарище Красине соединялись редкие качества выдающегося революционера и человека спокойной научной мысли, человека, для которого дело революции, дело социализма было главным делом его жизни".

В те дни Англию сотрясала могучая забастовка горняков. Она приковала к себе внимание страны. И тем не менее похороны Красина всколыхнули Лондон. 27 ноября его улицы заполнили тысячи людей. От полпредства к крематорию с Голдерсгрине гроб провожали рабочие, руководители Английской коммунистической партии, лидеры лейбористов и тред-юнионов.

Среди множества венков — от советской колонии, от Английской коммунистической партии, от Генерального совета тред-юнионов, от лейбористской партии, от Коммунистической партии Франции, от газеты «Юманите», особенно выделялся один, из ярко-красных гвоздик, изображавших скрещенные шахтерские кирку и лопату. Его прислали бастующие горняки. На алой ленте венка сияли золотом слова: "От Федерации горнорабочих Великобритании в знак памяти, уважения и глубокой благодарности..."

В Берлине от советского полпредства до Силезского вокзала урну с прахом Л. Б. Красина провожали многотысячные толпы. Во главе процессии шли отряды красных фронтовиков со знаменами и факелами. На привокзальной площади, озаренной всполохами факельных огней, состоялся большой траурный митинг...

1 декабря ровно в 1 час дня к перрону Белорусско-Балтийского вокзала в Москве медленно подошел специальный поезд. Он состоял всего лишь из двух вагонов и паровоза, убранных флагами и гирляндами зелени с траурными лентами. Впереди на паровозе был большой портрет Красина.

Енукидзе с Литвиновым вошли в вагон, вынесли урну и установили на постаменте.

Брат Герман, Енукидзе, Ворошилов, Микоян, Литвинов, Ганецкий, Стомоняков вынесли постамент на привокзальную площадь и двинулись меж плотных шпалер людей к повороту на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу.

Под звуки траурных мелодий по беспредельно длинной Тверской тянулся похоронный кортеж. Казалось, ему не будет конца. А люди все прибывали...

В 2 часа 45 минут траурное шествие достигло Красной площади. Начался прощальный митинг. От Центрального Комитета партии говорил Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, от Коминтерна — вождь болгарских коммунистов Васил Коларов.

В 3 часа грянул «Интернационал» и загрохотали орудия. Маленькая урна, похожая на красноармейский шлем, была замурована в кремлевской стене.

Его прах покоится на Красной площади. Там, где днем непрерывно струится людской поток, а по ночам в задумчивой тишине куранты отбивают безостановочный шаг времени и часовые в торжественном безмолвии стерегут вечный сон Ильича.

Друзья называли Красина счастливым человеком. И это так. Он им был.

Его жизнь озаряла великая идея. В нее он верил и за нее боролся. До последнего вздоха. Тем он и был счастлив.

1966–1968

Одесса — Ессентуки — Москва

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Л. Б. КРАСИНА

1870, 15 июля — Родился в Кургане.

1883 — Переезд семьи в Тюмень.

1887 — Окончание Тюменского реального училища, поступление в Петербургский технологический институт.

1880 — Исключение из института за участие в студенческих беспорядках и высылка в Казань; восстановление в институте, возвращение в Петербург, вступление в группу Бруснева.

1891 — Вторичное исключение из института и высылка в Нижний Новгород.

1892 — Арест, отправка в Москву, заключение в Таганской тюрьме.

1893 — Освобождение из тюрьмы на поруки, отправка в Тулу для прохождения военной службы;

окончание военной службы;

переезд в Крым, высылка в Воронежскую губернию;

работа на строительстве Харьковско-Балашовской

железнодорожной. **1895** — Арест в Воронеже и заключение в тюрьме;

ссылка в Восточную Сибирь — Иркутск;

работа на строительстве железных дорог в Сибири. **1897** —

Разрешение на возвращение в Европейскую Россию;

поступление в Харьковский технологический институт.

1900 — Окончание института, переезд в Баку для работы на строительстве электростанции.

1901 — Создание искровской группы в Баку;

создание подпольной бакинской типографии, печатание и транспортировка ленинской "Искры".

1903 — ii съезд РСДРП;

кооптация в члены ЦК.

1904 — Переезд по решению ЦК в Орехово-Зуево.

1905 — Участие в работе iii съезда РСДРП, избрание членом

ЦК; работа в Петербурге, в "Электрическом обществе

1886 года";

руководство Боевой технической группой при ЦК.

1906 — Участие в работе iv съезда РСДРП.

1907 — Арест в Москве при случайной облаве на квартире адвоката Андриканиса; освобождение через 17 дней.

251

1908 — Арест на даче в Куоккале и месячное заключение в Выборгской тюрьме;

эмиграция. **1910** — Выход вместе с отзовистской группой «Вперед» из Большевистского центра;

Берлин — работа в качестве инженера в немецкой фирме "Сименс и Шуккерт". **1912** — Возвращение в Россию.

1917 — Встречи с Лениным в Петрограде;

участие в мирных переговорах в Бресте.

1918 — Участие в мирных переговорах в Берлине;

назначение членом Президиума ВСНХ, председателем Чрезвычайной комиссии по снабжению Красыр Й Армии, народным комиссаром торговли и промышленности (впоследствии наркомвнешторг) и членом Совета Обороны.

1919 — Назначение народным комиссаром путей сообщения,

председатель делегации по мирным переговорам с Эстонией. **1920** —

Председатель делегации по переговорам о возобновлении торговли со странами Антанты.

1921 — Подписание торгового соглашения с Англией; полномочный представитель РСФСР в Англии.

1922 — Участие в Генуэзской и Гаагской конференциях.

1924 — Избрание на xiii партийном съезде членом ЦК РКП(б), полпред во Франции.

1925 — Назначение полпредом в Англии. **1926, 28 сентября**— Прибытие в Лондон. **24 ноября**— Смерть в Лондоне.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Ленин В. И., Полное собрание сочинений.
Третий съезд РСДРП. Протоколы. М., Госполитиздат, 1959.
Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП. Протоколы. М., Госполитиздат, 1959.
Тринадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., Госполитиздат, 1963.
Крупская Н. К., Воспоминания о Ленине. Госполитиздат, 1957.
Лекции по истории КПСС. Высшая партийная школа при ЦК КПСС. Выпуски первый и второй. М., «Мысль», 1966.
Красин Л. Б., Дела давно минувших дней. М., "Новая Москва", 1925; М., "Молодая гвардия", 1930, 1934.
Красин Л. Б., Вопросы внешней торговли. М — Л., Госиздат, 1928.
Красин Л. В., Владимир Ильич и внешняя торговля. (Вступительная статья к книге А. О. Золотарева "Признание де-юре и задачи внешней политики"), Харьков, 1924.
Памяти Л. Б. Красина. Сборник воспоминаний. М. — Л., Госиздат, 1926.
Кржижановский Г. М., Избранное. М., 1957.
Карпова Р., Л. Б. Красин — советский дипломат. М" Соцэкгиз, 1962.
Лядов М., Из жизни партии в 1903–1907 годах. М., 1956.
Могилевский В., «Никитич». М., Госполитиздат, 1963.

Кремнев Борис Григорьевич

КРАСИН. М. "Молодая гвардия", 1968. 256 с, с илл. ("Жизнь замечательных людей". Серия биографий. Вып. 14 (455).).

ЗКШ(092) Редактор **Е. Любушкина** Серийная обложка **Ю. Арндта** Художественный редактор **А. Степанова** Технический редактор **Р. Грачева**

Сдано в набор 22/V 1968 г. Подписано к печати 12/IX 1968 г. А05477. Формат 84x108! /зг. Бумага типографская № 2. Печ. л. 8 (усл. 13,44) + 9 вкл. Уч. — и: щ. л. 16,7. Тираж 100 000 экз. Заказ 1081. Цена 70 коп. Т. П. 1968 г., № 422.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия". Москва. А-30, Сущевская, 21.

notes

Примечания

1

Г. В. Плеханов, Соч" т. II, стр. 37

Б. Кремнев

Цит. по книге Б. Могилевского "Никитич.

Работа Г. В.Плеханова "К вопросу о развитии монистического взгляда на историю".

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 4, стр. 183,

'В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 8, стр. 193.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 10, стр. 186.

В. И. Ленин, Полн, собр соч., т. *Л?* стр. 80.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 13. стр. 5.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 12, стр. 391,

В. И. Ленин, Полн. собр: соч., т. 19. стр. 50.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 35, стр. 74.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 52, стр. 123.Т.79

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 50, стр. 88.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 50, стр. 111.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 50. стр. 159.

Цит. по кн. Р. Карповой "Л. Б. Красин — советский дипломат". М., 1962.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 51, стр. 238.

В. И. Ленин, Поли, собр. соч., т. 52, стр. 121.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 52, стр. 184.

Т а м же, т. 54, стр. 127.

В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 43, стр. 4. "Там же, т. 44, стр. 304–30

В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 101, 3 Там же, т. 50, стр. 111

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 69–70. 14* 211

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 336–337.